



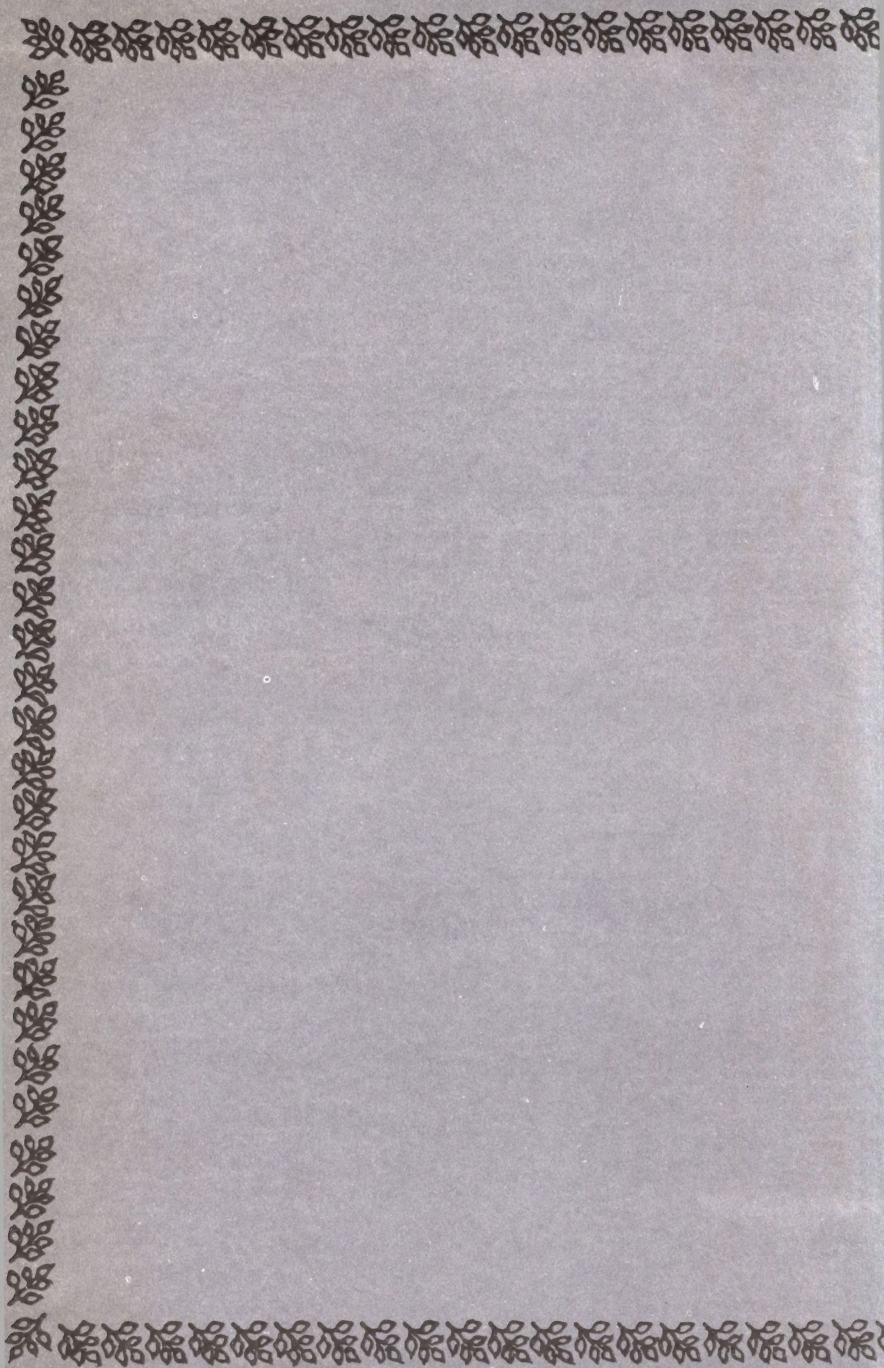
---

*Виль Липатов*

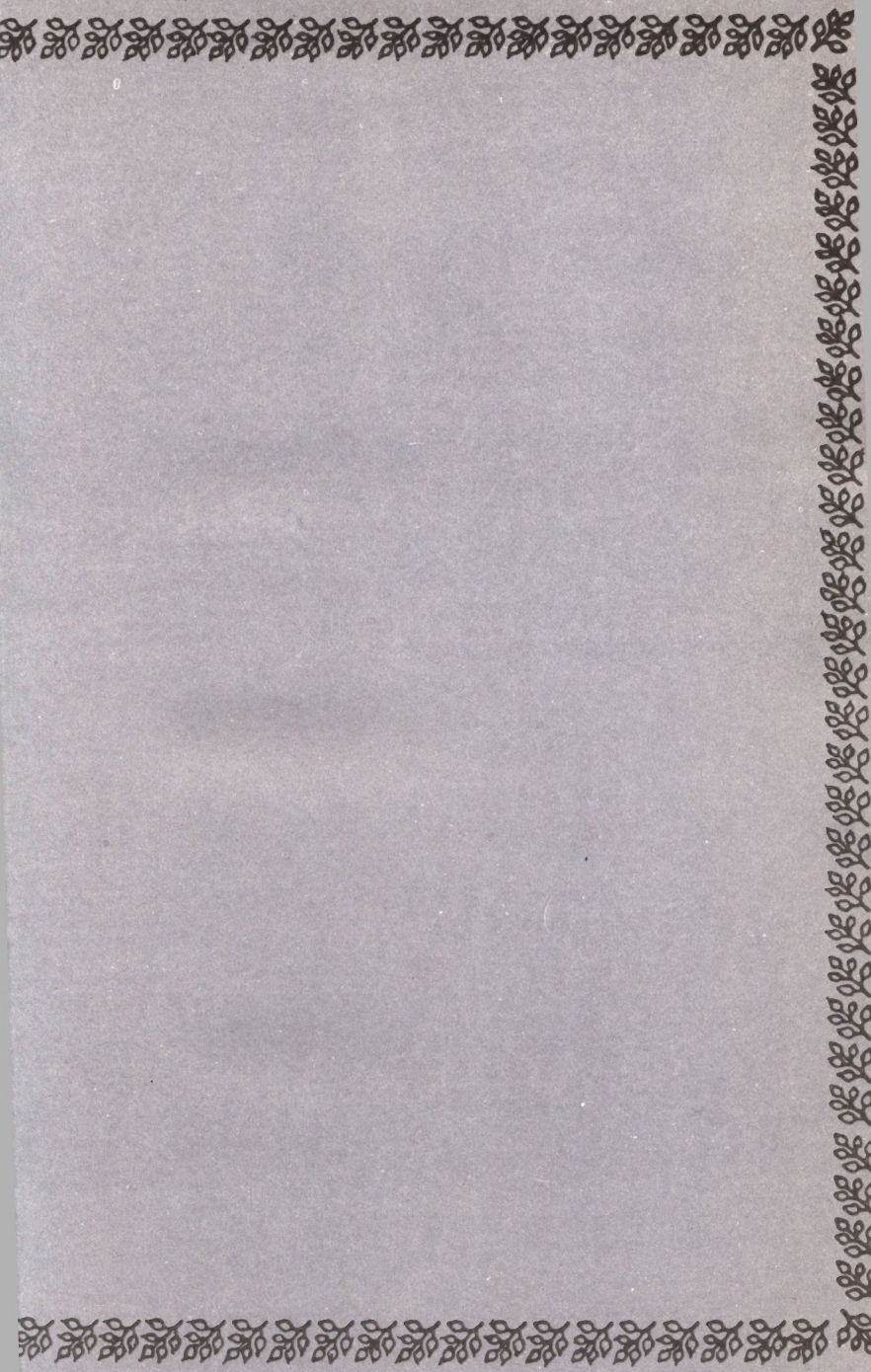
---

*ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ*

























*Виль Липатов*



*ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ*

*Повести*

Свердловск

Средне-Уральское книжное издательство

1987

84Р7  
Л61

ИЗДАНИЕ  
ГОДА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Сельская библиотека Нечерноземья

Общественная редколлегия:

В. В. Дементьев (председатель)  
И. И. Акулов, В. И. Белов,  
И. А. Васильев, С. В. Викулов,  
С. А. Воронин, Ю. Т. Грибов,  
Г. М. Гусев, В. В. Шкаев,  
С. И. Шуртаков

Текст печатается по изданию:  
В. Липатов. Две повести. М.:  
Молодая гвардия, 1972.



Алле Вениаминовне  
Машенджиновой —  
с благодарностью за дружбу



## ...ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ



За два года до войны тихо жила деревушка Улым. Лесозавода еще не было, сплавного участка тоже, кирпичных домов и в задумках не имелось; в колхозе имени Ленина председательствовал умный, спокойный и простоватый мужик Петр Артемьевич Колотовкин, которого колхозники помоложе звали дядя Петра. В деревне был один велосипед — у продавца сельповского магазина, одни наручные часы — большие, с крепкой решеткой над циферблатом, переделанные из карманных, — у Анатолия Трифонова. Парикмахерской в деревне не было, стриг улымчан школьник Васька Коршунов, человек капризный. Если бывал не в настроении, то употреблял в дело бараньи ножницы, которые больно щипались, а если был весел, то доставал с припечка обыкновенные — эти шли мягче, веселее.

Стояла деревня в среднем течении реки Кети — притока Оби; кругом зыбилась темной стеной тайга, за ней — непроходимые Васюганские болота, а берег Кети, на котором жил Улым, висел над водой высоко. Возникла деревня недавно, в конце двадцатых годов, и была поэтому новенькой, добротной, чистой и веселой в солнечную погоду. Река тихо и плавно текла под яром, синие кедрачи бережно охраняли Улым от злых ветров, земля оказалась неожиданно богатой — чернозем с песочком.

В Улыме жило несколько староверческих семей, несколько родов переселенцев, появившихся здесь лет десять назад, — Сопрыкины, Кашлевы, Чаусовы да люди со странной фамилией Капа — Ванька Капа, Валька Капа, Борис Иванович Капа... Все остальные в деревне были коренными нарымчанами — охотниками и рыбаками, чалдонами. Так зовут русских людей, давно жи-



вущих на берегах Оби и ее притоков. Жили в Улыме и две остоящие семьи — Ивановы и Кульманаковы.

За два года до войны ведро карасей в деревне стоило пятьдесят копеек, ведро стерляди — два рубля, метровый осетр тянул на десять рублей, но покупателей было мало: учителя да два медика — Владимир Иванович Буров и фельдшер Гедеонов, родом из дьячков. Медвежатину и лосятину деревенские интеллигенты получали бесплатно, в подарок, — если повалит кто из улымчан крупного зверя, то непременно несет в учительские и врачовы квартиры: «Не откажите, друзья-товарищи, зверь таежный, всехний...»

За два года до войны в Улыме пили мало и неохотно, водку не покупали совсем, а на праздники варили медовуху, так как самогонку колхозный председатель Петр Артемьевич изготавливать не разрешал. Слушались его беспрекословно, как слушаются старшего в староверческом роду.

Были в деревне семьи, в которых и не курили, а если кто заходил погостевать из курящих, то замечания не делали, но больше в гости не приглашали.

Полы в улымских домах не красили, а два-три раза в неделю скоблили острыми ножами, после чего кедровые плахи представлялись покрытыми желтым узорчатым ковром — выступал древесный рисунок.

За два года до войны жила в Улыме Рая Колотовкина — племянница колхозного председателя Петра Артемьевича. Приехала она к дяде из далекой неизвестности, так как отец ее, родной брат председателя, умер от старых ран, мать давным-давно погибла на колчаковском фронте и никого из близких у девушки не осталось на земле, кроме дяди Петра Артемьевича.

Приехала Рая в деревню на пароходишке «Смелом», который заходил в Улым раз в два месяца, то есть трижды в навигацию, все по вторникам. Был этот вторник для деревни большим праздником, готовились к нему загодя, как к Первомаю или пасхе: начищались, перетряхивались, заранее наливаясь благодатной радостью.

К сентябрьскому «Смелому» деревня начала готовиться недели за две. Готовилась охотно, весело, так как давненько по летнему времени не было никаких праздников, а будни оказались тяжелыми — в августе все шли дожди, уборка затянулась. Но вот к сентябрьскому вторнику последней недели председатель Петр

Артемьевич на собрании сообщил: с уборкой закончено и народу надо отдохнуть, повеселиться. Каждый, кто был на собрании, тут же и подумал о близком приходе «Смелого».

Встречу парохода улымские бабы начали с вытрясания перин. Первой вылезла на двор с полосатой, как арестантский наряд, периной молодайка Ульяна Мурзина, из тех Мурзиных, что жили на речном яру. Ульянина перина здорово пропотела и скаталась от молодой, мужней жизни, сделалась от этого почему-то тяжелой, и выносить ее во двор молодайке помогал муж Васька Мурзин, но при этом испуганно оглядывался, так как по законам улымской жизни мужикам не полагалось возиться с бабскими делами.

Ульяна Мурзина молодую перину выбивала березовой палкой долго — около часу; пыль летела столбом; половина перины через прясло свешивалась на улицу, чтобы все видели, какова она и как старательна молодайка. Ульяна сама собой была коренаста, широкоплеча, икры ног у нее вздувались пузырями и были красными, ядреными, словно их натерли кирпичом. А грудь не колыхалась, когда молодайка, размахиваясь, била по перине березовой палкой килограммов на десять весу.

Размахивалась Ульяна по-мужски широко, ноги поставила прочно и палкой била так громко, что стало слышно всей деревне. Ну, тут, конечно, и другие бабы не утерпели: пошли одна за одной таскать перины на дворы, соревноваться, кто кого переперинит, а так как вся деревня состояла только из одной улицы, все перины оказались на виду. Полосатых, как у молодайки Ульяны Мурзиной, на деревню нашлось штук десять, пятнадцать перин были мышиного цвета, две оказались красными, как комарово брюхо, когда насосется крови. Одна перина — учительши Жутиковой — была клетчатой.

Шум в деревне образовался сильный: стучали палки, с писком бегали от одной перины к другой малые ребята, сами женщины через перины друг с дружкой перекликались. Мужиков в этой суতোлке видно не было: которые в домах затаились, которые на рыбалку сгоношились от бабьего гвалту уехать, которые сидели на кетском яру, свесив ноги.

На улымской улице в этот час находился только один мужчина — младший командир запаса Анатолий Трифонов, который пришел из армии недавно. Прослужил он три года, выучился играть на гармошке, носить



хромовые сапоги, разговаривать вежливо. Носил Анатолий длинную гимнастерку — таких после войны не стало, — синие галифе, на голове у него, конечно, сидела бравая пилотка, сбита набочок в меру, по уставу.

Младший командир запаса Анатолий Трифонов участия в бабском деле не постеснялся: сам вынес во двор перину для матери Агафьи Степановны, сам развесил на прясле, сам принес толстую березовую палку и только после этого пошел прогуляться по улице, соображая насчет женитьбы, так как отец Амос Семенович потребовал, чтобы младший командир запаса женился, и дал на это два месяца срока: «Мать не лошадь, Натолій, чтобы на нас всю жизнь ломаться!»

Как только младший командир запаса показался на единственной улице Улыма, палочный стук сделался еще громче — это незамужние девки, предупрежденные матерями о выходе завидного жениха, взяв палки у матерей, по перинной мягкости начали стук производить сами. На Анатолия они пялились открыто, даже покрикивали, чтобы он на их перины обратил внимание; глаза у девок при этом были круглые, словно у галок, а сами девки — такие же коренастые и крепкие, как молодайка Ульяна Мурзина: на щеках арбузная яркость, меж каменными грудями можно зерно молотить, ноги на земле не стояли, а толстыми корнями росли из нее, земли-матушки.

Анатолий Трифонов по деревне шел неторопливо, наблюдения за девками и перинами производил степенно, обстоятельно, как и полагается солидному жениху, про которого в деревне недавно показывали кинокартину «Трактористы». Младший командир запаса тоже служил в танковых частях, демобилизовавшись, сел за руль харьковского трактора и на девок посматривал оценивающе. Глаза у него были прищуренные, коротко обрезанный нос задран, губы сжаты плотно, точно Анатолий вел вперед свой боевой танк.

Возле дома Капы младший командир запаса немного попридержал строевые шаги, кося глаза направо, стал выглядывать, есть ли на дворе Валька Капа. Сначала ее не было — перину выбивала палкой мать, но потом, заметив Анатолия, мать что-то шепнула младшему сынишке Ваньке, тот живо метнулся назад, в сенцы, и минуты через три, на ходу застегивая крепдешиновую кофту, выбросилась во двор сама Валька. Не поднимая глаз от земли, она взяла у матери палку и давай стегать

перину с таким видом, точно и думать-то не думала о том, что Анатолий Трифонов прохаживается вблизи ее дома.

— Драсьте, Валентина Борисовна! — из отдаления поздоровался он и поклонился низко, по-деревенски, сняв при этом пилотку. — Бог, как говорится, помощь, хотя я неверующий.

— Ой! — как бы испугалась Валька Капа. — Ой! Это вы, Анатолий Амосович, а я и не вижу... Грех с этой периной: уж така тяжёла, така тяжёла... Дравствуйте!

Подумав, младший командир запаса неторопко перешел через улицу, еще раз поклонившись, положив локти на прясло, послушал, что делается на длинной улымской улице — палки по перинам еще, конечно, постукивали, пыль все еще поднималась к солнцу красным столбом, но уже в ударах ощущалась некоторая заминка: во-первых, перестали стучать все девки, во-вторых, начали приглядываться и прислушиваться бабы помоложе, в-третьих, стали делать перерыв в стуке старухи, интересующиеся, на ком женится сын Амоса Семеновича Трифонова — колхозного бригадира. Кое-кто из старух утверждал, что на Вальке Капе, хоть она из кулацкого рода, другие держали сторону трактористки Граньки Мурзиной по прозвищу Оторви да брось... Так что много тише прежнего стало на розовой улымской улице.

— У меня вот какой вопрос к вам назрел, Валентина Борисовна, — сказал задумчиво младший командир запаса. — Вот вы называетесь Валя. Как же можно разницу увидеть, если, скажем, позвать: «Валя Капа, идите-ка сюда!» Кто тогда вы будете являться — парень или человек женского рода?

— Хи-хи-хи! Уж вы такие шутники, такие шутники...

— Шутками не занимаюсь! — строго ответил Анатолий Трифонов. — У меня вопрос вполне серьезный... С одной стороны, Валя Капа является женского рода, с другой — мужского... Значит, вас надо прозывать не Валя Капа, а Валентина Капа — тогда существенные отличья поймут место. Скажем, Валентина Капа — это будете являться вы, а Валентин Капа — обратно, будет являться парень мужского рода... Это я правильно вопрос веду?

— Ах, какие вы шутники! — опять воскликнула Валька волнующим низким голосом и засмеялась. — Образования у вас много, Анатолий Амосович.. Ой, чего

же я стою, чего же я перину-то не выбиваю! Наверное, на вас засмотрелась...

Еще раз захохотав воркующе и призывно, Валька Капа с новой силой набросилась на тугую перину, а младший командир запаса, еще строже нахмутив брови, начал внимательно глядеть на ее старательные действия.

— Второй вопрос у меня такой, — немного погодя сказал Анатолий. — Имелся ли такой момент, Валентина Борисовна, чтобы вам учебную гранату бросать на дальность расстояния?

Валька остановила руку с палкой в воздухе и подумала.

— Храбрый вы очень, Анатолий Амосович, — вздохнув и потупившись, нежно сказала она. — Пропаду я пропадом через вашу храбрость...

После этого дубинка сама собой выпала из Валькиных пальцев, ноги у нее как бы подкосились и, ослабшие, привели Вальку к тому месту прясла, на которое опирался острыми локтями младший командир запаса.

— Вам бы усы, как у товарища Чапаева, — прошептала Валька, приблизив лицо к лицу Анатолия настолько, что он почувствовал ее теплое дыхание. — Вы на товарища Чапаева очень похожие, Анатолий Амосович.

Тут палочный бой в ближайших оградах совсем притих: девки и женщины так и полезли через свои перины, чтобы посмотреть на то, как Анатолий Трифонов и Валька Капа не то целуются, не то шепотом сговариваются насчет женитьбы. Однако младший командир запаса простору для любопытства не дал: опять поправил пилотку и, отодвигаясь от Вальки, сказал:

— Я про учебную гранату в том смысле, что рука у вас, Валентина Борисовна, при большой силе... Так что вы спытайте гранату бросить... А теперь позвольте с вами подосвиданькаться... До свиданьица, Валентина Борисовна!

— До свиданьица, Анатолий Амосович!

И младший командир запаса двинулся по деревне дальше, выглядывая через прясло трактористку Граньку по прозвищу Оторви да брось. Она, как и полагается комсомолке и трактористке, перины не имела, личное хозяйство не вела, а жила у тетки — одинокой глухой старухи Федоровны и дома бывала редко — то с трактором возится, то проводит в клубе агитационную рабо-



ту, то сидит на совещании в райцентре. Проходя мимо ее дома, Анатолий во дворе заметил только бабу Федоровну, которая сидела на крылечке и курила толстую самокрутку из злого самосада. Лицо у нее тоже было злое и насмешливое.

— Драсьте, хозяйюшка! — громко поздоровался с бабушкой Анатолий. — Не имеется ли в расположении товарищ Мурзина?

— Здорово, Толя! — хрипло ответила Федоровна. — Гранька в районе обретается... Чаю не хошь?

— Спасибо! Я прогуливаюсь.

Было около шести часов вечера, сентябрьский денек выдался прекрасным, теплым; стучали старательные палки, перекликались бабьи голоса, кричали веселые мальчишки, солнце краснело от перинной пыли, но все равно было оно еще ясное, хорошее, теплое. Река Кеть при низком свете была густо-коричневой, так как почти на всем течении пронизывала черные торфяные болота; чайки над ней казались белыми, как морская пена. И леса по горизонту вставали теплой домашней стенкой.

На речном яру, как ласточки, сидели тихие, задумчивые мужики.

— Дравствуйте, друзья-товарищи! — поздоровался с ними Анатолий, приблизившись к кетскому яру. — Как живем-можем?

Не ожидая ответа, Анатолий сел на краешек яра, свесив ноги под кручу, вынул из кармана алюминиевый портсигар и стал неторопливо прикуривать городскую папиросу «Пушка» — очень солидную. Он уже курил и зорко оглядывал Заречье, когда его сосед слегка пошевелился, не изменив положения головы, задумчиво сказал:

— Здорово, Натолий!

— Бывай здоров! — степенно закивали и другие мужики. — Давай присаживайся, коли не брезговаешь...

Мужики задумчиво глядели на реку, лица у них были непроницаемые, грустноватые, самокрутки в губах не шевелились, хотя и дымили. В молчании прошло минут пять, потом тот мужчина, что первым откликнулся на приветствие Анатолия, негромко проговорил:

— Завтра, смекаю, дождя не будет...

Река Кеть текла под яром смирно, чайки парили над ней бесшумно, вода под кручей была черной, как деготь, где-то поплакивал коростель, кыча странно, по-совиному; в темных речных заводях мерещились русал-

ки и наверняка жилали сомы-гиганты из тех, что могли проглотить теленка, хотя таких сомов никто из улымчан никогда не ловил и не видел. Солнечная сторона неба по необъяснимой странности была зеленой, словно заросла ровной молодой травой, и странность эта была приятной — небо казалось домашним... Младший командир запаса Анатолий Трифонов молчал охотно, легко. Он родился и вырос в Улыме, только на три года армейской службы уезжал из родной деревни; не успел ничего забыть, был таким же, как все улымские мужики.

Анатолий Трифонов молчал минут десять — все озира́л небо и горизонт, тайгу и воду под ногами, потом нахмурился, собрав на лбу думающие морщины, несколько раз призывно покашлял.

— Ты почему так считаешь, дядя Гурий, что дождя не будет? — спросил он. — Не оттого ли, что стри́ж высоко летат да осокорь лист не свертыват... Али, может, други приметы имеются?

Спрашивая, он не повернулся к дяде Гурию, выражения лица не изменил, и оно, как у всех, было тихое, грустное и задумчивое. А дядя Гурий по-прежнему глядел на реку, самокрутка в его губах не двигалась, и только по чуточку напряженной линии шеи можно было понять, что мужик к чему-то прислушивается. Наверное, минут десять слушал он деревенские звуки, затем самокрутка медленно приподнялась и подергалась.

— Бабы прямо озверели! — сказал он. — Моя-то, моя-то что выделяват!.. Вон как молотит! Вон как старатся! — И опять помолчал. — А против дождя так надо сказать: воздух для языка легкий... Вот ежели у тебя, Натолый, язык тяжести не имает, ежели под языком у тебя просторность, ежели ты язык об зубы не обдираешь — это к вёдру... Смекаю, недели две хороша погода продержится... Ну, бабы озверели! Ну, как их карачит! Это просто страсть!

Действительно, березовые палки стучали весело и наперебой; перины висели на пряслах, как седелки на лошадиных спинах, пыль поднималась столбом.

Полна смеха, радости, ожидания была деревушка Улым, по-довоенному богатая, мирная, тихая и чинная. Хорошо готовились улымские жители ко вторнику, когда должен был прийти пароход «Смелый».

Кособокий пароходишко к берегу пристал почти вовремя, опоздав всего на два с половиной часа. Произошло это при ярком солнце и голубом небе, при таком тихом воздухе, что и маломощные звуки по Кети разносились километров за пять. Так что «Смелого» еще и видно не было, а уж деревенский народ на берегу ожидающе примолк, когда за речной излучиной, за синими кедрачами пароход тоненько и радостно пискнул.

Шел, шел долгожданный пароход «Смелый»!

На кетском берегу из улымского народа не было теперь только самых древних стариков, которые с полатей не поднимались, да совсем титешних ребятишек, за которыми присматривали немощные бабки; все же остальные грудняшки прибыли на берег с матерями и спали мирно до тех пор, пока насыщало материнское молоко. Когда же оно кончалось, грудняшки поднимали крик на весь берег, бушевали до тех пор, пока матери не затыкали им рты длинными коричневыми сосками.

Девки, молодайки, женщины средних лет и некоторые старухи были одеты хорошо. На молодых — модные в то время крепдешиновые и креп-жоржетовые кофточки, юбки сатиновые или плисовые, многие имели цветные береты с заколками-бонбончиками, а на ногах молодайки Ульяны Мурзиной сидели высоко шнурованные ботинки из «ранешных»; женщины средних лет оделись в кофты с оборками, в юбки до щиколоток, головы туго повязали платками с цветастыми бордюрами — васильки или на худой конец ромашки; старухи оделись потеплее — в кацавейки из плиса или бархата, в длинные, до земли, юбки, а головы украсили полушалками с кистями. Мужчины и парни были в яловых сапогах, в длинных рубахах, перетянутых витыми шнурами. Мальчишки — в темных косоворотках, гладко причесаны; девчонки бегали в широких ситцевых платьишках, простоволосые и нешумные.

Минут через двадцать пароходишко появился на острой кетской излучине. Другой народ — не улымский — закричал бы от радости «ура!», но улымчане, наоборот, совсем притихли, еще теснее сдвинувшись, улыбались застенчиво и робко.

«Смелый» забавно кренился на левый бок. Он был неустойчивым из-за узости, и на носовой части палубы стояла бочка с булыжником, которую матросы перека-



тывали с борта на борт, когда суденышко опасно кособочилось. Перекатив бочку, матросы подходили к борту, мерили взглядом расстояние до воды и уходили, сплевывая в реку, беззаботно смеясь.

Понятно, что матросов с берега узнавали.

— Который шеи нету — это Сережка Малининский, а кто рукава закатаны — Семен Вагин, — послышалось на улымском берегу. — Ну, вылитый он! Да ты лучшее, ты пуще глянь...

«Смелый» был ярко-белым, спасательные круги горели красным, труба ядовито-зеленого цвета, а сама надпись «Смелый» сделана черными полуметровыми буквами; на капитанском мостике стоял капитан Иван Веденеевич, держал в руках жестяной мегафон и показывал им рулевому, куда править. Пароход описывал плавную дугу, приближался, вырастал на глазах, и улымский народ все притихал да притихал. Матери прижимали к груди детишек, молодайки уже не перешептывались, старухи, вздыхая, придерживали подбодрки шепоткой пальцев; стали серьезными парни; с непроницаемыми лицами молчали мужчины средних лет и ходячие старики.

— Охо! — вздыхали бабы. — Охо-хо!

За два года до войны в деревне не было еще ни почты, ни телеграфа, ни телефона, и кто мог поручиться за то, что кособокий пароходишко «Смелый» причаливает к берегу только с радостными новостями! Ведь это он, белый пароход, примотал на плицах колес весть о войне в Китае, это он, узкоплеченький, привез в деревню первого раненого с озера Хасан... Бог знает, что таилось для Улыма теперь на борту белого парохода «Смелый»!

Пароход шипел паром и стучал по темной воде плицами, разбивая ее до белой белости; капитан Иван Веденеевич подбоченивался рукой с мегафоном; матросы, перекатив бочку, стояли плечисто в пролете; пассажиры, конечно, толпились на палубе, любопытные к тому, что на берегу народу было так густо, словно наступал праздник Первомай.

— Тихай! — знаменитым на всю область басом прокричал капитан Иван Веденеевич и для приободрения улымского народа добавил: — Тихай, мать вашу за ногу!

Пароходишко сработал назад маленькими колесами, шипнул паром коротко, словно чихнул, и как-то разом

прилип к яру, такому высокому, что верхняя палуба «Смелого» оказалась внизу и только вершинка ядовито-зеленой трубы была с берегом вровень. Понятно, что улымчане от парохода невольно попятнулись, безмолвные, как темная кетская вода, начали с прищуром глядеть на капитана Ивана Веденеевича, который поднимался вверх по земляным ступенькам с дерматиновой полевой сумкой в руках — на этот раз совсем плоской. За ним шагал матрос с кипой газет и журналов под мышкой.

Вышедши на берег, капитан Иван Веденеевич остановился на самом краешке яра, вынув из кармана трубку, неторопливо пыхнул дымом — трубка была такая, что и в кармане не гасла.

— Доброго привету, мужики! — браво поздоровался Иван Веденеевич. — Доброго привету, бабоньки! Здорово, весь остальной честной народ!

И вынул из полевой сумки два письма.

— Обои товарищу Трифонову, Анатолию Амосовичу. Который тут Трифонов?

Тогда-то и вздохнул радостно кетской берег.

Первыми зашумели облегченно старики и старухи, знающие толк в горе, потом завизжали отчаянно парнишки и девчонки, затем заверещали сорочьими голосами молодухи, и сделался такой шум, что в нем и не заметно было, как младший командир запаса Анатолий Трифонов получил два письма. Так бы и дальше продолжалось, если бы что-то не случилось вдруг на кромке яра, где народ неожиданно пошатнулся, подавшись назад, оставил в одиночестве улымскую девчонку лет десяти. Она тоже пятилась и кричала тоненько:

— Ой, глядитя, глядитя!

По земляным ступенькам на улымский берег подымалась девушка не девушка, девчончишка не девчончишка, баба не баба, а просто не разбери-поймешь кто такая: по высокому росту вроде бы баба, по волосам, что распущены, вроде бы девушка, но вот так тонка и голенаста, что вроде бы девчончишка. На груди у нее — ни-ни, сзади тоже — ни-ни, но на руке часы.

— Ой, глядитя, глядитя!

Эта самая, которая не поймешь кто, на крутой яр поднималась легко, на длинных ногах, юбка у нее была вся в мелких складочках, на ногах — туфли при высоком каблуке, волосы белые, как солома, а глаза — это невозможно: большие-пребольшие, зеленые-презеленые.

Кофты на ней не было, а надета была такая же рубашка с синим воротником, какую носили матросы «Смелого». Под рубашкой — надо же! — тельняшка.

— Ой, глядите-ка!

В одной руке у этой самой был чемодан, в другой — патефон, точь-в-точь такой, как у учительши Капитолины Алексеевны Жутиковой. Чемоданчик, видать, легкий, а патефон, чувствовалось, тяжелый, так как эта, которая не поймешь кто, кособочилась на ту сторону, где патефон. А ресницы у нее были большие и загнутые, как у молодой коровы.

Ах ты, мать честная, кто же это такая будет?

— Товарищи, — спросила приехавшая, — а где Петр Артемьевич Колотовкин?

— А здесь я! — отозвался колхозный председатель.

Тогда эта, которая при тельняшке, поставила на землю чемоданчик и патефон, медленно приблизившись к Петру Артемьевичу, поглядела на него боязливо. Ресницы у нее вдруг сделались мокрыми, нижняя полная губа задрожала.

— Дядя, — сказала она негромко. — Папа умер...

Председатель сделал шаг вперед, открыл было рот, чтобы ответить что-то, да так и не ответил — обмер с перекошенной от ранения щекой.

Тихо было.

Пароход «Смелый» паром пошипливал осторожно, чайки по вечернему времени над рекой Кетью не галдели, и народ, любящий председателя Петра Артемьевича, стоял мертво, глядя в землю, — вот оно и пришло, несчастье.

— Раюха! — наконец сказал председатель Петр Артемьевич. — Племяшка моя! Да как же это, кровинушка?

Тут к ним подошел капитан Иван Веденеевич, встав посередке, проговорил тихо:

— Всем городом хоронили Николая Артемьевича... Оркестр, за ним — батальон красноармейцев. Впереди всего народу сам первый секретарь обкома партии товарищ Неедлов...

Ни один из грудников не плакал — затаились все, мальчишки и девчонки уткнулись в материнские юбки, старые старухи и старики лили медленные слезы; мужики средних лет привычно глядели в землю; парни не отрывали удивленных глаз от председателевой племянницы, а младший командир Анатолий Трифонов и про



свои письма забыл — держал их в руках нераспечатанными.

— Племяшка моя!.. — тише прежнего сказал Петр Артемьевич. — Да чего ты стоймя стоишь, мать? Это ведь племяшка наша, Раюха...

После того метнулась неслышно к приехавшей жена председателя Мария Тихоновна, прижала девичью голову к своей груди, обхватила ее всю мягкими руками, но голосить при народе не стала; а потом выдвинулись вперед все три сына Петра Артемьевича, отгородив спинами от народа мать и двоюродную сестру, оглядев всех грозно — в каждом около двух метров росту, все погодки, — сказали поочередно:

— Драствуйте, Рая! С приездом вас! Счастливого прибытия! Милости просим к нашему шалашу!

А в самом центре улымской толпы, где сидел на бревнышке не разгибающийся в поясице старый старик дед Крылов, послышалось не то кудахтанье, не то смех, не то кашель — это дед шибко взволновался происходящим. А когда председатель Петр Артемьевич с женой и сыновьями начали выводить из гущи народа дорогую племяшку, чтобы доставить скорее домой, дед Крылов пронзительным по задушевности голосом сказал:

— Того быть не может, чтоб это случилась племяшка. Это, народ, племяш! Называется он шотландца, такех я до сколько раз на картинках у родного дядю видывал... У них, у шотландца, баба ходит при штанах, а мужик — при юбке... — И опять занервничал: — Да ты глянь на его, народ! Кака же это племяшка, когда у его сзади — одне бугорки... Шотландца — голову даю на отсек!

### 3

С тех пор и зажила в Улыме странная девица Раиса Колотовкина. На второй день после приезда в деревню она отправилась в райцентр кончать десятилетку — всего год оставался. А через зиму, в конце июня, Рая вернулась в Улым, чтобы готовиться к экзаменам в политехнический институт.

Пока племянница училась в райцентровской средней школе, дядя Петр Артемьевич с помощью лучших улымских плотников прирубил к своему большому дому еще одну комнату — окнами в палисадник. В прирубке густо покрасили полы, навесили тюлевые занавески, поставили этажерку для книг. Жена председателя Мария Тихоновна

на станке собственноручно выткала для племянницы цветастую половую дорожку, каждый из трех братьев Колотовкиных выделил двоюродной сестре по подушке; ватное одеяло заказали в райцентре, а остальное у Раисы было, хотя Мария Тихоновна пришла в ужас, когда увидела войлочный потник, на котором Раиса спала. Сам войлок был тонкий и твердый, чехол на нем — из грубой парусины, а на чехол кто-то пришил пятиконечную звезду, видимо, снятую с боевого седла. Пахло от войлока густым лошадиным потом, сухими травами и еще чем-то таким, что заставляло чихать.

Поужасавшись, Мария Тихоновна живенько наладилась одарить племянку периной — кой-какой пух был у нее в запасе, а все остальное она добрала, обойдя улымские дворы, хозяйки которых, узнав про войлочный потник, кривились от жалости к сиротинке. Пуха поэтому собралось перины на полторы, но тут случилось непредвиденное: Раиса заявила, что на перине спать не будет.

— То ись как? — отчаянно удивилась Мария Тихоновна. — Это с какой корысти ты на перине спать не желаешь, Раюха, когда у тебя от потника вся беда?.. Кака беда? — еще больше удивилась она, когда племянница на нее поглядела исподлобья. — Да та беда, что на тебе бабьего мясу нету!

Тетка всплеснула белыми руками и, опустив их, застыла в горестно-задумчивой позе. Круглое ее лицо покрылось добрыми морщинками, глаза обесцветились, а губы сделались прозрачными, словно их пронзили насквозь солнечные лучи.

— Так вот я тебе выражу, Раюх, что это все от его, от потника, проклятушшего! — печально сказала она. — Потник мясу наращиваться не дает! Когда ты спишь, он, потник то ись, тебя только в длину расти пушат, а в ширину мяса не дает. Еще сказать, от потника лошадем вонят! А это ладно ли, ежели тебе пора замуж выходить?

После выпускных экзаменов Раиса приехала в Улым усталая, в лице ни кровиночки; три дня она отсыпалась в своей большой чистой комнате, а на четвертый — вечером — снарядилась погулять по деревне. Из матросского костюма она чуточку выросла, но все же решила надеть его. Костюм целый год провисел в кедровом шкафу, а все равно пахнул городом, детством, просторной отцовской квартирой.

Прежде чем выйти на улицу, Рая походила по крашеному полу, потом присела на высокую кедровую табуретку и стала глядеть в распахнутое окно, за которым приглушенно чирикали сытые воробьи. У одного хвост был выдран — наверное, постаралась соседская кошка, у остальных хвосты были в целости, но перья серели от уличной пыли. Потом откуда-то непрошено прилетела чистенькая сорока, повертевшись на ветке, замерла, глядя на воробьев укоризненно, — надо полагать, думала, что воробьи еще большие сплетники, чем она сама.

Улымская улица была пустынна и тиха, пыль на дороге лежала шелковая и нежная на взгляд.

Солнце уже скатывалось на зареченский запад, было слышно, как позванивают боталами коровы...

«Надо, надо прогуляться, — подумала Рая, улыбаясь самой себе. — Выйду на берег, посижу, подумаю...» Улыма она еще как следует не видела — все бегом да рысью, и было любопытно, что ждет ее на длинной улице, какова деревня, в которой родился и вырос отец.

Сорока заверещала, затрясла хвостом и улетела, крепясь почему-то набок, словно на улице был ветер, хотя в палисаднике листья на черемухах висели мертво, такие же серые от пыли, как воробьиные перья... «На берег не пойду, — подумала Рая решительно. — Лучше посмотрю, что делается в клубе...» После этого она поднялась с табуретки, взяла с этажерки томик Чехова и вернула книгу на рассказе «Ванька» — сразу стало жарко щекам, и под тельняшкой сильно застучало сердце.

— «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину...» — басом прочла Рая и откинула назад прядь волос со лба точно так, как это делал герой фильма «Учитель»...

После этого девушка громко рассмеялась, бросила книгу на гору подушек — одна одной меньше, закружившись, надула юбку колоколом и, когда коленям стало холодно, сама себе погрозила пальцем: «Легкомысленна ты, Райка, на удивление. Я в твоём возрасте ротой командовал!»

Разгладив юбку, девушка чинным шагом вышла из дому.

Все в мире было так, как в тот сентябрьский день, когда «Смелый» привез Раю в деревню, — клонилось большое красное солнце, тайга заботливой стенкой окру-



жала дома улымчан, над темной Кетью белыми гребешками волн парили спокойные чайки; над Заречьем еще при солнце вызревал остророгий месяц, похожий на смеющийся рот, прозрачный, как промасленная бумага.

По длинной желтой улице гуляла спокойная молодежь, лузгая кедровые орехи; старики и старухи, как только схлынул зной, уселись на лавочки возле своих домов и умиротворенно помалкивали. Мальчишки проволочными загогулинами катали по улице обручи от колесных ступиц. Быстро ездил на единственном в деревне велосипеде брат учительши Жутиковой — пятнадцатилетний Володька. За ним бежала стайка почтительных приятелей.

Прошагав метров двести медленными шагами, Раиса заторопилась, так как все не успевала поздороваться первой с вежливыми стариками и старухами: она только повертывала голову к оградной скамейке, только открывала рот, чтобы сказать: «Здравствуйте!», как те уже кланялись ей издалека, поднявшись со скамейки, говорили почтительно: «Драствуйте!» — и глядели на нее, как на солнце, сощурившись. Поэтому девушка ускорила шаг, но и это не помогло — старики и старухи опережали, считая долгом здороваться первыми с незнакомым человеком. Так, опаздывая, Раиса перездоровалась со всеми старшими Мурзиными и Сопрыкиными, Кашлевыми и Колотовкиными — ее разнообразными родственниками, с остяками Кульманаковыми и Ивановыми, похожими друг на друга стариками и старухами — у всех торчали из желтых зубов прямые длинные трубки с медными колечками на чубуках.

Едва Рая отдалялась от поздоровавшихся стариков и старух, они медленно повертывались друг к другу, помолчав для солидности, обменивались впечатлениями. Конечно, выход на улицу председателевой племянницы был делом необычным, событийным для тихого Улыма, и потому за девушкой катилась волна возбуждения, как перед новым кинофильмом или приездом в деревню районного начальства. У большого дома Сопрыкиных, например, сам родоначальник, дед Сысой, живущий на земле девяносто три года, проводив девушку взглядом, нюхнул воздух, пососав впалыми губами ус, сказал своей глуховатой старухе тихо:

— Не одобряю я Петру Артемича! Нет, не одобряю! Чего это он племянку на инженершу собирается выучивать, когда ее надоть, обратно, от грамоты ослобонить...

Старик помахал в воздухе палкой и обозлился:

— Ты думаешь, почему она така худюща? От грамоты... Ты не молчи, язва, кода с тобой мужик говорит! Я тебе кричать не собираюся — у меня жила надорванная!

Дед Сысой был глуховат еще более, чем старуха, но считал себя слухменным.

— Как ты была язва-холера, так и осталася, — зашипел он сквозь бороду. — Надоть бы тебе укорот дать, но мне силы вредно спускать: я лажу утресь на рыбаловку съездить...

Потом дед обмяк и запечалился:

— В жир, конечно, девка войтить может, однако на-счет ноги у меня большо сомнение. Ногу ты короче ей не дашь, ежельше на такой ноге мясо нарастет — это срам! Нд-а-а! Придется ей при длинной ноге жизнью мыкать... Жалкую я Петру Артемича!

Июньская река была светлой, вода сейчас походила на жиденький чай, хотя в иные времена бывала темнее чифиря; полетывали над рекой испуганные утки, присев на воду, сразу зазывали других на сытые забереги, густо обросшие травой. Бесшумно парили над коричневой водой бесстрастные чайки, ничего не высматривали внизу, а глядели вдаль, точно собирались улетать в жаркие края.

Возле бревенчатого клуба было еще безлюдно — сидели на замшелой лавочке три сонных парня, стояла в дверях, подбоченившись, сторожиха тетя Паша, а в самом клубе кто-то играл на гармошке: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...»

Клуб вовсе и не походил на клуб. Стоял большой дом из лиственничных бревен, обыкновенный жилой дом, в котором для пожарной безопасности прорубили запасные двери, сняли внутренние перегородки да покрасили желтой краской маленькое крыльцо; возле дома раньше, видимо, росли черемуха, рябина и акация, но деревья срубили, чтобы клуб было далеко видать, — торчали темные пеньки. На крыше клуба никнул в безветрии совершенно побелевший флаг, а над дверью висел такой же выцветший плакат: «Женщина в колхозе — большая сила», так как в начале июня в районе проводился слет доярок-ударниц.

Посмотрев на сторожиху тетю Пашу, Рая весело улыбнулась: эта женщина действительно была большой силой. Тете Паше, наверное, давно стукнуло шестьдесят,

было у нее черное от времени и солнца лицо, но стояла она в клубных дверях так коренасто и могуче, что лицо казалось чужим, взятым от настоящей старухи. Тело же тети Паши, обтянутое цветастым ситцем, кичилось здоровьем, белой кожей и бугорками мускулов. Расставив ноги, подбоченившись, она глядела на девушку, и в глазах тети Паши вызревало то выражение родственности и заботы, к которому Рая еще не могла привыкнуть, когда видела его на лицах незнакомых людей.

— Ты, Раюха, на лавочку-то не садись, — сказала тетя Паша и отчего-то вздохнула. — Лавочка-то вся мазутом обляпана, а на тебе кустюмчик городской... Я тебе лучше табуретовку из клуба выну... Ты покуда стой на месте, никуда не поспешай!

Коренасто и тяжело ступая, тетя Паша вынесла из клуба могучую кедровую табуретку, поставив ее возле Раи, вернулась на прежнее место, но подбочениваться не стала, а, наоборот, горестно подперла рукой подбородок и опять тяжело завздыхала:

— Ты садись, садись, Раюха....

В клубе кто-то по-прежнему старательно играл на гармошке «Трех танкистов», врал напропалую, все сбиваясь на одну тоскливую ноту; три сонных парня на замшелой скамейке на Раю покосились без всякого любопытства, один из них по-мужичьи почесал затылок и тоже отчего-то вздохнул.

— Ты садись, садись, — повторила тетя Паша. — Тебе стоять без надобности.

Как раз в этот миг гармошка, жалобно пискнув, затихла, в маленьком клубном окне показалась лохматая голова гармониста, и Рая узнала Витальку Сопрыкина — приятеля двоюродных братьев. Он тоже узнал девушку, высунувшись в окно до пояса, помахал рукой:

— Дравствуйте, Раиса Николаевна! Я скоро выйду, вот только доиграю...

Рая громко засмеялась, помахав ответно рукой Витальке, решительно села на табуретку и положила ногу на ногу, чтобы поматывать туфлей на высоком каблуке. «Хорошо!» — легкомысленно подумала она, оглядываясь и вздергивая понежневший от удовольствия подбородок. — Буду сидеть и ничего не делать!»

С близкой реки — метров сто до берега — поддувал легкий ветер, трава под табуреткой зеленела бархатно, на высоком стебельке сидела жестяная стрекоза с отдельными глазами; было так тихо, что слышалось, как



в висках пульсирует кровь, и «Три танкиста» не мешали тишине, как не мешал бы ей и многотрубный духовой оркестр: тишина жила отдельно, а «Три танкиста» существовали сами по себе.

— А ведь мы сродственники с тобой, Раюха,— задумчиво сказала тетя Паша.— Это дело так надоть выразить... Я сама собой буду не из тех Мурзиных, что баня в прошлом годе сгоревши, а я — те Мурзины, что корова вёхом объевшись... Ну теперь так будем на круг ставить, что мой-то мужик не тот Лавра Колотовкин, что нога другой короче, а тот Карпа, что сигарку из зубов не выпускает... А уж от его до тебя рукой подать, как мой Карпа твоему дяде Петра сродный брат по матери, как ихняя фамилия, обратно же, Мурзины... Однако это не те Мурзины, что медведь телку задрал, а те, что в погребке все лето лед, хоть целого лося клади, не протухнет...

Тетя Паша мучительно завела глаза под лоб, вспоетв, зашевелила крепкими, свежими губами.

— Значится, я тебе, Раюха, два раза назад тетка.— После этого она быстро открыла глаза и покачала головой.— Всегда так: как зачну считать родню, то меня в пот бросат... Вот ты шибко ученая, так скажи: пошто это так? Деньги считаю — ничего, а родню — так прошибат... Может, у меня сердце заходится?

Ох как хорошо было, как весело, как смешно... Рая только теперь начинала понимать, что значила строчка в автобиографии отца, начальника военного училища, писанная его крупным почерком: «Родился в деревне Улым бывшей Томской губернии...» Ей доводились родней все сорок семь улымских Колотовкиных, все пятьдесят два Мурзиных, пережившие на женщинах из рода Колотовкиных, и даже ходили в родственниках остяки Ивановы и Кульманаковы, перемешавшие кровь с Колотовкиными и Мурзиными, по какой причине многие из мужчин русского обличья имели на подбородках жидкие и редкие волосы, которые можно было и не брить.

Рая повертелась на табуретке, сморщившись, чтобы не засмеяться, начала действительно поматывать перед носом тети Паши городской туфлей на высоком каблучке. Кожа на туфле не успела запылиться и блестела хорошо, весело, отражая зеленую траву и розоватое солнце.

— Мой-то холера на рыбаловку вдарился,— преж-

ним печальным голосом сказала тетя Паша. — Нет городьбу городить или дворову печурку переключать, так он, язва, на рыбаловку... — Она презрительно пожала плечами. — Ты, Раюха, как взамуж выходить станешь, так сразу спроси, не рыбак ли, часом... Ну, ежелише ответит, что рыбак, ты его сразу под корень секи: «По-ишши другу дуру!..» Ты моего-то мужика знаешь? — И удивилась до изумления: — Это как же ты моего-то не знаешь!.. А вот ежели мужик по деревне идет и на ем рубаха по колено? Или еще так: сидит мужик на лавке, а на ем зимняя шапка — одно ухо другого короче? Так вот это мой и есть... Теперь знаешь? Ну, молодца!

После этого тетя Паша захохотала басом.

— Он седни у меня поимеет ласку! Ведь чего, язва, придумал! Нет ему, как все, вентерями ловить, так частушкой старатся... Чебака, вишь, жареного любит! Так ты сам, зараза, его и чисть! У меня рука не казенна... Чебак-то, он мелкий!

Рая помахивала ногой, наслаждалась. Трое сонных парней на лавочке, косясь на нее, спокойно молчали; Виталька Сопрыкин с «Трех танкистов» перешел на «Катюшу»; по реке плыло розовое сосновое бревно, на нем сидела грустная чайка и поправлялась крыльями, когда теряла равновесие. От воды поднимался желтоватый свет, а левобережье, заросшее осоками, березами и тальниками, казалось наклеенным на голубое дремное небо.

— Кино седни приедет. Звуковое! — сказала тетя Паша, поглядывая на дорогу из-под руки, сложенной горбушкой. — Механиком счас Капитон Колотовкин, твоего отца, Раюха, сродный брат... Который уж раз, язва, это кино возит!.. Вот чего-то припозднился...

Виталька Сопрыкин вывел наконец неподатливую музыкальную фразу и, обрадованно прихлопнув гармошку, вышел на клубное крыльцо. Парень он был красивый, холостой, поэтому сразу начал зазывно глядеть на Раю и улыбаться кончиками губ.

Как у всех Сопрыкиных, у Витальки были тяжелые, сросшиеся на переносице брови, выгнутые и черные, а лицо медное, гладкокожее, опрятное, без пятнышка, без царапинки.

— Еще раз драсте, Раиса Николаевна! — вежливо произнес Виталька и посмотрел на Раю добрыми, чистыми невинно-светлыми глазами. — Очень мы все до-

вольные вашему возврату с учебы, Раиса Николаевна! Теперь вам и погулять можно от всей души...

После этого Виталька подошел к девушке, ласково заглянул ей в лицо и вдруг, обняв ее, засмеялся. От неожиданности Рая опешила, не догадалась вырваться, а Виталька начал ее перегибать с боку на бок, играть с ней, стараясь как бы нечаянно прикасаться руками к маленьким грудям Раи.

— Не надо! — наконец вскрикнула она и выскользнула. — Ты что?

— Ничего!

Удивившись, Виталька забыл опустить руки и держал их на весу распростертыми, а брови у него оторопело поднялись да так и замерли; маленький, крепкий рот приоткрылся.

— Я ничего... — недоуменно пожав широкими плечами, сказал Виталька. — Я по-хорошему, Раиса Николаевна...

Теперь все смотрели на девушку удивленно — тетя Паша, трое сонных парней, впервые повернувшихся к ней, причем тетя Паша укоризненно качала головой и цыкала, а из глаз парней потихонечку уходила мирная сонливость.

— Ты чего брыкаешься-то? — ворчливо спросила тетя Паша. — Ить Виталька-то по-хорошему, не со зла... Парень он холостой, работает славно...

Рая стояла трепетная, красная; было так стыдно, что в уголках век появились длинные слезинки, набухая, упали бы на щеки, если бы она не подхватила их платочком. Наклонив голову, девушка вытерла глаза, помедлив, повернулась и пошла прочь от клуба, сутулая от обиды, совсем тоненькая оттого, что плечи сделались узкими: походила она, наверное, на осеннюю цаплю, когда та из захладевшего болота посматривает на южный край неба.

Сначала за Раиной спиной стояла удивленно-обиженная тишина, а потом раздался жалобный голос Витальки Сопрыкина:

— Куда же вы, Раиса Николаевна? А как же кино-то?

Но Рая все шла и шла и, наверное, завернула бы за угол клуба, если бы позади не раздались тяжелые и торопливые шаги — это тетя Паша догоняла девушку, крича на ходу:

— Стой, Раюха, погоди...



Клубная сторожиха тетя Паша бежала навстречу низкому солнцу, лицо у нее было медно-красным, и потому зубы казались белыми, молодыми. Догнав Раю, схватила ее за локоть и проговорила сурово:

— Стой где стоишь, брыкалка!

Толстые и тугие тети Пашины губы уж было приготовились ругаться, но по щекам Раи все еще текли слезы, и клубная сторожиха смягчилась.

— Ты родного-то дядю пожалей,— сказала она.— По деревне и так разговоры бегут, что ты не девка, а шотланда — так ты не взбрыкивай... Виталька, он парень славный, добрый, веселый... Ты и в кино с им иди, и на лавку при Виталье сядь, и людску беседу с им веди... Не позорь ты дядю-то родного, Раюха! Вы мне не чужие...

4

Кино приехало только в половине девятого. Привез фильм на самом деле Капитон Колотовкин, двоюродный брат Раиного отца; телега, темная от пыли и грязи, оглушительно скрипела, хотя на задке болталось ведро с дегтем; от райцентра до Улыма киномеханик ехал три дня, ночевал под тальниками, кормил коня приножным кормом, устал, забурел, оброс щетиной. Лошадь шла в оглоблях медленно, понуро, за телегой двигались такие же медленные и понурые ребяташки, встретившие Капитона за километр до деревенской околицы. А впереди подводы шествовала высокая женщина с грудным ребенком на руках — жена киномеханика. Она держалась независимо и гордо, поглядывала по сторонам глазами мадонны, ноги под длинной юбкой переставляла величаво. Киномеханики в те годы считались рангом выше трактористов и шоферов; равными им, пожалуй, были только сельповские продавщицы. И потому двое Капитоновых мальчишек, едущие на отцовской телеге, тускло улыбались, пресыщенные славой.

Как только телега проехала, улымчане дружно двинулись к клубу — шли все те, кто встречал пароход «Смелый», все, кто мог двигаться. Подойдя к клубу, люди почтительно здоровались с Капитоном, покупали у его строгой жены билет и торопливо проходили в зал, чтобы захватить место получше. Первые ряды, как и полагается, занимали старики и старухи, середину первого

ряда сохраняли незанятой для председателя Петра Артемьевича с женой, продавщицы сельпо Екатерины с мужем Иваном Капой, учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой и трактористов.

Младший командир запаса тракторист Анатолий Трифонов в клуб пришел своевременно — не рано и не поздно, то есть чуть раньше председателя Петра Артемьевича. На нем была желтая вышитая рубаша, черные брюки и брезентовые тапочки с белым верхом — знаменитая обувь конца тридцатых и начала сороковых годов. Верх у тапочек был брезентовый, широкий рант — резиновый. Когда тапочки пачкались, владелец разводил водой зубной порошок и, тщательно перемешав, щеткой покрывал брезент белой кашицей; после этого тапочки сушили, стряхивали лишний порошок и осторожно шли в них по улице, оберегаясь травы, чтобы не остались въедливые зеленые пятна.

Анатолий Трифонов ноги в белых тапочках переставлял бережно, широкие брюки имели острую складку, голова без привычной улымчанам пилотки казалась по-мальчишески круглой, несолидной. Продираясь сквозь толпу, он вел себя, как всегда, вежливо; здороваясь со стариками и старухами, низко кланялся, машинально прикладывая ладонь к простоволосой голове, с молодыми держался просто, без гордости, как равный с равными.

Проходя мимо Раи Колотовкиной, младший командир запаса приостановился, подумав, поклонился ей так, как кланялся старикам и старухам:

— С удачным прибытием вас, Раиса Николаевна! Драствуйте!

Успокоившаяся, повеселевшая Рая стояла с Виталькой Сопрыкиным далеко от клубных дверей и слушала его рассказ о киномеханике Капитоне.

Рассказывал Виталька серьезно, вдумчиво, обстоятельно, улыбку на лицо не пускал, и поэтому все казалось смешным.

— У Капитона кила! — сочувственно говорил Виталька и поджимал губы. — Через это он на колхоз трудиться не может... Вот, скажем, надо ему за вилы браться, он бы и радый, но кила команду дает: «Не берись! Через меня, килу, гибель!» Тогда Капитон под куст ложится, килу успокаивает: «Ничего не бойсь, я тебя не забиху»... Вы осторожно смейтесь, Раиса Николаевна, Капитон шибко обидчивый. Если услышит, начнет кино

вверх ногами казать... А еще того хуже — вздпятки аппарату ход даст, от этого со смеху окочуришься! Скажем, человек бежит не передом, а задом... Вы лучшее поверните личико в тую сторону, чтобы на речку смеяться...

Рая действительно хохотала, уже без всякой опаски заглядывала в лицо Витальки и поражалась тому, какие у него славные, добрые глаза, похожие на незрелые шарики крыжовника; и пахло от парня так же хорошо, как от сторожихи тети Паши, — пшеничным хлебом и свежей холстиной, хотя он работал трактористом и должен был бы пропитаться керосиновым духом.

— Капитон через килу и динаму не крутит, — важно объяснял Виталька. — Счас вы, Раиса Николаевна, самолично узрите, какой разворот с динамой содеется...

И они начали смотреть на киномеханика Капитона, который устанавливал возле клубных дверей электродвигатель с бензиновым мотором. Капитон был высок, костист и сутул, глаза у него были по-свиному круглые и влажные от сознания собственной значительности, а движения такие, словно Капитон каждый свой жест ценил на вес золота. Устанавливая сложный агрегат, Капитон был решителен и самокритичен: сначала установил машину параллельно дверям, потом, отойдя от нее метров на пять, прищурился; заросшее щетиной лицо стало озабоченным. Капитон вокруг себя никого не замечал, ни на какие внешние раздражители не реагировал. Щурился он на машину минуты три, затем пробормотал:

— Надоть ей градус придать...

Однако, когда машину повернули к дверям боком, Капитон снова остался недовольным:

— Так она вид не кажет!

Когда электроагрегат наконец установили правильно, Капитон, встряхнув головой, вернулся к реальной действительности — заметил мужиков, парней и ребяташек, которые почтительно наблюдали за его поступками и помогали устанавливать машину. Правда, спервоначала Капитон оглядел всех людей сразу, как бы оптом, потом же стал глядеть на народ подробнее, детальнее, выделяя каждого в отдельности, пока не остановил блестящий взгляд на крупном белобрысом мужчине.

— Ты вот что, Валерьян, — задумчиво сказал он, — ты, Валерьян, по силе возможности подмогнул бы мне...



Во-первых, надоть ручку повернуть, во-вторых, заметь, требуется мне халат на задку приспособить... Нам без халату кино гнать не положено. Вдруг пожар!

С этими словами Капитон Колотовкин неторопливо скрылся в клубе, пробыл там минут пять, а когда вернулся, то бережно нес за плечи синий уборщицкий халат с завязками на спине; халат был куплен за двадцать семь рублей в райцентре, какое он имел отношение к пожарной безопасности, никто понять не мог, но белобрысый богатырь Валерьян навстречу Капитону бросился охотно, перехватив ловко халат, помог киномеханику забраться в него грудью и аккуратно завязал тесемки на спине.

— Ладно! — озабоченно произнес Капитон. — Теперь, Валерьян, план у нас такой... Правой рукой ты, значит, берешься за эту вот загогулю, левой рукой ты, значит, вот в эту хреновину упираешься... Левая нога у тебя вперед идет, права нога от левой отставание имеет, но от нее правой ноге помощь... Это ты взял на замет?

— Ну, взял.

— Ладно!.. Теперь отвечай, в какую сторону загогулю крутить зачнешь? По сонцу или встречь сонца?

— Ну, по сонцу.

— Ну, ты прямь инженер Кочин! — заявил Капитон и одобрительно улыбнулся. — Тако кино есть: «Ошибка инженера Кочина». Видал?

— Ну, видал...

— Молодца, Валерьян!

Киномеханик Капитон, примерившись, с размаху заложил руки за спину, отставив в сторону длинную ногу, осмотрелся итогово... Стояли в прежних почтительных позах мужики и парни, молодайки и девчата располагались отдельными группками, деревенские ребята — человек сто, — притихшие и озабоченные, сидели амфитеатром вокруг электроагрегата. Впереди лежали на траве трехлетние и четырехлетние, за ними — парнишки и девчонки годика на два постарше, еще дальше — девятилетние, десятилетние и так далее, вплоть до четырнадцатилетних, за которыми уж шли пятнадцатилетние, люди солидные и работающие. Эти рассеянно бродили неподалеку от девичьих групп. Весь пожилой и старый улымский народ сидел в клубе, терпеливо дожидаясь.

— Давай сготовливайся, Валерьян!

Белобрысый Валерьян Мурзин от смущения покраснел, растерялся чуточку, но ноги вместе с тем поставил правильно, так, как велел Капитон, руки тоже привел в соответствие с указаниями и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Роста он был двухметрового, плечи имел саженные и даже заводную ручку трактора «форд-зона» крутил легко.

— С богом, Валерьян!

Белобрысый мужик в четверть силы подал ручку от себя, услышав, что мотор чихнул, стал вращать быстро-быстро, словно имел дело не с электроагрегатом, а со швейной машинкой, причем вид у Валерьяна был такой, словно не он крутил ручку, а она сама вращалась. Мотор еще несколько раз чихнул, пустил Валерьяну в нос сизый клуб дыма, и на этом дело кончилось: кроме поскрипывания, ничего не слышалось.

— Так! Стой!.. Раз не заводится, значит, не заводится... Потому не мельтеши, силы не показывай, подшипник не томи... Ты, Валерьян, отойди в сторонку, притихни, молчи, шибко не дыши...

Капитон так крепко почесал подбородок, что в зрелой тишине послышался канифолевый скрип щетины. Затем, важно оглядевшись, он нагнулся, помигал на агрегат и с некоторой опаской сунул пальцы внутрь.

Улымская толпа почтительно молчала, глядела на действия Капитона благоговейно, и в ней не было человека, который бы насмешливо улыбнулся или назвал бы киномеханика сапожником... За два года до войны моторы тракторов, автомобилей и динамо-машин все еще умели казаться таинственными, а трактористы, шоферы и киномеханики представлялись такими ж непонятными и загадочными людьми, как попы деревенских церквушек. За два года до войны в сибирских деревнях трактор окружали плотной толпой, собравшись всем обществом, часами глядели, как бьется один на один с холодной машиной усталый, растерянный тракторист; это были те далекие времена, когда слух о том, что наконец завелся старый «колесник», передавался по деревне из дома в дом; это было еще тогда, когда шоферы ходили в кожаных куртках и перчатках, носили на кожаной кепке очки-окуляры и женились на учительницах, врачах и дочерях председателей райисполкомов.

Это происходило за два года до войны, в те дни,

когда девчата слово «Москва» произносили с молитвенными глазами и умели за шесть секунд натянуть на лицо пахнущий резиной и тальком противогаз; это происходило в те далекие времена, когда в обских деревнях парней в армию провожали так, как сейчас встречают космонавтов, а старики мечтали научиться читать; это было еще тогда, когда на вельвет глядели как на чудо, а о шевиоте говорили как о лунных породах...

Киномеханик Капитон долго возился в моторе, щелкал языком и ожесточенно кряхтел, потом, выпрямившись, колдовски подмигивал в темнеющее уже небо, чесал затылок.

— Зажиганье! — наконец воскликнул Капитон таким голосом, словно что-то прочел на сиреновом небосклоне. — Зажиганье, будь оно неладно!

Мотор завелся только в одиннадцатом часу, завелся, как бывает всегда, неожиданно: вдруг что-то звякнуло, охнуло, из выхлопа показался черный дым, земля задрожала мелко, и мотор заработал яростно, судорожно, словно старался вознаградить за терпение; ребятишки восторженно завизжали, мужики гудели сдержанно, девчата с шумом хлынули к дверям — сделалось так оживленно, что на улице сразу появились председатель Петр Артемьевич с женой Марией Тихоновной, учительница Капитолина Алексеевна Жутикова (при шляпке и фильдеперсовых чулках), дебелая продавщица Екатерина (в черном крепдешинном платье и в белой шали с бахромой) и трактористка Гранька по прозвищу Оторви да брось. Избранные зрители шли по отдельности, зная об оставленных им местах и о том, что кино без них не начнется; влиться в ликующую толпу не торопились. Председатель Петр Артемьевич вел себя незаметно, скромно, старался идти по лунной тени, но учительница Жутикова, продавщица Екатерина, и Гранька Оторви да брось держались фасонно, носы задирали, делали вид, что кино им неинтересно, а когда сошлись все-таки у клубных дверей, то стало заметно, что учительница Жутикова и продавщица Екатерина, перестав въедливо разглядывать друг друга, объединились против Граньки Оторви да брось, на которую посматривали одинаково свысока, словно спрашивали: «Это что за птица?»

— Здорово, честной народ, здорово! — говорил председатель Петр Артемьевич.



Огромное красное солнце давно спряталось за черные осоки и тальники кетского левобережья, сиреневая полоска на горизонте, остывая, линяла с каждой секундой, и носились над теплой землей острые, холодные запахи, похожие на запахи первого снега, хотя на дворе был июнь — теплый месяц в нарымских краях. Вызрела уже над стрехой клуба и налилась розовостью большая луна с вислыми хохочущими щечками, с прищуренным левым глазом, полнокровная и здоровая.

Когда страсти возле клубных дверей немного приутихли, Виталька Сопрыкин перестал рассказывать смешные вещи про трактористку Граньку Оторви да брось, взяв Раю крепко за локоть, повернул к ней желтое от лунного света лицо.

— Дозвольте проводить на место, Раиса Николаевна, — сказал он и солидно покашлял. — Петра Артемьевич уже прошли...

В клубе было душно и жарко, ослепительно светила крошечная электрическая лампочка, на бревенчатых стенах изгибались забавные человеческие тени — длинные, лохматые, — и было неожиданно тихо, словно человеческие голоса теряли силу за чертой клубных дверей. На красном занавесе крошечной сцены висела чистая простыня, но улымские зрители на нее не смотрели, так как дружно и бесшумно, словно по команде, повернулись к дверям.

Бог знает, как люди узнали о том, что Рая и Виталька Сопрыкин вошли в клуб, но не было человека, который бы не глядел на девушку, — все повернулись к ней и смотрели бесцеремонно, добродушно, одобрительно, словно ожидая чего-то.

— Шагайте, Раиса Николаевна, шагайте! — жарко шепнул в затылок Виталька, но Рая, покраснев, растерянно стояла на месте.

Клубный народ молчал и не двигался, глаза не меняли выражения, не уходили в сторону, и это было так мучительно, что девушка перестала дышать. Потом в тишине послышался легкий шорох движения, приглушенно заскрипели скамейки, и лица улымчан одновременно и медленно повернулись в сторону второго ряда, где между трактористкой Гранькой Оторви да брось и учительницей Жутиковой зияло пустое пространство.

— Ваше местечко, Раиса Николаевна! — шепнул Виталька и, попятившись, отодвинулся в сторону.

С бьющимся сердцем, смущенная до слез, Рая проворно прошмыгнула между тесными скамейками, торопясь и нервничая, протиснулась на свое место, и в ту же секунду раздался важный голос киномеханика Капитона:

— Зачинаю казать кино «Если завтра война». Прошу соблюдать себя!

Киносеанс длился два с половиной часа. Три раза рвалась лента, два раза киномеханик Капитон запускал фильм задом наперед — кассета оказывалась неперемотанной; раза три глох двигатель, перерывы между частями были огромными. Капитон медленно заправлял в аппарат пленку своими толстыми, негнушимися пальцами, а иногда путал ролики, и по всем этим причинам фильм кончился в половине второго. На экране мелькнуло яркое слово «Конец», киномеханик Капитон во всеуслышанье облегченно вздохнул.

Минут пять после окончания фильма улымчане тихо и дисциплинированно сидели на местах, молчали, и у всех был такой вид, словно на экране должно было еще что-то произойти. Это продолжалось до той секунды, пока не поднялся с места председатель Петр Артемьевич. Он уже двигался к выходу, когда зал вдруг зашумел и поднялся — вот и окончилось кино...

## 5

От клубной духоты у Раи разболелась голова, ноги затекли от долгого сидения на неудобной скамейке; продираться сквозь толпу ей не хотелось, и потому она сидела на месте, терпеливо пережидая, когда зрители протиснутся в двери.

Когда в клубе никого не осталось, кроме киномеханика Капитона с семейством, Рая устало зевнула и, задевая сонно за концы скамеек, пробралась к выходу.

На улице было лунно и светло, над клубом шелестел серебряными листьями молодой тополь, река казалась собранной из желтых чешуек и текущей в противоположную сторону, так как легкий и теплый ветер гнал волны на север. Луна висела над деревней по-прежнему прозрачная, громадная, дорога по кетскому берегу бежала яркой слюдяной полосой, собаки лаяли глухо, а на лавочке кто-то смутно-белый и согбенный играл тихонечко на гармошке «Катюшу»; девчата подпевали вполголоса.

Других людей возле клуба не было, все куда-то исчезло, но на освещенной стороне молодого тополя, с ног до головы белая, стояла трактористка Гранька Оторви да брось, одетая так, как одевались героини фильмов «Учитель», «Трактористы», «Богатая невеста» и «Если завтра война»: на ней было длинное белое платье, перехваченное в талии лакированным поясом, на ногах — такие же парусиновые тапочки, как у Анатолия Трифонова, а на плечи была накинута цветная косынка, за концы которой Гранька Оторви да брось держалась разведенными руками с ямочками на локтях. Трактористку ярко освещала луна, и поэтому она стояла картинно, беззастенчиво выставив большую грудь, вычурно изогнув крутые бедра. Напевала Гранька Оторви да брось свое: «Мы с железным конем все поля обойдем...» — и была очень хороша, так как имела весь набор деревенской привлекательности: соболиные брови, алый рот, задорный нос, нежный подбородок, но при этом была коренаста, широкоплеча и коротконога.

Потягиваясь и держась руками за концы яркого платка, причесанная на гладкий пробор, Гранька неотрывно глядела на прозрачную луну. «Хороша! — медленно подумала Рая Колотовкина. — Вот бы подружиться с ней!»

Гармонист «Катюшу» играл душевно, девчата пели сердечно, а по слюдяной дороге медленно прогуливались Раины родственники — дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна. Они гуляли по-городскому, то есть дядя держал тетю под ручку, а это в Улыме было непривычным, так как даже молодые люди стеснялись городского обычая, под ручку не ходили, а делали так: девушка обнимала парня за талию, парень левой рукой обхватывал девушку за плечи, и вот в такой тесноте они двигались как бы одним телом. Между тем председатель Петр Артемьевич вот уже полгода гулял с женой по деревне под ручку — на виду у всех вел Марию Тихоновну бережно, осторожно, как барыню-сударыню.

Рая вслед старикам глядела ласково, нежно, отчего-то вздыхала. Ночь была такая торжественная и светлая, такая теплая и уютная, что сердце покалывали сладкие иголки; хотелось не то петь, не то плакать, горлу было узко от тополиного запаха, и ныли кисти рук, почему, отчего — неведомо! А Гранька Оторви да брось все выгибалась под луной, все напевала сквозь зубы про железного коня, одинокая и вызывающая.



— Стоишь, Раюха? — раздался за спиной знакомый голос.— Погуляешь или домой наладишься?..

Трое двоюродных братьев стояли рядом, сильные, светловолосые, безмятежные, улыбались сестре и были так же открыты, понятны, ясны, как лунное небо над головой, как тополь, как река, которая, казалось, перестала двигаться. У братьев, как у Раи, были квадратные нижние губы — семейная колотовкинская черта, — но она рядом с ними казалась совсем тонкой и такой зыбкой, что они дышали осторожно и говорили тихо, словно боялись, что сестренка рассыплется, хотя Рая была совсем немного ниже братьев.

— Так ты гуляй себе, Раюха, — ласково сказал старший брат Василий.— Если соскучишься, к нам подгребай...

Братья ушли, и почему-то сразу услышалось, как плещется под яром чешуйчатая Кеть, падают в воду с яра кусочки глины, бьет на плесе крупная рыба; девчата на скамейке тихо-тихо пели уже про рябину, которой надо перебраться к дубу, гармонист едва слышно подыгрывал им, свистели над головой крылья невидимых уток, кем-то потревоженных во время сна. Среди кустов левобережья пылал костер, похожий на звезду, что, бывает, ярче других звезд светится на краю небосклона. От костра на черную воду ложился колеблющийся отблеск.

Трактористка Гранька Оторви да брось вдруг скрестила на груди концы косынки, протяжно и грозно свистнув, пошла по темной земле, пятная ее белизной тапочек.

Было уже без пятнадцати два, до раннего нарымского рассвета оставалось не более часу, и уже по-утреннему резко пахло черемухой, влажнеющей травой, квакали дремотно лягушки в Гадючем болоте, вдруг показались по небу светлая звездочка, ударились обо что-то невидимое и, вспыхнув, сгорела... «Пойду-ка и я домой! — неожиданно решила Рая.— Чего я буду здесь стоять, если все ушли?..»

Белых парусиновых тапочек у Раи не было, шагая неторопливо, она ступала на мягкую траву невидимыми туфлями на высоком каблуке, и скоро ей стало казаться, что она бесшумно плывет в густом теплом воздухе, насквозь пронизанная им; руки сами собой волнообразно изгибались, и чувствовалось, какая у нее длинная тонкая шея. Все это было странным, непонятным, но

таким сладостным, что не хотелось, чтобы дорога к дому кончилась,— все бы плыть да плыть, как в ребячьем сне, когда по ночам растешь... «Я глупая! — неизвестно отчего думала Рая и улыбалась своим мыслям.— Я только думаю, что я вырослая, а я глупая, и сама не знаю, чего мне надо...» Потом она подумала, что завтра проснется поздно, при большом и высоком солнце, но тут же решила совсем не ложиться спать, а, забравшись на сеновал, читать.

— Дурочка! — вслух сказала Рая.

В это время она проплывала мимо молодых елок, возле которых сидели на бревнышке парнишки лет четырнадцати-пятнадцати, тихие и грустные именно оттого, что были в таком возрасте, когда домой отцы и матери рано не загоняют, но и на дворе до рассвета делать нечего: во-первых, темно, во-вторых, хочется спать.

Когда Рая проходила мимо мальчишек, они бесшумно поднялись с бревна, глядя на девушку исподлобья, поклонились вежливо, по-стариковски низко. Она тоже поклонилась, засмеявшись, пошла дальше, но вдруг замедлила шаги, так как один из мальчишек за ее спиной громко спросил:

— Никак, Стерлядка?

Несколько секунд было тихо, потом другой мальчишечий голос солидно подтвердил:

— Она... Стерлядка...

## 6

За неделю Рая Колотовкина отдохнула и загорела, ноги покрылись царапинами, обветрились, густой здоровый румянец лег на втянутые щеки; всю неделю она спала на сеновале, просыпалась на рассвете и сразу видела сквозь щель зеленую большую звезду. Ходила Рая в коротком городском сарафане, односельчане уже стали понемногу привыкать к нему, не ворчали осуждающе: «Ровно голая!» Девушка уже знала, что в Улыме ее зовут Стерлядкой, что прозвище пошло с того самого вечера, когда старый рыбак Иннокентий Мурзин, человек спокойный, справедливый и мудрый, сидя на лавочке и глядя на проходящую Раю, покачал головой и сказал:

— Чисто стерлядка... Эта рыбина, то есть стерлядка, тоже длинна, тонка, куда хошь поплывет, в каку хошь сторону взбрыкнется. Нд-а-а-а, стерлядка и есть!

До конца недели стояли погожие денечки, на небе — ни облачка, отцветающая черемуха напослед как бы снова набралась сил — пахла густо и тревожно, палисадники были по-свадебному белы, улымские парни засовывали черемуховые кисти за кепки. Всю неделю деревня жила возбужденно, так как киномеханик Капитон Колотовкин еще четыре раза показывал кино «Если завтра война», и зрителей по-прежнему было много, и сеансы кончались за полночь.

В четверг Рая проснулась, как обычно, в пятом часу утра, потянувшись сладко, открыла глаза и сразу увидела в щели большую и зеленую звезду; луна еще не сошла с небосклона, при солнце казалась подтаивающей льдинкой; уже куковала за рекой кукушка, а по двору в белых кальсонах и белой рубашке по колено ходил дядя Петр Артемьевич, похожий на привидение. Он зевал и шурился, что-то искал на дворе с таким видом, словно не знал что. Тетя Мария Тихоновна уже хлопотала вокруг кирпичной дворовой печки — готовила ранний завтрак, и все вокруг радостно пахло дымом от березовых дров.

Полумрак на сеновале был проткнут пыльными солнечными иглами. Рая подставила под них ладонь и увидела сквозь розовую мякоть темные косточки пальцев; она играла с солнечными полосками до тех пор, пока не сделалось щекотно от их горячего прикосновения к коже. Рая вслух засмеялась и решительно начала спускаться с сеновала. На ней были длинные сатиновые трусики, синяя майка, прямые распущенные волосы по тогдашней моде обхватывал железный обруч.

— Здорово! — первым поздоровался с племянницей дядя Петр Артемьевич и поддернул белые кальсоны. — Вот ты мне скажи: куды мог деваться парсигар? Вот где он может обретаться?

Дядя начал курить на пятьдесят шестом году жизни, тетка в дом его с куревом не допускала, и он вечно терял кожаный портсигар, который прятал от Марии Тихоновны во дворе. Вчера портсигар нашли под крыльцом, позавчера — в пазе оконного наличника, неделю назад — в курятнике, а вот где он скрывался сегодня, надо было сообразить, и Рая задумалась.

— Под столешницей портсигар, — наконец сказала она.

— Ох-ох-ох! Сгину я через эту проклятушшу память!



Дядя подошел к столу, который был вкопан в землю посереде двора, пошарив, достал из-под столешницы пузатый кожаный портсигар и тоненько засмеялся, подмигивая племяннице. Потом он сделался очень серьезным, так как начал искоса глядеть на тетю Марию Тихоновну, которая переворачивала ножом жирных карасей на большой сковородке.

Тетка молчала, не обращала на мужа никакого внимания, но дядя обиженно поджал губы, шмыгнул носом и сказал:

— Вот ты заметь, Раюха, как она в любо дело встревает! Ты заметь, заметь, как она носом дышит, воздух в грудях затаивает, ежели я нахожусь при папиросе!.. Да ты мне ответь, а не ворочай своих карасей, язва ты сибирска! — вдруг обозлился дядя. — Ты мне ответь, коли я с тобой беседую...

Однако тетя Мария Тихоновна и ухом не повела, а перевернула с боку на бок очередного карася, довольно улынувшись.

— Во! — обрадовался дядя. — Ты гляди, Раюха, как она меня со свету сживат... Во!

Дядя еще раз поддернул кальсоны, сердясь, подошел к плите, вынул из топки яркий уголек и неторопливо прикурил от него, держа в пальцах

— Вот ты гляди, Раюха, как она меня преследоват, изгонят и мученически мучит... Мне в речку головой — вот она чего добивается.

После этого дядя с надеждой посмотрел на тетю, будучи уверенным, что она на этот раз ответит, загодя презрительно оттопырил нижнюю губу и прищурился едко. Однако Мария Тихоновна по-прежнему не слышала его, вела себя так, словно на дворе была одна, и дядя мгновенно увял — походив по траве меланхолично, он сел на первую попавшуюся чурку и поглядел по сторонам рассеянно.

— Вот чего я никак не пойму, так это собственну бабу,— пробормотал он.— Почему это так получатся, что для всего народу я — председатель, а вот для своей бабу — пусто место?.. Вот через что это получилось — мне шибко интересно знать...

Дядя был такой печальный и обиженный, глаза так потерянно блуждали по небу, что Рая вдруг навзрыд рассмеялась, подбежав к дяде, обняла его за коричневую и шершавую, как наждак, шею, повиснув, опустилась на прохладную траву голыми коленями.

— Ой, дядя! — воскликнула Рая. — Ой, дядя, какой ты смешной!

— Вон чего! — крикнул дядя и покраснел. — Вон чего она говорит...

Дядя Петр Артемьевич совсем не умел обниматься и нежничать, он смущался и не знал, что делать, когда племянка ласково обнимала его, и даже страдал оттого, что не умел отвечать на Райны ласки, но она-то видела, что у дяди счастливо подрагивали большие, квадратные губы, глаза влажнели и светились от радости.

— Ой, дядя, какой же ты смешной!

Рая расцепила руки, упала грудью на траву и краешком глаза стала наблюдать за дядей, который смущенно кашлял, теребил густую бровь и старался не глядеть на племянку. Затем он отвернулся, чтобы никто не видел его счастливое, растроганное лицо.

— Вот сроду так, что папиросу помнут, — ворчливо сказал дядя и помолчал. — Радоваться-то радвайся, но ты с умом радвайся, чтоб папиросу-то не спортить...

После этого дядя рассердился:

— Ты чего же, Раюха, на траве лежишь, а братовьев-то не побуживашь... Вот чего не люблю — это когда все на траве лежат, все носы от моей папиросины воротят, все спят... Не-е-т, я скоро с вами строжиться зачну! Не-е-т, так у нас дело не может дальше продолжаться!

Солнце успело подняться уже на вершок над сиреновой Кетью, левый берег реки был темен, таинствен; от земли поднимался, спешил вверх, к солнцу, чтобы согреться, сладостно-прохладный воздух.

Протяжно мычали коровы, звенели ботала и колокольчики, во дворах вырастали прямые столбы дыма от дворовых печурок. Было свежо, прозрачно и так празднично, как бывает ранним утром, когда происходит главное земное торжество — рождение нового дня.

— Побуживай братовьев-то, Раюха, побуживай!

Рая вспорхнула с прохладной травы, кружась и напевая, босиком побежала к высокому крыльцу, по теплым и ласковым кедровым доскам вбежала в большие темные сени и вдруг на мгновение остановилась, замерла оттого, что сердце сладко и больно сжалось, словно его схватили горячими пальцами. Рае показалось, что все это уже было в ее жизни: полумрак больших сеней, босые ноги, запах сухой травы и пшеничного хлеба, чувство беспричинной радости, полной до озарения; ей показалось, что она давным-давно, тысячу лет, ждала

вот этого мгновения, готовилась к нему и знала, что оно настанет.

— Товарищи братовья! — удивляясь себе самой, радостно закричала Рая. — Вставайте, братовья!

Когда девушка пригляделась к темноте, в сенях появилась широкая лежанка, на которой спали трое двоюродных братьев; лежанка была широкая — метров на пять, каждый брат лежал на отдельном бараньем козущке, у каждого имелось ситцевое лоскутное одеяло, подушки у всех были одинаковые — красные. Братья храпели ровно, лица у них были совершенно спокойные, и не верилось, что это они храпят.

— Эй, просыпайтесь, братовья! — еще раз крикнула Рая и только тогда обнаружила четвертого человека: на самом лучшем козущке, под новым лоскутным одеялом спал Виталька Сопрыкин. Заметив его, Рая смутилась, но как раз в этот момент младший брат Андрюшка перестал храпеть и открыл глаза.

— Ты вот что, Раюха, — деловитым и ясным голосом сказал он. — Ты иди-ка себе с богом, покудова я шворнем не зачал орудовать.

После этого Андрюшка перевернулся на бок, сладко улыбнувшись и подложив под щеку ладонь, захрапел сильнее прежнего, а Федор, Василий и Виталька Сопрыкин проснуться не изволили, хотя веки у них потоньшали и начали подрагивать — значит, все слышали.

— Ну ладно! — грозно сказала Рая и, поджав губы, вышла на крыльцо.

— Не пробуживаются? — сердито спросил дядя Петр Артемьевич. — Ну, значит, с первыми петухами пришедши: их надоть водой отливать...

Тут дядя пришел в такой восторг, что, взмахивая руками, стал приплясывать босыми ногами по траве:

— А не гуляй до рассвету, а не шляйся где попадай... Ты водой их, Раюха, водой!

И началось веселье.

Рая вытащила из дворового колодца со скрипучим воротом ведро ледяной воды, нарочно громко стучая им о сруб, перелила воду из деревянного ведра в металлическое, но сразу его к сеням не понесла, а побрякала дужкой.

— Давай не бойсь! — хохотал дядя. — Действуй, давай действуй!

Действовала Рая так: подхватив ведро и стуча по нему ковшом, неторопливо двинулась к сенцам; под-



нявшись на крыльцо, стучать перестала и прислушалась: в сенях уже не храпели, но лежали пока тихо, притаившись. Тогда она загромыхала железом сильнее прежнего и закричала по-базарному:

— А вот холодная вода! Кому нужна холодная вода?.. Холодная вода...

В сенях было тихо, как в подземелье, братья и Виталька Сопрыкин теперь лежали лицом к стене, затылки у всех были сердитые, и, когда Рая приблизилась к лежанке, младший брат Андрюшка сказал задумчиво:

— Вот она какая есть зараза, эта Райка! Я, к примеру сказать, такой заразы еще никогда не встренул...

Беззвучно смеясь, Рая села на табуретку, а братья еще минуточку лежали тихо, потом Федор — средний — пожаловался:

— Мне холодная вода — тьфу! А вот у колодца надо бы вороток смазать... Я больше от скрипу побуживаюсь, чем от этой заразы Райки...

Затылки у братьев были такие же плоские, как у Раиного отца, — светлые густые волосы были по-коло-товски прямыми, и голоса у братьев тоже были родными: напевными, чуточку хрипловатыми и лесными.

— Райку надоть крапивой, — сказал старший брат Василий. — С одной стороны, больно, с другой — от крапивы польза...

После этих слов трое остальных отчего-то разом повернулись на спину, не обращая внимания на сестру, стали коситься на Василия, который тоже лег на спину. Молчание длилось, наверное, минуты две, потом Андрюшка недоуменно хмыкнул:

— Это как же так, что от крапивы польза?

— А вот так, что от нее ревматизм проходит...

Теперь братья и Виталька Сопрыкин внимательно глядели на сенную балку, лбы у них были думаяще наморщены, а глаза любопытно поблескивали; чувствовалось, что мысли у всех серьезные, по-мужичьи основательные, и от этого все четверо казались очень занятыми людьми.

Молчание длилось до тех пор, пока Витальке Сопрыкину на подбородок не села муха. Он согнал ее и сказал в потолок:

— С добрым утречком вас, Раиса Николаевна!

Опять наступила тишина, а затем Андрюшка нежно засмеялся.

— Витальку-то мы вчера еле от братьев Каповских

отбили... Ты глянь, Раюха, чего у Витальки-то под правым глазом светит...

Посмотрев на Витальку, девушка невежливо засмеялась и, выйдя из сеней, по-деревенски заботливо огляделась; она даже приставила ладонь ко лбу, как это делала тетя Мария Тихоновна, покачала головой озабоченно и деловито...

Солнце значительно уменьшилось в размерах, вращалось, млело; даль реки, неба, кедрачей была прозрачной, зеленоватой, по-утреннему бесконечной. «Хорошие будут погоды!» — удовлетворенно подумала Рая, но с крыльца все не спускалась, хотя дядя, маня ее пальцем, таинственно улыбался:

— Подь-ка сюда, Раюха. Подь-ка сюда...

Когда она подошла к дяде, он старательно, словно вдевая нитку в иголку, прижмурил левый глаз, втянув голову в плечи, зашептал:

— Ты глянь-ка, племяшқа, какая чуда содеялась... Правых-то сапог нету... Это ж одни левы стоят!

На самом деле, возле крыльца стояли четыре левых сапога, меж ними было пространство, которое должны были бы занимать правые сапоги, но вот их не было, и дядя изумленно глядел на пустоту одним глазом.

— Вот что интересно,— наконец прошептал он.— Четвертый-то сапог чей? Не мой ли это сапог?.. Мать! — громко закричал дядя, хотя Мария Тихоновна уже стояла рядом.— Четвертый-то сапог мой или не мой? Голенишшем он вроде мой, а головкой — не кажется на мой.

— Не твой это сапог! — подумав, рассудительно ответила тетя.— Твои сапоги вон обои стоят, а этот сапог Виталькин...

Рая тихонько смеялась. Ей было хорошо на этом зеленом дворе, под этим голубым небом, в этом прозрачном теплом воздухе...

За стол Колотовкины сели около шести часов утра, когда прошло деревенское стадо и Мария Тихоновна проводила пастись комолую Пеструху. Стадо по деревне шло долго, пастух Сидор для авторитета часто шел кнутом, без нужды строжил на коров, голос у него был несмазанный, хриплый; коровьи ботала и колокольчики звенели и брякали, сами коровы от радости помыкивали — шумная жизнь происходила на длинной

улымской улице, которая уж давно проснулась. Везде дымили дворовые печурки, пахло жареной рыбой и утятинной, свинными шкварками и картошкой; бабы перекликались через прясла веселыми утренними голосами.

У Колотовкиных завтракать сели так: в голове стола устроился важный Петр Артемьевич, натянувший шерстяные штаны, справа в сарафане сидела Рая, слева — гость Виталька Сопрыкин, а уж потом все остальные — бойкий Андрюшка, медленный Федор, солидный Василий. Андрюшка, как только сел по правую руку от сестренки, так сразу начал щекотать ее голое плечо тоненькой травинкой, чтобы она подумала — муха. Глядел Андрюшка при этом в сторону, лицо у него было серьезное, точно это не он баловался травинкой.

Все Колотовкины и Виталька Сопрыкин были гладко причесаны, лица после умывания сделались розовыми; ожидая начала завтрака, они постно смотрели в столешницу с таким видом, будто не имели никакого отношения к предстоящему: Тетка стояла возле печурки в праздничном переднике.

— Надо бы зачинать, — негромко сказал дядя. — Если будешь сидеть, так, поди, ничего не высидишь.

На первое тетка подала в огромном чугуне сковородку из баранины — такой суп, в котором ложка стояла стоймя, картошка попадалась редко, как драгоценность, и вообще было непонятно, почему полпуда вареного мяса называется супом, но дядя Петр Артемьевич одобрительно почмокал:

— Вот это дело!

Похвалив жену, дядя приосанился, подвигав, поставил горячий чугунок так, чтобы стоял ровно посредине, затем, облизав чистую ложку, посмотрел на нее сбоку и мотнул головой: «Ну, можно снестать, народ!» Он первый зачерпнул из чугуна полную ложку супа, поставив под нее ломоть пшеничного хлеба, остороженько понес к заранее открытому рту, но возле самых губ ложку остановил и покосился на Витальку Сопрыкина, который, шибко нагнувшись, что-то шептал: это он молился. Глаза у дяди запламенели, но он тут же опустил взгляд в ложку, подумал немножечко и только тогда занес в рот горячее мясо. После дяди в чугунок полезла ложкой Рая — за ней была вторая очередь, а потом стали таскать мясо с безразличным видом все остальные, исключая тетю, которая стояла возле дворовой печурки и зорко наблюдала.



Суп ели в молчании, серьезно, деловито. Даже Андрюшка притих и погрузнел: сухо поджимал губы, глядел в даль-дальнюю, спина у него была по-мужичьи сутулая, работающая, и вообще в нем нельзя было признать человека, который в райцентровской школе закончил на одни пятерки девять классов, умел читать и разговаривать на немецком и неделю назад декламировал Рае «Евгения Онегина».

За неделю Андрюшка с радостью выбросил из головы всю школьную премудрость, упрямые морщинки на лбу расправились, походка сделалась лениво-вкрадчивой, а ел он точно так, как это делают сибирские мужики: смачно, неторопливо, сосредоточенно, но с таким выражением лица, словно еда и Андрюшка ничего общего между собой не имели. Одним словом, Андрюшка не опускался до уровня еды, однако и не позволял еде подниматься до его уровня — он просто позволял еде быть съеденной, а еда позволяла себя съесть.

Рая густой суп черпала осторожно, горбушку пшеничного хлеба под ложку подставляла неловко, и на столе, конечно, пролегла мокрая дорожка, которой она стеснялась. Однако Рая ела охотно, хотя неделю назад суп утром есть не могла и тетя с дядей переживали за нее, говорили, что это все от учебы, которая человека лишает аппетита. Теперь аппетит у девушки появился, ела она суп вместе со всеми, ни от кого не отставала и, если бы не мокрая дорожка на столе, была бы совершенно счастлива.

Когда суп съели, дядя Петр Артемьевич тяжело вздохнул, улыбнулся и положил ложку. Как только он сделал это, Андрюшка мгновенно переменял выражение лица и шепнул Рае: «Виталька-то молился!» Не получив ответа, Андрюшка снова взял тонкую травинку и стал щекотать голое плечо сестры, изображая муху. Смотрел он при этом на левобережье Кети и до тех пор мучил Раю, пока мать от печки не сказала:

— Вот тресну уполовником!

— Кого? За что?

Тетя Мария Тихоновна карасей подавать не торопилась, так как Петр Артемьевич собирал на лбу коричневые морщины, угнезживаясь на скамейке поудобнее, чужеродно кашлял — собирался завести серьезный разговор. Поэтому тетя засунула руки под передник, уперлась спиной о печурку и стала ждать, когда муж заговорит, а дядя все ворочался, строго сводил брови на пе-

рёносице и кашлял уже грозно. Потом он гостеприимно улыбнулся и безмятежным голосом сказал:

— Нет, робяты, не знаю я, куда ваши правы сапоги подевались... Я уж так прикидывал, я уж этак прикидывал — ничего у меня не получится!

Пока он говорил это, братья и Виталька Сопрыкин медленно, как бы поочередно повернулись в сторону крыльца, поглядев на левые сапоги, таким же макаром повернулись обратно к столу и начали молчать, рассматривая друг на друга и пожимая плечами. Так прошло минуты три, затем старший брат Василий почесал кончик носа, в последний раз пожав плечами, раздумчиво сказал:

— Заметно интересное дело получится... Андрюшк, а Андрюшк?

— Ну чего тебе?

— А ничего!.. Ты бы Раюху травинкой не мучил, ровно муха, а лучше бы сказал: когда ты калитку-то закрывал на вертушку, были на месте правы-то сапоги? Ты их на замет взял?

— Взял! Все сапоги были...

— Совсем любопытно дело получится!.. А ты как вертушку-то закрывал? Толстый-то конец вертушки куда пришелся? К столбу или от столба?

— Это я упомянуть не могу! — медленно ответил Андрюшка и стал глядеть в небо. — Постой, постой!.. Вот чего я тебе скажу: к столбу был толстый конец! — Тут он ухмыльнулся. — Вот интересно, кто такую неровну вертушку строгал? Как у него руки-то не отсохли?

Дядя Петр Артемьевич зашевелился, хмыкнул, но ничего не сказал, а только сердито посмотрел на младшего сына. Зато тетя Мария Тихоновна оторвала спину от теплых кирпичей, вынув руки из-под фартука, тоже посмотрела в голубое пространство и проговорила:

— Я такого ране не слыхала, чтоб родной сын желал отцу руки отсохнуть! Ты бы, Андрюшка, прежде чем говорить, подумал бы... Ить вертушку-то отец строгал!

— Ну и чего из того? Что отец, что другой, надо бы ровно строгать-то... Васьк, а Васьк? Посмотреть, как вертушка-то закрыта?

— Но!

Встав из-за стола, Андрюшка пошел неторопливо к

калитке. Босые ноги оставляли на росной траве два темных следа, спина у братишки была озабоченная, деловитая, высоко подстриженный затылок круглел пятком. Как только он приблизился к калитке, с земли лениво поднялись две здоровенные лайки — Верный и Угадай, позевывая и волоча по траве вялые хвосты, пошли за ним. Возле калитки Андрюшка остановился, склонив голову набок, посмотрел на вертушку слева, потом, перенеся голову на другое плечо, посмотрел на вертушку справа, затем выпрямил голову, чтобы посмотреть прямо. Когда он вернулся к столу и сел на свое место, собаки остались у калитки, а тетя Мария Тихоновна от плиты негромко спросила:

— Ну, чего, отец, подавать карасей-то?

— Так подавай!

Бесшумно двигаясь, тетя поставила на стол противень с огромными карасями, отойдя в сторонку, подбоченилась и стала внимательно глядеть на ленивых псов, которые от этого начали зевать и беспокоиться. Когда же псы, не выдержав человеческого глаза, поднялись, Мария Тихоновна поджала губы и сказала:

— Из этих собак надоть бы верхонки сшить! Ну, ни одна зараза ночью-то не залаила...

— И правильно сделала! — сердито откликнулся дядя Петр Артемьевич. — Чего это охотничьи собаки будут лаить, как ровно дворняги... У них что, других делов нету? — Он осуждающе покачал головой. — Ты, мать, тоже скажешь: чего не залаили? Нужда была им лаить! Это городски собаки лають почем здря, а наши-то чего бы с ума сдурели... Ну, Андрюшк, по тебе шворень скучат! Чего это ты опять над Раухой выкамаривашь? Чего ты ее ногой-то под столом пихашь?

— Кто? Кого?

— Ну, ладноть! Ты мне театру не представляй, а лучше карасей ешь...

Караси на противне лежали огромные, целые, с золотистой шкуркой и так пахли, что щекотало в носу, но Колотовкины и гость Виталька Сопрыкин к еде приступать не торопились: во-первых, самый острый утренний аппетит уже был приглушен, во-вторых, на каждого едока полагалось по целому карасю и есть его можно было сколько угодно долго, не то что суп, когда надо соблюдать строгую очередность. Поэтому к еде приступили лениво, переглядываясь и подолгу сидя без движения.



— Так чего вертушка-то? — наконец спросил старший брат Василий, отделяя карасиную голову от туловища, чтобы высасывать вкусный мозг. — Каким она концом к столбу-то?

— А тем же самым, что и вчера...

После этого все повернулись к калитке, начали глядеть на вертушку, а псы поднялись, постояли немного, потом тоже стали смотреть на вертушку, заострив уши.

— Жрут эти собаки — страсть сколько! — сказала Мария Тихоновна и пригорюнилась. — Это ж со смеху можно помереть, что простоквашу лопают...

Рая сидела тихо, прислушиваясь к самой себе, так как ей опять казалось, что все вот это уже когда-то было в ее жизни: сидела вот за таким же столом, шел точно такой же смешной разговор о вертушке и правых сапогах, а двоюродный брат Андрюшка уже когда-то шептал ей на ухо: «А здорово я выдал батяне-то за вертушку! А пушай не хвалится, что лучшее всех нас мастер!» Да, все это было когда-то в ее жизни, все это она любила, и ей опять было так хорошо, как не бывало давным-давно. Рая оживленно крутила головой, сдерживая смех, поглядывала на левые сапоги, соображала, куда исчезли правые, и вместе со всеми ела карасей, вместе со всеми удивлялась тому, что охотничьи собаки едят простоквашу, и согласилась со старшим братом Василием, когда он решительно сказал:

— Я так думаю, что дело не в простокваше, а вот в том, где правы сапоги... Может, вы, мама, знаете, куда они подевались?

— Нужны мне ваши сапоги!

— Каповски парни увели сапоги, — со вздохом сказал Виталька Сопрыкин. — Я на них еще с самого начала подумал, а теперь у меня и замет есть...

Сказав это, Виталька Сопрыкин неторопливо затолкал три пальца в широко открытый рот, закинув голову, вынул из-за щеки большую карасиную кость, осмотрев ее со всех сторон, положил на стол. Наблюдавшая за этой процедурой тетка Мария Тихоновна вздохнула:

— Вот через это я карасей и терпеть не терплю, а они все: «Караси да караси!» Вот заглונут кось, так узнают карасев...

— Но ить вкусны! — сердито ответил Петр Артемьевич.

— А кось?

— Торопиться не надо — вот что я тебе скажу за кось!

В метрах ста от завтракающих текла черная у яра при утреннем освещении Кеть, хищно-веселые, носились над ней голодные чайки, летали озабоченные сороки; на левом берегу реки догорал рыбацкий костер, и от него поднимался в небо прямой, как телеграфный столб, торчак дыма. Посередине реки в тихом обласке плыл задумчивый рыбак, не шевеля, держал весло в левой руке — спал сладким зоревым сном. Левобережье Кети, наоборот, серебрилось солнечными чешуйками, и казалось, что две реки притекают к подножию деревни Улым — светлая и дегтярно-черная.

— Какой у тебя замет про сапоги, Виталька? — осторожно спросил Василий. — Это ты нам должен непременно сказать, как мы без сапогов-то на гулянье не попадам... Походи-ка босошлепый по свежей кошанине!.. Так какой у тебя замет?

— А такой, что я видел, как каповски-то ребята сапоги уводили.

— Чего же не взбудил?

— Да жалко было... Вы тока уснули, тока в храп вдарились, как они сапоги-то повели... Вот и не стал возбуживать...

— Ну а сапоги где?

— Под пряслом сапоги... Как чаю-то попьем, я их возверну, раз видел, куда прятали.

Теперь все, кто сидел за столом, и Мария Тихоновна от своей печки, в первый раз за весь завтрак посмотрели на Виталькин глаз, затекший синевой и напухший; дядя Петр Артемьевич при этом ехидно улыбнулся, трое Раиных братьев синяк осматривали деловито-профессионально, а Мария Тихоновна построжала.

— Каждую ночь дерутся! — сказала она и опять сунула руки под фартук. — Ты бы их, отец, приструнил, а то чего хорошего, если глаз выхлестнут...

— Была нужда! — ухмыльнулся дядя. — А вот ты бы лучше чаи подавала, чем на синяки косоротиться!

После чая Петр Артемьевич на глазах Марии Тихоновны закурил вторую за утро папиросу, неумело выпуская дым из ноздрей, сел прямо и начал осматриваться по сторонам зорко и любопытно. Из конца в конец пробежал глазами всю деревенскую улицу, задержался на колхозной конторе, на школе-семилетке и всем,

видимо, остался довольный, так как никакой председательской строгости в нем не появилось. Наоборот, дядя согнал со лба морщины, потрогал себя за подбородок.

— Ну, радуйся, молодой народ,— важно сказал Петр Артемьевич.— Я так смекаю, что за стахановскую работу правление вам выделит овцу... Ешь и веселись.

После этих слов парни опять сделались серьезными, задумчивыми, а тетка Мария Тихоновна, подходя к столу в первый раз за все это длинное и медленное время, присела на кончик скамейки. Помолчав, она аккуратно вытерла кончики губ фартуком, славно улыбнулась и негромко проговорила:

— Седни девки в больших переживаньях... Во-первых сказать, не знают, чего получше поднадеть, во-вторых сказать, в старину старые старики говорили, что, дескать, кто на Ивана-купалу сердечна дружка поимеет, тот на покрова непременно обженится... Не знаю, правда это или брехня старикивская, но ты, может, Петра Артемьич, им не одну овцу, а двое выделишь. Робята-то ладно на покосах выложились...

— Это можно...

— Ну, вот и выдели двое овец, Петра Артемьич... За ими не пропадет!

Раиной тетке исполнилось пятьдесят три, но у нее на лице была удивительно гладкая и молодая кожа, а под нелепым старушечьим нарядом угадывалось еще сильное и крепкое тело; недавно Рая ходила с тетей в баню и так удивилась, когда увидела Марию Тихоновну голой, что не удержалась и воскликнула: «Теть, а зачем вы носите старушечьи платья?» В ответ на это Мария Тихоновна засмеялась и сказала: «А чего мне казаться? Мой-то знат, что у меня под одеждой имається». И прошла по бане, высоко держа голову — крутобедрая, с глубокой ложбиной на спине, такая белая и чисткокожая, какой бывают только очень молодые девушки...

— Тебе, Раюха, надоть пойтить на гулянье!— сказала тетя, не повертываясь к племяннице.— Только ты сарафан-то не поднадевай... Я тебе вышиту кофту дам...— И на этих словах обняла племяншку за плечи.— Так ты подешь на гулянье, Раюха?

— Пойду, тетя,— ответила Рая и, толкнув под стол ногу Андрюшки, подмигнула ему тем глазом, который был не виден Марии Тихоновне.— Я буду иметь честь присутствовать на пикнике, который дает мой родной дядя по случаю окончания страды...



Сдерживая смех, Рая поджала губы, надула щеки, так как дядя Петр Артемьевич уже неодобрительно покачал головой; брови у него задрались на лоб, перекошились, а нос сморщился. Однако сразу он ничего не сказал — рот был занят папирсой.

Папирса вообще мешала дяде жить, поэтому он ее досадливо вынул из зубов, осмотрев со всех сторон, как Виталька Сопрыкин оглядывал карасиную кость, опасно положил на край стола. Только после этого дядя наставительно произнес:

— Совсем непонятно разговаривашь, Раюха... Я-то тебя, конечно, еще понимаю, а вот тетка, поди, ни в зуб ногой... Я ведь верно говорю, мать? Это ить правда, что ты Раюху не понимаешь?

— Дурака!

— То ись как?

— А вот так! Дурака!

— Но ить это оскорбленье!

— Оскорбленье!

— А как ты можешь?

— А могу!

— А ежели шворнем?

— А у его два конца!

— А я обоими!

— Так и я обоими.

— Тебе останов будет?

— Не будет!

— То ись как?

— А вот так!

— Ну, ить у меня сердца не хватат!

— У меня тоже!

— Ну кто-то должен же первый примолчать?

— Вот ты и молчи!

— Кто?

— Ты!

— Молчать?

— Молчи!

— Ну, молчу!

— Молодца!

Вконец обиженный дядя Петр Артемьевич по-мальчишески швыркнул носом, сердито повернувшись к жене спиной, нечаянно задел за горящую папирсу и уронил ее на свою босую ногу; видевшая все это Рая открыла уже рот, чтобы предупредить дядю, но поздно: он вдруг дернулся, сбивая со стола пустые чашки от чая, схва-

тился руками за ногу, потерял равновесие и повалился спиной на мягкую траву, удивленно, трубно и отчего-то весело гудя:

— Ая-яаяя! Ой, болю-ю-ю-ю-ю!

Сначала, кроме Раи, никто ничего не понял, потом Андрюшка, качаясь, встал из-за стола, прошагав немножко по двору, мешком повалился на землю и принялся так хохотать, что обе лайки — Верный и Угадай — торопливо подошли к нему и начали нюхать оскаленное лицо парня. Тетка Мария Тихоновна медленно-медленно сползала со скамейки на траву, Рая упала грудью на стол, Виталька Сопрыкин хохотал басом, Федор — хриплым дискантом, а вот старший брат Василий не смеялся: воспользовавшись хохотом и паникой, он незаметно поднял с травы злосчастную папиросу и приложился к ней растрескавшимися губами. Сделав одну затяжку, Василий обморочно округлил глаза и тоже начал падать...

Пять папирос убивают лошадь, а Василий был здоров, как молодой конь.

## 8

В двенадцатом часу дня улымская молодежь под стон гармошек по разным дорогам и тропочкам двигалась на знаменитую Гундобинскую вереть; полчаса назад туда уже уехали две подводы с мясом и другой снедью, проплыла бочка с колодезной водой, на отдельной таратайке пропылил председатель Петр Артемьевич.

На Гундобинскую вереть девчата и парни шли отдельными группками, не перемешиваясь, старательно показывая, что не замечают друг друга. Девушки надели белые вышитые кофты, сохранившиеся в улымских местах издавна, как память о теплой Украине, которая много-много десятилетий назад заселяла нарымские края беглыми крестьянами и ратниками, каторжанами и революционерами. Парни надели темные брюки, заправленные в начищенные до блеска сапоги, на плечах имели рубахи-косоворотки, подпоясанные витыми шнурами. Волосы у парней были расчесаны на пробор, у кудрявых на лоб свешивался кок, похожий на виноградную гроздь.

Рая Колотовкина, тихая и чинная, шла на Гундобинскую вереть с трактористкой Гранькой Оторви да брось. Трактористка держалась руками за концы пестрой косынки, в зубах у нее пошевеливалась длинная травинка, выражение лица было постное, словно ей все равно: идти

на гулянье или не идти. На Раю она глядела искоса, бегло и, когда их взгляды встречались, непонятно усмехалась.

Встретились Рая и Гранька на деревенской околице, возле осинового прясла, издалека заметив друг друга, медленно, словно насильственно, сблизились, так как и Гранька шла на вереть одна, и Рая отказалась от сопровождения братьев. Стайки девчат, конечно, с Раей и Гранькой здоровались вежливо и почтительно, кланялись им низко, но с собой прогуляться не приглашали — то ли боялись, что трактористка и племянница председателя погнушаются их компанией, то ли сами не хотели их. Таким образом, Рая и Гранька Оторви да брось сошлись на узкой тропке сразу за воротами околицы, пошли вместе, молчаливые и друг для друга загадочные.

Гундобинская вереть находилась примерно в километре от Кети, посередине сияло блюдцем голубое и круглое озеро Чирочье; берега обросли камышом с коричневыми набалдашниками, а по обе стороны Гундобинской верети грядками тянулись березовые колки, за ними, синяя, поднимались кедрачи; слева верети росли кусты черемухи, малины, шиповника, рябины, калины и дикой акации. Все, что росло в нарымской стороне, росло и на Гундобинской верети; все цветы здесь цвели, все птицы пели, все ручейки журчали.

На берегу Чирочьего озера разостлали громадный брезент, на него положили домотканые половички, четыре костра запылали. Вдоль пологого берега; стоял уже шалаш из веток для хранения от мух снеди; телеги протыкали голубое небо оглоблями, фыркали стреноженные лошади; пожилые женщины, специально назначенные председателем Петром Артемьевичем, стояли возле четырех костров подбоченившись.

В голубой бездне висело полное солнце, ядовитые болотные туманы еще час назад выползли из ложбинок и улетели в небеса, травы шелестели уже сухо, но не было жарко, так как Чирочье озеро изливало прохладу во все стороны — отдавало ночной холодок берегам, небу, траве. Утки безбоязненно летали над озером и садились на темную воду. Куковали в березах меланхоличные кукушки, свистели и верещали птицы попроще, сатанински хохотал в кедрачах потревоженный многолюдством сыч.

Мягкое домотканое полотно кофты, вышитой васильками и ромашками, доверчиво льнуло к плечам Раи, под



широкую юбку поддувал ласковый ветер, гладил колени, и ей опять так хорошо было идти по теплой земле, что снова мерещилось: плывет, как в тот звездный длинный вечер. Рая шагала неторопливо, принаравливаясь к спутнице; ноги в белых брезентовых тапочках переставляла бережно.

Модные тапочки Рае дала тетя. Вынув их — совершенно новые — из большого сундука, протянула пляшке, округляя добрые глаза и посмеиваясь, сказала: «Я эту обушку не шибко уважаю, от ее нога сохнет, но ты поднадень, раз все носят...» Младший брат Андрюшка покрыл тапочки густо разведенным зубным порошком, дав им высохнуть, напомнил: «Ты в них поосторожнее, а то зазеленишь!» Рая надела тапочки охотно, хотя раньше в таких ходила только на стадион, а Мария Тихоновна еще раз оглядела племянницу и напутственно махнула рукой:

— Ну, с богом, Раюха!

Оказалось, что для ходьбы по травянистой верети тапочки были хороши: через тонкую резиновую подошву ласково прощупывалась каждая травиночка, каждый теплый бугорок, каждая ямочка; казалось, что идешь по земле босиком. Помня наказ Андрюшки, Рая выбирала местечки поглаже, поспокойнее, и от этого ощущение полета увеличивалось, сердце билось неслышно, ровно и тоже осторожно.

Рая и Гранька до Гундобинской верети добирались долго — и оттого, что не торопились, и оттого, что выбирали специальные тропки для своих тапочек, и оттого, что только приглядывались друг к другу. Сначала девушки обменялись мнениями о погоде, согласились, что день будет теплым, хорошим и безоблачным, потом обе заметили, что народ собирается на гулянье дружно, что председатель Петр Артемьевич молодец — проявил такую щедрость! Разговаривая, девушки медленно сокращали расстояние между собой — сразу за воротами околицы они шли примерно в двух метрах друг от друга, после разговора о погоде разрыв сократили на полметра, обменявшись впечатлениями о щедрости Петра Артемьевича, пошли почти рядом — в полуметре одна от другой. Теперь Рая видела близко крепкое, здоровое и красивое лицо Граньки Оторви да брось, ощущала запах дешевой пудры и озона от недавно выстиранной кофты. Глаза у трактористки были выпуклые и блестящие, подбородок круглый, крепкий, и вся она такая здоровая, что

у Раи сами по себе расправлялись плечи и ноги становились сильными. До озера Чирочьего оставалось метров триста, когда Гранька совсем замедлила шаги, еще приблизившись к Рае, нахмурилась для порядка и спросила:

— Ты, говорят, на учебу ладишься? Кем желаешь быть: учительшей или агрономшей?

— Инженером хочу стать,— подумав, ответила Рая и тоже нахмурилась.— Отец всю жизнь мечтал, чтобы я была конструктором...

— Это ж надо!— удивилась Гранька, останавливаясь.

Гранька была коренной улымчанкой, происходила из потомственной чалдонской семьи Мурзиных, но оказалась единственной в деревне женщиной-трактористкой и часто ездила верхом на лошади к загадочному эмтэ-эсовскому начальству, а когда-то почти год жила в райцентре и вернулась оттуда совсем смелой и бойкой. В будние дни Гранька ходила по деревне в замасленном комбинезоне, в сапогах, при окулярах на кожаной фуражке, и через месяц после курсов на одном из собраний, когда Гранька со сцены заявила, что женщина в колхозе — большая сила, рыбак Иннокентий Мурзин, человек мудрый, спокойный и справедливый, сказал: «Ну, не девка, а прямо оторви да брось!» Слова Иннокентия Мурзина в тот же вечер облетели всю деревню, старики и старухи согласно кивали, и трактористку с тех пор прозвали Гранька Оторви да брось...

Сейчас, наедине с Раей, в Граньке ничего залихватского не было, в белой кофте и темной юбке она выглядела обычной деревенской девчонкой, и Рая смотрела на нее ласково.

— Здря ты в инженера идешь!— наконец сказала Гранька, осторожно обходя большую белую кочку.— Совсем здря, вот что я тебе скажу...

Рая удивленно смотрела себе под ноги; то, что казалось белой кочкой, пошевеливалось и трепетало, переливалось и шелестело: тысячи бабочек-капустниц, теснясь так, что нельзя было расправить крылья, облепили небольшой бугорок, и было жутковато оттого, как мелко копошилась непрочная, неразумная жизнь.

— Ско-о-о-лько их!— тоненько протянула Рая и тем же голосом спросила:— Куда же мне идти учиться?

— На учительшу!— ответила Гранька, тоже рассматривая кочку.— Лучшее этого дела нету!

Рая понимающе кивнула. Она уже знала, что за два

года до войны в Улыме парни и девчата об учительской работе мечтали как о деле, доступном только избранным. В те времена по всем деревням прошел фильм «Учитель», а сельские учителя-нарымчане вместе с северной надбавкой в те годы получали около четырехсот рублей — баснословно много в деревне, где деньги были в цене. В спальне улымской учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой стояла железная кровать с никелированными шишечками, ее братишка ездил по деревне на велосипеде, сама Жутикова носила шелковые чулки, а под шелковое платье, по слухам, надевала тоже шелковую рубашку. Была у Жутиковой и непонятная вещь — демисезонное пальто; летом в нем жарко, зимой — холодно, для чего эта одежина, неизвестно...

— Пошли, чего стоять! — задумчиво сказала Гранька. — Сколь ни стой, ничего не выстоишь.

Прибрежье Чирочьего озера потихонечку переполнялось шумом и смехом; слева бродили чинно девчата, справа сбивались в отдельные группки парни, столкнувшись головами в кружок, о чем-то тихонечко совещались; на четырех кострах уже бурлило и кипело, дымы взлетали в небо; единственный на деревне баянист Пашка Набоков, сидя на пне в соломенной шляпе, играл вальс «На сопках Маньчжурии». Возле него стояли несколько парней помоложе, благоговей, следили за Пашкиными пальцами. Среди всех — отдельный — похаживал председатель Петр Артемьевич, покрикивал, огорчался, наводил порядок.

Приблизившись к левой — девчоночьей — стороне, Рая и Гранька пошли совсем медленно, потом, переглянувшись, остановились: девчата исподтишка наблюдали за ними, парни перешептывались, а Раины братья угрожающе сдвинулись, хотя никакой опасности не было.

— Посидим! — предложила Гранька.

Они сели на невысокий теплый бугорок, аккуратно расправив юбки, начали спокойно молчать и улыбаться... Солнце стояло высоко, в голубизне дотлевал голос жаворонка, утки носились над водой с тревожным кряканьем; на одинокой березе, разбитой молнией, нахохлился каменный коршун с горбатой стариковской спиной.

Рая и Гранька сидели теперь совсем близко друг от друга, при желании Рая могла коснуться локтем крутого бедра трактористки и только сейчас заметила, что Гранька Оторви да брось глядит на нее непонятно и длинно, точно так, как, бывало, смотрели на нее старухи, когда



Рая шла улымской улицей. Потом Гранька легонько вздохнула, подперев подбородок растопыренными пальцами, сочувственно спросила:

— Ты чего така худюща? Ешь мало или еще что? Вот отчего ты тоща?

— Я вовсе не тоща, Граня!— мягко ответила Рая.— У меня сейчас, кажется, есть даже лишний вес...

— Это как так?

— Обыкновенно. В моем возрасте и при моем росте полагается весить меньше, чем вешу я.— Она тоже вздохнула.— Сейчас я очень много ем!

— Ну и что из этого?

— Из чего?

— Да вот из того, что много ешь?

— Боюсь, что попопнею...

Гранька приподнялась, похлопав длинными ресницами, недоверчиво округлила рот да так и замерла, пораженная:

— Это чего же делается!

Она и предположить не могла, что существует на свете девушка, боящаяся попопнеть, и у Граньки вдруг обидчиво вздрогнула нижняя губа, подбородок сморщился, а глаза сделались строгими.

— Ты мне мозгу-то не крути!— сказала она сердито.— Как это ты боишься попопнеть, когда на парнишонку схожая...— Гранька прищурилась.— А может, ты шуткуешь?

Недалеко от них гуляли девчата, шелкая кедровые орехи, шепчась, то и дело прыскали в загодя приставленные ко рту концы косынок. Они все, как на подбор, были коренастые и полные, округлые и тугие, будто теннисные мячи; девичьи груди едва помещались в широких, по-деревенски крепких лифчиках, плечи были прямы и размашисты, как у парней, руки висели тяжело, длинные и кулакастые. Эти девчата в результате естественного отбора рождались от таких же коренастых и широкоплечих матерей для того, чтобы жать хлеб, скоблить кедровые полы, вынимать из глубоких сусеков кули с мукой, носить в баню охапки березовых тяжелых дров, запрягая лошадь, затягивать тугой гуж, уперевшись ногой в хомут. Это были красивые, здоровые, скромные и веселые девчата довоенной поры. В нарымских колхозах таких девчат было тогда много. За два года до войны они действительно составляли здесь великую силу, так как замужние женщины в те времена до-

мовитыми нарымскими мужиками не допускались до тяжелой мужской работы.

Трактористка Гранька Мурзина по прозвищу Оторви да брось была такой же здоровой, веселой, доброй и простодушной девушкой, как ее односельчанки, поэтому она быстро подобрала нижнюю обиженную губу, решив окончательно, что Рая Колотовкина шутит, охотно и весело засмеялась:

— Ну-у-у, ты шутница, подружка! Ну, ты забавна... Это ведь надо же: боюсь пополнеть!.. Ну-у-у, ты меня насмешила!

Смеясь и подрагивая всем своим тугим телом, закрывая рот концом яркой косынки, Гранька хохотала так весело и простодушно, глаза у нее были такие чистые и добрые, что Рая тоже засмеялась и тоже стала закрывать рот концом косынки, которую ей велела надеть тетя Мария Тихоновна.

Когда же смех прошел, Гранька сразу сделалась серьезной, сорвав новую травинку, начала покусывать ее голубоватыми зубами; на Раю она смотрела теперь исподлобья, потом, запечалась, покивала собственным мыслям.

— В тебе, подружка, видать, жоркости нет,— сказала она бабьим, раздумчивым голосом.— Вот у нас такой же поросенок был. С виду длинненький, ногатенький, породный, а вот не жоркий... Ты ему пойло поставишь — он ополовинит. Ты ему картох с обратом намнешь — обратно ополовинит... Ты ему хлебушка с простоквашей — опять же ополовинит. Вот и бегал по деревне лихо, ровно охотничья собака, уши болтаются...

Гремя ведрами, подскакивая на кочках, к ним приближалась подвода с белобрысым мальчишкой в кучерах — это везли посуду, стаканы для кваса и сам квас. Телега уж было промчалась мимо Раи и Граньки, но мальчишка вдруг заметил их, туго натянув вожжи, закричал на лошадь басовитым голосом:

— Тпру, холера! Тпру, баламошна!

Остановив лошадь, белобрысый мальчишка снял с головы кепку без козырька, вежливо и степенно поклонился Рае, солидно сказав: «Бывайте здоровехоньки!», сердито закричал на Граньку:

— Сеструха, язви тя в корень. Ты ить кофту-то зазеленишь! Сама стирать-то не стирашь, так чего мать-то будет руки ломать?.. Походи, как весь народ, нога у тебя не отсохнет!

Парнишке было лет восемь, глаза и нос у него такие же, как у Граньки. И Рая опять сделалось хорошо, нежно и весело, как было утром во время завтрака; она заботливо посмотрела на братьев, которые уже не шептались, а с невинным видом похаживали вдоль берега, нашла глазами дядю Петра Артемьевича — стоя возле шалаша, он размахивал руками, потом тетю, которая помогала готовить баранину. «Я их люблю! — думала Рая о тете, дяде и двоюродных братьях. — Я их очень люблю!»

— Это мой младший братан, Гришка, — сказала Гранька о белокрысом парнишке. — Не братан, а холера... Уж такой хозяйственный да заботливый... — И поднялась с земли, чтобы не запачкать праздничную кофту, хранящуюся, наверное, в таком же сундуке, в каком хранила вещи тетя Мария Тихоновна.

А Рая все сидела на земле, вдруг притихшая и грустная... Ее отец, комбриг — начальник военного училища, — домой приезжал только через день, всеми делами заправляла домработница Даша. Маму Рая не помнила, так как мама погибла на колчаковском фронте через семь месяцев после рождения дочери. Отец второй раз жениться не хотел, он очень любил маму, саратовскую гимназистку, и не раз рассказывал дочери, что мама знала французский язык, латынь, хорошо стреляла из нагана, так как тренировалась вместе с боевиками-анархистами; потом стала большевичкой, встретила Раиного отца и полюбила его...

Группки девчат и парней, стесняясь, уже приближались потихоньку к брезенту; народу было много, а парней больше, чем девчат, и за два года до войны это считалось естественным; старые старики, сживая на лавочках, толковали, что войне быть обязательно, коли бабы рожают парней чаще, чем девчонок. «Вот, — говорили старые старики и старухи, — перед первой империалистической в деревнях тоже парней было больше супротив девчат, а чем это кончилось — известно. И теперь, при Советской власти, не к ночи будь сказано, из баб опять прут почти что одни мальчишонки: у Бориса Капы парней четверо, у председателя Петра Артемьевича — трое, а у Веденя Мурзина — так и вовсе семеро».

Белея вышитыми кофтами и рубашками, молодые чинно двигались к квадратному брезенту; на них щедро проливалось тепло солнце, носились над головами вконец



растревоженные утки, и даже горбатый коршун, слетев с разбитой березы, кружился высоко в небе. Рая Колотовкина шла вслед за Гранькой, вглядываясь осторожно в лица парней, чувствовала, как отчего-то беспокойно бьется сердце под теткиной кофточкой. Чаше, чем на других, она посматривала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова — рослого, стройного, широкогрудого, с бровями, сросшимися на переносице.

— Сбирайся, собирайся, народ! — покрикивала самая главная повариха, колотя уполовником в пустое ведро. — Садись, садись, молодой народ!

9

Позади уже была короткая и забавная речь председателя Петра Артемьевича, призвавшего молодых колхозников «четверить и пятирить успехи в самоотверженном труде», окончил речь дед Крылов, заговоривший неожиданно о том, что жатка — это тебе не лобогрейка, а лобогрейка — это тебе не жатка, так как «между ими така же разница, как между петухом и скворешней», уже самые удалые из парней и девчат съели мясо из алюминиевых чашек и подумывали о добавке, а за брезентом по-прежнему было тихо, как в дисциплинированном классе, — молодые колхозники речи слушали охотно, но сами молчали легко и весело, словно Петр Артемьевич и не призывал «поймать слово от самого молодого народу, какой и является самоотверженным тружеником». Никто из молодых колхозников руку не поднимал, говорить не собирался.

— Это что же делается, молодой народ! — наконец обиделся Петр Артемьевич и поглядел жалобно на глуховатого деда Крылова. — Какое же соопчение я дам в исполком, когда съедены две овцы, а голоса молодого народу, который овец поедат, не слыхать... Протокола-то ведь надо писать!

Звон ложек сразу сильно поубавился, движения рук замедлялись, а лица молодых колхозников медленно, словно подсолнухи к солнцу, повернулись в сторону трактористки Граньки Оторви до брось и младшего командира запаса Анатолия Трифонова; при этом все девчата повернулись к Анатолию, а парни — к Граньке. И наступила тишина.

— Давай бери слово, молодой народ! — обрадовал-

ся Петр Артемьевич.— Ежели нам два выступленья поиметь, от этого на обоих овец хватит...

От озера Чирочьего поддувал легкий свежий ветер, камыши поматывали коричневыми головками, утки снова начали садиться на тихую воду; опять сидел на разбитой березе коршун и задумчиво глядел вниз, теперь похожий не на старика, а на озабоченную старуху.

— Натольке надоть речу дожать!— решительно сказал старый старик дед Крылов.— Танка — это тебе не трактор, а трактор — это тебе не танка!

Анатолий Трифонов энергично поднялся с брезента, будучи, как и все, в белой рубашке, расправил ее под витым поясом, словно гимнастерку, прокашлявшись и порозовев скулами, осмотрел молодежь строгим взглядом. Он был заметно красив — широкий в плечах, тонкий в талии, светлоглазый, матоволицый, такой здоровый, что румянец лежал на щеках как бы отдельными пятнами.

— Товарищи! — воскликнул он и сделал паузу, наблюдательно огляделся, точно командир на поле боя.— Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем ударный труд на благо любимой матери-Родины, какую будем защищать до остатней капли крови, используя танки как на равнинной местности, так и на пересеченной... Кто, товарищи, трудится ударно?— спросил младший командир запаса и вынул из кармана бумажку.— Ударно трудятся товарищи, перечисляя по порядку, такие, как Николай Сопрыкин, Артемий Мурзин, Василий Мурзин, Семен Колотовкин, Антон Мурзин, Григорий Мурзин, Василий Колотовкин, Федор Колотовкин, Андрей Колотовкин, который находится при школьных каникулах, Зиновий Мурзин, Василий Петрович Мурзин...

И пошло такое длинное перечисление Колотовкиных, Мурзиных, Сопрыкиных, что голос оратора с каждой секундой увядал, а слушатели заскучали, так как Анатолию Трифонову предстояло перечислить всех присутствующих здесь молодых колхозников, исключая одного... За два года до войны в Улыме в колхозе имени Ленина почти не было плохо работающих парней и девчат: здесь все дружно и рано выходили на колхозное поле, трудились дотемна, работали весело, легко и охотно. Улымские парни и девчата унаследовали от отцов и прадедов хлебоборбскую жилку и на неласковой нарымской земле выращивали отменные урожаи.

— Отличные результаты в самоотверженном труде имеют также товарищи Петр Ямщиков, Геннадий Ямщиков и Амос Ямщиков! — наконец закончил огромный список Анатолий Трифонов и повеселел. — Отстающий, товарищи, в колхозе имеется в наличности один. Это, товарищи, присутствующий на данном собрании Леонид Мурзин, который пополняет ряды лентяев, в стенной газете продолжает ехать на черепахе, которая ель-чуть ползет. Ему, товарищи, позор!

После этого молодые колхозники повернулись туда, где не на брезенте, а в двух метрах от него на голой земле, поджав под себя ноги, сидел лохматый и рыжий Леонид Мурзин, спокойно и неторопливо ел баранину, хотя все остальные во время речей деликатно пережидали, держа ложки на весу. Когда Анатолий Трифонов предал позору лентяя, Леонид Мурзин поднял голову, держа в зубах большой кусок баранины, согласно кивнул и самодовольно улыбнулся; потом продолжал есть, чавкая и наслаждаясь.

— Леониду Мурзину, товарищи, позор и с другой стороны! — вскинув руку, продолжал младший командир запаса. — Ему с той стороны позор, что пьет, товарищи, водку...

За квадратным брезентом стало тихо и тревожно; все молодые колхозники по-прежнему глядели на Леонида Мурзина, а как только Анатолий Трифонов заговорил о водке, глаза у девчат сделались испуганными, парни укоризненно прищурились и поджали губы.

— На славный праздник Первомай Леонид Мурзин укупил в магазине бутылку водки, выпил почти всю, отчего качался, кричал и матерился, — вдруг обыкновенным голосом произнес Анатолий Трифонов. — Опосля же завалился в траву, где и находился до рассвету... За это ему, товарищи, всенародный позор!

Теперь лентяй и пьяница Леонид Мурзин сидел смирно — жевать баранину перестал, самодовольно не улыбался и вообще боялся поднять глаза. Уши и шея у него покраснели.

— Слово хочет поиметь товарищ Мурзина! — воодушевленно закричал Петр Артемьевич.

Гранька Оторви да брось уверенным и почему-то вдруг потончавшим голосом сказала примерно то же самое, что и младший командир; ей дружно поаплодировали и поулыбались, а когда Петр Артемьевич объявил прения закрытыми, снова деловито принялись за баранину



с картошкой, квас и пшеничный духмяный хлеб. Сияло солнце над головой, смеялся чему-то в березовом колке разбуженный сыч, в несколько голосов куковали кукушки; телу было тепло от солнца, лицу прохладно от ветра с озера Чирочьего, и действительно было так хорошо, что думалось о счастье. Младший командир запаса Анатолий Трифонов все чаще и чаще поглядывал в сторону Раи, отводя глаза, когда она нечаянно перехватывала его взгляд, нахальноватый Виталька Сопрыкин смотрел на Раю неотрывно по две-три минуты подряд, и лицо у него при этом было таким, точно разгадывал загадку.

Рано позавтракавшая Рая ела охотно, баранина с картошкой была необыкновенно вкусной, когда же миска опустела, она ласково посмотрела на Граньку, которая сразу деловито спросила:

— Тебе тоже добавки? Теть Дусь, две чашки!

И перед Раей мгновенно появилась опять полная чашка картошки с мясом. Рая помедлила, затем решительно вздохнула и принялась есть, подумав как бы случайно: «Надо же набирать мяса!» Эта мысль была такой смешной и неожиданной, что она начала прыскать в чашку.

— Ешь, ешь! — заботливо сказала Гранька. — Не отставай...

Еще через полчаса медленной, обстоятельной и сосредоточенной еды молодые колхозники задвигались, повеселели: ложки стучали разнобойно и лениво, раздавался смех и сытые вздохи — все были довольны, веселы и благодушны. Вот вспорхнули с брезента две стайки девчат, начали перешептываться братья Колотовкины и враждующие с ними сыновья Бориса Капы. Баянист Пашка Набоков неспешно опробовал басы, а самые бойкие из молодых улымчан выбирали уже на берегу озера место поглаже — для танцев.

— Пошагали и мы! — сказала Гранька, поднимаясь с брезента, и опять заботливо оглядела Раю. — Ты вот сживать-то не умешь на брезенте: всю юбку помяла. Ее бы надо вкруг ног обстелить. Дай-ка я юбку-то оглажу.

С добрым и встревоженным лицом Гранька разобрала складки темной Раиной юбки, пропустила сквозь пальцы измятые, потом, прищурившись, выровняла юбку на тонкой талии своей новой подружки, отойдя два шага назад, удовлетворенно покачала головой. После

этого с тем же деловитым и добрым лицом Гранька крепко взяла Раю под ручку, прижавшись к ней тесно, повела вслед за девушками на утоптаный пятачок земли, и Рая на ходу уже заметила, что все девушки теперь ходили тоже парами, тесно прижимаясь друг к другу, а парни, наоборот, собрались в одну большую группу, причем каждый подбоченился, отставил вперед прямую ногу, голову задрал, глаза — в чистое небо. Все это, наверное, объяснялось тем, что парней было значительно больше, чем девочек.

— На первый танец выходить не будем! — шепнула Гранька Оторви да брось. — На парней не гляди, ровно их и нету. А то подумают, что зовешь.

У Граньки было жаркое, каменное плечо, пахло от нее молоком, здоровьем и одеколоном «Ландыш»; щека, обращенная к Рае, была покрыта тонким, персиковым пушком и от этого казалась детской; волосы у Граньки Оторви да брось были такими густыми, что прядь, упавшая нечаянно на плечо Раи, казалась литой. Рая тоже прижималась к Граньке плечом, тоже говорила шепотом:

— Почему не будем танцевать первый танец, а, Граня?

— Порядок такой.

Взяв еще несколько басовитых аккордов, баянист Пашка Набоков — тонкий, худой, маленький — кособоко проследовал от брезента к пятачку утоптанной земли, раздумчиво постояв, показал свободной рукой в землю; на это место услужливые руки немедленно поставили специальную табуретку, привезенную на последней подводе. Услужливые руки принадлежали Пашкиной любви — толстенькой и всегда веселой, как воробей, доярке Верке Мурзиной. В тот миг, когда Верка подставляла Пашке табуретку, взгляд у нее был набожно опущен, рот округлился, дышать она не решалась, так как ни учителя, ни трактористы не могли даже мечтать о такой славе, какой пользовались за два года до войны в нарымских деревнях гармонисты. А Пашка Набоков был баянистом, и Рая часто видела, как за ним молча, страдательно ходили по деревне мальчишки и девчонки, как при его появлении приподнимали тощие зады со скамеек самые древние старики, как туманно смотрели на Пашку Набокова все улымские девушки, а парни даже не завидовали ему, как не могли, скажем, завидовать летчикам из фильма «Истребители» — те жили, конечно,

на небе, а на землю спускались только для того, чтобы играть на пианино да жениться на красавицах.

Удобно расположившись на табуретке, Пашка Набоков поставил баян на колени и, строго посмотрев на озеро Чирочье, вдруг рванул мехи баяна с такой силой, что Рая зажмурилась, ожидая чего-то оглушительного, но баян неожиданно тихо и нежно заиграл модное в то время танго «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...». Гранька Оторви да брось сразу же пригорюнилась, опустив голову, теснее прежнего прижалась к своей новой подружке, как бы приглашая ее переживать вместе. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви...» — выговаривал Пашкин баян и звучал хорошо, так как баянист был парнем талантливым — со слухом и вкусом; он сделался бы настоящим музыкантом, если бы знал, что на белом свете существуют ноты. «Утомленное солнце» он только один раз услышал в райцентре, но играл почти без ошибок, страстно и очень печально.

Пашка Набоков играл, парни и девчата сосредоточенно слушали его, но не танцевали: считалось нескромным с первого танца выходить на круг, а когда танго благополучно кончилось, Пашка что-то небрежным шепотом сказал стоящей за его спиной Верке Мурзиной, та в ответ радостно кивнула, и Пашка заиграл знаменитый за два года до войны в нарымских деревнях фокстрот «На рыбалке, у реки, тянут сети рыбаки...». Второй танец полагалось танцевать, и дело теперь было за тем, кто решится выйти на круг первым. Поэтому лица парней и девчат, как во время застольных речей, снова обратились к Граньке Оторви да брось и командиру запаса Анатолию Трифонову: они обычно открывали танцы.

Наступила тишина, в которой Пашкин баян звучал облегченно и чисто; старый коршун на березе беспокойно возился, теряя равновесие, помогал себе крыльями, а Гранька Оторви да брось дышала тяжело, и нижняя губа у нее тряслась. Наконец она решилась, хотя щеки побледнели.

— Пошли! — отчаянно шепнула Гранька и, грубо схватив Раю за локоть, потащила на круг, хотя Рая не сопротивлялась. — Пошли, пошли!..

У Граньки сейчас был такой вид, точно она бросалась в холодную воду с крутого яра, рука, обнимающая Раю, вздрагивала, губы она стиснула судорожно —



так ей было трудно поддерживать репутацию отчаянной девчонки по прозвищу Оторви да брось. От страха она зажмурилась и поэтому не заметила, как девчата, глядя на нее, тонко, насмешливо и незаметно улыбались, а парни сделали вид, что ничего не замечают.

— Не бойсь, не бойсь!— шептала Гранька своей новой подружке.— Я тебя поведу, ты легкая...

Выдержав паузу, чтобы включиться в музыку, Гранька вдруг работяще ощерила зубы и быстро-быстро побежала по утрамбованной земле, высоко над головой держа руку Раи; затем резко, словно налетела на препятствие, остановилась и начала вращать Раю так быстро, что подружка как бы вспархивала в ее могучих руках.

Танцевала Гранька с таким сосредоточенным, суровым и деловитым лицом, с каким, наверное, заводила свой трактор, косила траву или копала картошку, но Рае от этого стыдно не стало, а, наоборот, она пожалела подружку.

— Ты не торопись!— шепнула Рая.— Ты хорошо танцуешь.

Скоро на круг вышли почти все девчата, танцевали они почему-то только друг с другом, а парни стояли в прежних позах, то есть подбоченившись и глядя в небо. Когда же фокстрот «На рыбалке, у реки» кончился, Рая по лицу своей новой подружки поняла, что наступил решительный момент: в следующем танце должны были выйти на круг парни.

Конечно, за два года до войны в Улыме парней было больше, чем девчат, казалось бы, выбирай, какого хочешь, но такое великое изобретение, как дамский вальс, когда девушки приглашают партнеров, еще не было сделано; нарымские девчата еще славилась скромностью и послушанием, и родственники Раи Колотовкиной уже начали переживать за племяншку и сестру. Дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна, волнуясь, сидели на телеге, братья Раи исподтишка, но грозно по-смастривали на парней.

И вот началось! Пашка Набоков, посоветовавшись с Веркой Мурзиной, заиграл вальс «Дунайские волны», наступила стеснительная пауза, а потом все снова дружно повернулись к младшему командиру запаса Анатолию Трифонову. Он стоял спокойно, выдержанно, а как только молодые колхозники повернулись к нему, одернул, словно гимнастерку, рубаху и твердым шагом, гля-

дя перед собой, пошел через пятачок утоптанной земли к Вальке Капе, которая уже, торопясь и нервничая, делала такое лицо, будто не видит приближающегося Анатолия, а, наоборот, увлечена своей некрасивой подружкой. При этом красавица Валька Капа, пригибаясь к подружке, старалась выставить крутое бедро, а зубами покусывала губы, чтобы раскраснелись и напухли.

— Разрешите пригласить на танец! — громче, чем требовалось, сказал Анатолий и поклонился. — Просим прощения у вашей подружки.

Валька лениво, как бы просыпаясь, оторвалась от подружки, рассеянно посмотрев на Анатолия, пожалала круглыми плечами.

— Пжалуста! — процедила она. — С нашим удовольствием!

Словно делая одолжение, Валька положила белую руку на плечо Анатолия, и они с места начали быстро кружиться. Анатолий обеими руками держал Вальку за талию, и ее широкая складчатая юбка раздулась, обнажив далеко голые ноги, покрытые ровным загаром. У Вальки Капы было все, что позволяло по улымским понятиям считаться красивой: высокий рост, широкие плечи, большая грудь, одинаково полные от колена до щиколотки ноги и могучие бедра; лицо у нее белое, на щеках два розовых пятна, брови соболиные, зубы крепкие, а рот был такой маленький, что походил на бантик.

Когда Анатолий и Валька закружились и у девушки наконец-то мелькнула на лице сладостная победительная улыбка, Гранька Оторви да брось передернула плечами, ненавистно стиснув зубы, отвернулась от танцующих, и Рая сразу все поняла. «Вот оно что!» — подумала Рая и тоже отвернулась, хотя была секунда, когда ей показалось, что младший командир запаса хочет пригласить ее — это было в тот миг, когда он обдергивал вышитую рубашку.

Потом в толпе парней опять послышался шум движения — это пошел приглашать партнершу Виталька Сопрыкин, который, оказывается, двигался прямехонько к Феньке Мурзиной, стоящей рядом с Раем и Гранькой, и на вид скромная Фенька Мурзина повела себя точно так же, как Валька Капа — кокетничала и не замечала Витальку.

— Разрешите вас пригласить! — вежливо сказал он.

— Ах, поимейте удовольствие! — сухо ответила Фенька.

И как раз в тот момент на правом краю утрамбованной площадки раздались громкий смех и восклицания. Парни охотно разорвали плотную шеренгу, и вперед вышел преданный всенародно позору в речи Анатолия Трифонова лодырь и пьяница Ленька Мурзин — лохматый рыжий увалень с удивленно растарашенными глазами. Косолапый и потешный, он деловито осмотрелся, не обращая ни на кого внимания, словно был на площадке один, начал вразвалочку пересекать круг. Глаза у него были тоже рыжие, брюшко выпуклое, а руки длиннющие, как у обезьяны.

— К нам идет! — вдруг испуганно шепнула Гранька. — Ой, отвернись, отвернись, Раюха!

Ленька Мурзин действительно смотрел только на Раю, шел только к ней и был таким потешным, лохматым, растарашенным и симпатичным, что Рая заулыбалась и невольно для себя сделала короткий шаг навстречу Леньке, отпустив для этого руку Граньки. Однако в ту же секунду подружка потянула Раю назад, испуганно шепча:

— Откажись! Откажись!

Заклейменный лентяй и пьяница, как и все парни, был одет в вышитую рубашку-косоворотку, сапоги блестя и поскрипывали. Вблизи его лицо казалось еще более потешным, даже привлекательным — широкое, безмятежно-ленивое, доброе до последней складочки.

— Бывай здорова, Раюха! — еще на ходу ласково проговорил бархатным голосом Ленька Мурзин и улыбнулся хорошо. — Разрешите вас пригласить?

Снова засмеявшись, Рая высвободилась из горячих Гранькиных рук, чувствуя, как хорошо и весело живет людям на берегу Чирочьего озера, как дует ей в лицо счастливый молодой ветер и как добр рыжий увалень, открытым движением протянула к Леньке руки:

— Пожалуйста!

Но с Ленькой Мурзиным вдруг что-то произошло: он перестал улыбаться и ласково светиться, попятился от Раи и болезненно сморщился. Потом Рая перестала видеть Леньку: между ней и лохматым парнем появилось трое Раиных братьев; разделив их, начали молча глядеть на Леньку Мурзина, хмуря сросшиеся брови и напружинивая квадратные губы; глаза у них были холодные, жесткие, и только младший брат, Андрюшка, легкомысленно улыбался, но от этого казался совсем страшным. А Ленька Мурзин продолжал пятиться и де-



лал это до тех пор, пока старший брат Василий на положил ему на плечо тяжелую руку.

— Ты чего же, Ленька,— угрюмо спросил он,— ты чего же, зараза, нашу сеструху позоришь?

— А чего я? Чего? — быстро и боязливо заговорил Ленька.— Чего вы на меня так поглядаете, когда я по хорошему? В чем я виноватый, ежели со мной другие девки танцевать не соглашаются...

Он запнулся и замолк, тяжело дыша... С кряканьем поднимались с озера шустрые утки, два жаворонка тянули торжествующую трель в голубизне пустынного неба; уже струилось от земли кружевное марево, а кукушки все считали и считали длинные года для всех, кто был на берегу.

— Я не виноватый! — отчаянно крикнул Ленька Мурзин.— Я вашей сеструхе уважение хотел сделать, раз с ней никто танцевать не будет... Стерлядка — кто ее пригласит! А мне она нравится!

Братья Колотовкины по-прежнему грозно молчали, баянист Пашка Набоков вальс «Дунайские волны» играл как можно громче, дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна страдали за племяншку на телеге, подружка Гранька стояла ни жива ни мертва, и даже красавица Валька Капа не улыбалась торжествующе; все примолкло, кроме баяна, на Гундобинский верети. И Ленька Мурзин низко опустил голову, побледнев и осунувшись, сначала спиной, а потом боком-боком двинулся прочь от площадки.

— Леня! — жалобно крикнула Рая.— Подожди, Леня!

Ленька Мурзин, конечно, не остановился, и тогда братья Колотовкины — плечом к плечу, одинакового роста, тяжелые, как движущийся трактор,— медленной, но бесконечно терпеливой походкой двинулись вслед за ним. Это была такая походка, какой ходят пахари за плугом — идут да идут до тех пор, пока вся земля не покроется гребешками жирной паханины. Братьям некуда было торопиться, Леньке Мурзину невозможно было уйти от них далеко, и трое Колотовкиных вышагивали тихохонько.

— Дядя! — тонко и страшно крикнула Рая.— Дядя, останови их!

Помедлив, тяжело вздохнув, дядя Петр Артемьевич поднял седую опозоренную голову, переглянувшись с тетей, не сразу отозвался на призыв племянки.

— Вернитесь! — наконец приказал он сыновьям.

Улымские крестьяне за два года до войны считали последним человеком того, кто плохо работал и пил водку, стеснялись его, как позорной болезни, сторонились, словно от прокаженного, и жизнь лентяя, выпившего к тому же на Первомай почти бутылку водки, была очень тяжелой.

— Вернитесь!

Братья остановились. За два года до войны в нарымских деревнях отцов слушались.

10

Так Рая Колотовкина начала жить странной — обособленной и замкнутой в самой себе — жизнью, хотя внешне все обстояло прекрасно. Улымские жители всегда охотно, весело и уважительно здоровались с ней, все говорили о председателевой племяннице только хорошее, ее любили за образованность, ум и вежливость, но вот на гульбищах-товарочках, которые в будни собирались вечером под старым осокорем, Рае было плохо.

На товарочку Рая приходила под ручку с подружкой Гранькой Оторви да брось; они скромно становились в стороне, вели себя просто, как другие девчата, но происходило обычное: ни Раю, ни Граньку парни не приглашали, и тогда они танцевали вдвоем, старательно делая вид, что им на все наплевать. Они задирали носы и гордо усмехались, однако глаза у них были печальные.

В пятницу Рая и Гранька на товарочку решили не идти, а, посоветовавшись печальным шепотом, отправились гулять по длинной улымской улице. Двигались они, как в день знакомства, в двух метрах друг от друга, глядя в землю, не разговаривали.

В этот вечер над Улымом полетывали гривастые темные облака, луна то пряталась за них, то вновь являлась потемневшей земле. Ветра, однако, не было, стояла такая тревожная и влажная духота, что кожа на лице горела, и, видимо, поэтому на скамейках было мало стариков и старух, ребятишки давно уgomонились, и в деревне стало пусто, одиноко, нежило. Когда выныривала луна, дорога блестела, делалась похожей на реку, а река, наоборот, казалась похожей на корявую, раскисшую дорогу. Тревожно и длинно лаяли собаки; лай

был визгливым, испуганным, а рыбацкий костер за Кетью лишь чадил, подмигивал.

Рая согбенно шагала по левой стороне дороги, Гранька — по правой; они по-прежнему глядели себе под ноги и видели одно и то же — как медленно менялись местами модные белые тапочки, смазанные зубным порошком. Каждая думала о своем...

Рая, например, удивлялась тому, что целых три дня не притрагивалась к учебникам: ей не хотелось брать в руки тяжелые и толстые книги, открывать серые страницы; потом она думала о том, что не понимает саму себя — ей и хотелось и не хотелось танцевать; ей нравился Анатолий Трифонов, но она могла представить себя гуляющей и с Виталькой Сопрыкиным; еще минут пять спустя Рая укоряла себя за то, что думает только о танцах, прогулках и кавалерах. «Какая-то я суетная, беспокойная!» — думала Рая и действительно чувствовала суетность, беспокойство.

Гранька Оторви да брось тоже думала о разной разности. И, между прочим, о том, что Анатолий Трифонов — глупый человек, если не понимает, кто такая Валька Капа. Работает она, конечно, споро, только к работе относится как-то без души, и коровы у нее не такие веселые, как у других доярок. «Коровы, они все чувствовать могут! — думала Гранька. И усмехалась: — Коровы знают, какой ты человек, Валька Капа... Их вокруг пальца не обведешь!»

Шли девушки бесцельно, куда глаза глядят, торопиться не торопились, разговаривать не разговаривали, жили друг от друга отдельно и сами не заметили, как забрели за околицу. Здесь росло несколько огромных кедров, под ногами пошумлиwała трава, а меж деревьями белела сосновая лавочка, неизвестно когда и кем врытая в песчаную землю. На лавочку присаживались усталые путники, чтобы войти в Улым на отдохнувших ногах; на ней любили сидеть сами улымчане, когда хотели секретно пошептаться — до деревни с полкилометра, кедров приглушают голос, до реки — рукой подать.

— Посидим Раюха!

— Посидим!

Душно пахло кедровой смолой и земляной прелью, облака сбивались в рыхлые тучи, помаргивали на Кети два бакена — желто-красный и зеленый; была настоящая нарымская ночь — глуховатая, тревожная от таежной тишины. Донькала в ельнике одинокая ночная



птица, река поблескивала затаенно, масляно, словно не вода текла под яром, а тяжелый мазут; над деревней в разрыве облаков таращилась большая звезда, такая же усатая и красная, как бакен. Трава по-степному шелестела, хотя ветра не чувствовалось.

— Ни седни, ни завтра дождя не будет! — задумчиво сказала Гранька Оторви да брось, поглядывая на небо и прислушиваясь к плеску речной волны. — Дождж, смекаю, послезавтра припустит... Мелок будет, как туман... Ничего хуже этого нет!

Проговорив все это, Гранька подняла голову, усмехнувшись, поглядела на усатую красную звезду. Профиль у трактористки действительно был энергичный, движения она делала порывистые, в развороте плеч читалась лихость. Секунду она сидела неподвижно, потом по-мужичьи смачно плюнула себе под ноги, растерев тапочкой плевков, вдруг подмигнула Рае, обняла жаркой рукой за шею.

— Не печалься, подружка! — весело сказала Гранька. — Будет и на нашей улке праздник! Седни наши дела, конечно, как сажа бела, но придет и нашенска пора... Не горюй!

И они крепко, по-деревенски, по-бабьи обнялись, начали покачиваться из стороны в сторону, словно баюкали друг друга; голова Раи лежала на плече Граньки. Трактористка обнимала Раю за плечи, Рая обнимала Граньку за талию, и обоим уже казалось, что все хорошо в этом мире, где на околице деревни есть старая скамья, где живут могучие кедры, течет темная Кеть; ничего плохого не могло происходить там, где дождь должен был пойти только через два дня, где в глухую и тревожную ночь донькала маленькая пичуга, ничего не боясь, ничего не признавая, кроме того, что жизнь продолжается, что скоро выведутся желтые пухлые птенцы, которые тоже будут донькать глухой ночью. Все должно было образоваться, все хорошо было в этом мире, где девушки сидели обнявшись, где люди понимали друг друга и жалели и еще два года оставалось до большой и самой страшной войны на родной земле.

— Меня мой характер сничтожил, — тихо и добродушно сказала Гранька. — Я с малолетства была бойка да языкаста, все с парнишонками игрывала да на рыбаловку бегала... Вот и выросла така, что меня на тракторны курсы выделили... — Она заглянула Рае в глаза, усмехнулась. — С курсов-то все и началось. Ба-

бы в деревне стали говорить, что Гранька-то ни мужик, ни баба, а так себе — оторви да брось...

Гранька опять усмехнулась, повела плечом.

— А чего им так не говорить, ежели я при мужичьих штанах хожу, с мужиками возжаюсь, по-мужичьи матерюся... Мне без этого, подружка, не обойтись, а бабы напраслину прут: «Гранька при одном мужике жить не пожелает!..» Вот и горю я белым пламенем, подруженька ты моя сердечная, лапонька ты моя горькая!

Тишина сгущалась, струилась маревом, замолкла отчего-то ночная пичуга, и сделалось слышным, как под молодыми осокориями тревожно-сладко вздыхает баян Пашки Набокова; приглушенная расстоянием музыка была печальна и недосыгаема, сердце от нее заходило тоской, и думалось о том, что младший командир запаса танцует с Валькой Капой, а Виталька Сопрыкин сверху вниз томно глядит на Феньку Мурзину, а она, танцуя, как бы нечаянно прижимается к нему.

— А ты за свою худость страдаешь, подружка! — ласково и нежно сказала Гранька. — Красивей тебя с лица я девки не знаю, но вот надоть тебе мясов набрать...

Они по-прежнему качались из стороны в сторону, сидели, тесно обнявшись, были нежны друг к другу, и Рая засмеялась, посмотрев в ярко освещенное луной лицо подружки.

В разрыве косматых облаков, оказывается, сияла красным светом та самая звезда, которая ранним утром была видна с сеновала. Сейчас эта Раина знакомая была крупной и зловеще-красной, но все равно красива и одинока в своей обособленности; звезда висела прямо над головой Раи, и хотелось думать, что утром она опять заглянет на сеновал уже зеленым глазом, колыхаясь, кольнет в самое сердце утренней свежестью, здоровьем, погожим днем, который нескончаем. Неизвестно отчего Рая сладостно вздохнула, еще теснее прижавшись плечом к жаркой подружке, прошептала:

— Тебе нравится Анатолий? Не скрывай, нравится!

— Я его, поди, люблю! — просто ответила Гранька и потерлась щекой о Раино плечо. — У него ко мне тоже интерес, но он своего отца Амоса Лукьяныча пуще огня опасается... Амос-то Лукьяныч такой умный да рассудительный, такой добрый да работающий на семью, что Натолька-то его шибко уважают и слушатся... А как не слушаться такого отца? Каждый бы слушался... Ну а

Амос-то Лукьяныч не хочет, чтобы Натолька со мной гулял...

В ее голосе не чувствовалось ни раздражения, ни печали; Гранька говорила о себе самой как о посторонней, и в этом было столько мудрого всепрощения и крестьянской терпеливости, что Рая замерла, притаилась. В теплом и густом воздухе усыпляюще жужжали комары, кусались больно, но Рая привыкла к комарам точно так, как к белым тапочкам, раннему вставанию, обильным завтракам; ей было жалко подружку, казался злым самодуром отец Анатолия Трифонова, а сам младший командир запаса представлялся глупым человеком, если мог из-за дурацких сплетен не любить такую девушку, как Гранька.

— Не нравится мне Валька Капа! — с кривой усмешкой сказала Рая. — Она, по-моему, хитрющая да ловкая... Как она тогда кокетничала, когда Анатолий пригласил ее на вальс «Дунайские волны»! Подумаешь, цаца! И голос у нее противный...

— Одна беда — красивая! — со вздохом откликнулась Гранька. — И нога под ней полная, и в теле она, и при белом лице... Вот у меня никак не хватает терпенья морду-то от солнца побережь! А Валька, хоть ты лопни, на улку без платка не выйдет... Ты вот тоже дурака, Раюха! Зачем лицо от солнца не поостерегешь?

— Я загар люблю, Граня.

— А чего в нем хорошего! То ли дело, когда лицо белое, на щеке — румяничек, да еще печной сажей вроде мушку посадишь... Как у Вальки! Это она заслонку из русской печки вынет, палочкой сажу соберет — и вот тебе мушка! — Гранька вздохнула. — А рубахи у Вальки кружевные... Она сама кружева вяжет, а у меня на это дело терпежу не хватат...

— Но ведь она противная, эта Валька Капа! — сердито сказала Рая, вспомнив, как во время танца из-под юбки Вальки проглядывал кружевной подол рубахи. — Грубая и нос задирает!

— А как ты нос не задерешь, если с тобой Натоллий Трифоновский гулят?... — ответила Гранька и ойкнула: — Ой, ты даже и не знаешь, Раюха, какой он культурный!

Гранька Оторви да брось сняла руки с плеч Раи, широко открыв глаза, посмотрела на нее как бы испуганно.

— Ой, какой он культурный — это страсть! —



взволнованно повторила она.— Вот как с тобой потанцует, так сразу говорит: «Спасибо!», за ручку берет и на то место отводит, где взял... И вот еще что бывает...— Тут Гранька приблизила губы к самому уху Раи, пронзенная удивлением, жарко зашептала:— Вот что еще бывает — это ты не поверишь, Раюха! Он до того культурный, что целоваться разрешенья просит.

— Неужели?

— Ей-бо! Папироску, это, бросит, помолчит и спрашивает: «Дозвольте вас поцеловать?»

— А ты что?

— Нельзя, говорю, если вы с Валькой Капой гуляете! А он говорит: «Простите, если что не так. Большое вам досвиданьица!»

— Так и не поцеловались?

— Не!

— Ну и правильно! — решительно сказала Рая.— Уж пусть он решает — или ты, или Валька... Ишь какой хитренький! Хочет двух целовать...

— Он не хитренький, он запутался,— после паузы ответила Гранька.— Ведь ему Амос Лукьяныч и с Валькой гулять не разрешат.

— Почему?

— Кулачка! Как же Амос Лукьяныч разрешит ему на Вальке жениться, если сам партизан?.. Вот как все получатся, Раюха! А тебе-то кто нравится? Слыхать было, что Виталька Сопрыкинский к тебе интерес поимел...

А луна между тем висела высоко, очищенная на несколько минут от туч, сияла ярко и упрямо, словно хотела наверстать упущенное, собаки лаяли дружно, повизгивал трусливый щенок, томно ржала недавно ожегившаяся кобылица. Весна, и голос ее был могуч. Тяжелая, темная вода в реке не двигалась, реку как бы навечно пересекал зубчатый отблеск луны.

— Спать надоть, подружка! — легко вздыхая, сказала Гранька.— Мне утресь на тракторишку: картохи начинаю окучивать... Айда спать, подружка моя славенька! Вон и у тебя глаза-то сами закрываются!

Не разнимая рук, они поднялись со скамейки, пошли по лунной улице вдоль всей деревни и темной Кети. И Рая опять была счастлива тем счастьем, которое дают человеку здоровье, молодость, дружба. Попрошавшись с подружкой, она, спотыкаясь, подошла к своей калитке, увидев в темноте Верного и Угадаю, укоризненно покачала головой.

— Спали бы, черти! — сказала она, зевая и не находя пальцами вертушку калитки. — Спали бы, а то все ходят да ходят, словно им делать нечего... Ну, чего всполошились-то?

Боясь разбудить тетю и дядю, Рая пошла по мягкой траве на цыпочках, старалась дышать тихо и сама на себя зашикала, когда под ногами заскрипели доски крыльца, но вдруг остановилась: кто-то сидел на верхней ступеньке.

— Дядя?

— Я, Раюх! — откликнулся Петр Артемьевич. — Ты чего так рано прибежавши? Ребят-то еще не слышать...

— Спать захотела.

Рая сонно плюхнулась на верхнюю ступеньку крыльца, посмотрела на дядю, увидела, что он не переодевался — был в сапогах и хлопчатобумажном пиджаке, в старенькой кепке с потрепанным козырьком. Рая заметила, как устал дядя, какое у него морщинистое и серое от пыли лицо, никлые плечи.

— Я с тобой, племяшка, хочу серьезный разговор поиметь! — торжественно сказал он. — Ты почто это три дня книгу в руки не берешь? Это как так? — Дядя строго покашлял и помахал под носом у племяшки согнутым пальцем. — Я такого дела не допущу, чтоб ты инженершей не стала! Миколай мне старший брат, я его изо всех сил уважаю, его воля — мне закон! Если братко хотел, чтобы ты была инженершей — значит, ты ей и будешь... Ну-к, отвечай, така-сяка, что с тобой деется?.. Да ты не улыбайся, не морщь нижнюю-то губу — я тебе за отца! Давай-ка отчет родному дядю...

## 11

Дождь пошел, как и предсказывала Гранька, на третий день, и действительно оказался мелким и нудным, похожим на осенний туман. Вечером окна клуба горько плакали дождевыми слезами, весь мир был холодным и неприятным, как нетопленая баня. Знаменитого баяниста Пашку Набокова увезли на свадьбу в Канерово, патефон сломался, на гармонии Виталька Сопрыкин играл только «Катюшу» да «Трех танкистов». Девчата попробовали под Виталькину гармошку спеть, раза три начинали про то, что «на границе тучи ходят хмуро», но ничего не получилось.

Часам к десяти в клубе скучало человек пятнадцать, не больше; возле одной стены сидели парни, напротив — девчата. Шелкали кедровые орехи, зевали в кулаки и друг другом не интересовались — идти все равно некуда, везде дождь и слякоть! По стариковским прогнозам, дождь собирался жить до субботы, прополку и окучивание картошки приостановили, трактора вязли в черноземе — плохо все, ох как плохо!

Рая Колотовкина и Гранька Оторви да брось посиживали за крохотной сценой, в маленьком закутке, называемом «гримировочной», — здесь шла репетиция пьесы Чехова «Предложение». Постановкой руководила учительница Капитолина Алексеевна Жутикова, одетая по случаю дождя в тяжелое шелковое платье, такое темное, что казалось серым; на спине учительницы чугунной цепью лежала толстая коса, во рту блестел золотой зуб, на необъятной груди зияла полувершковая брошка-каменя, и вообще Капитолина Алексеевна была роскошна, величественна и монументальна, как конная статуя. Досадливо поджимая губы, учительница расхаживала по крохотной комнате и говорила — учила Граньку драматическому искусству.

— Дорогая Граня, — важно и неторопливо выговаривала она. — Дорогая Граня, вы должны понять, как говорится, главное, основное, если можно так сказать, если допустить такое выражение... Ваша героиня, то есть та женщина, которую вы играте на сцене... — Она так и сказала «играте», так как родилась и выросла в Улыме, — ...та женщина, которую вы играте, думает только об одном: как бы выйти замуж! Вместе с этим, как говорится, эта женщина, которую вы играте, если можно так выразиться, имеет привычку всегда и со всеми спориться...

Вот так говорила учительница Капитолина Алексеевна, а сама искоса поглядывала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова, стоящего дисциплинированно в противоположном углу. Анатолий в пьесе играл жения, страстно хватался за сердце, когда спорил о Волковых лужках, ежесекундно галантно кланялся, закатывал глаза под лоб и шелкал каблуками яловых сапог, но весь чеховский текст произносил на командной армейской ноте, чем смешил Раю до слез, — она глядела в темное окно и закусывала нижнюю губу.

Учительнице Капитолине Алексеевне только-только стукнул двадцать один год, она недавно окончила двух-



годовой учительский институт в деревянном городе Пашеве, получив право преподавать русский язык и литературу в пятых — седьмых классах, и вернулась в родной Улым, чтобы сделаться несчастной. Беда была в том, что, имея неполновысшее образование, Капитолина Алексеевна уже не имела права выходить замуж за необразованного парня, а молодых людей с неполновысшим образованием в Улыме не было; возможными женихами для Капитолины Алексеевны являлись деревенские «аристократы» трактористы, из них самым привлекательным был младший командир запаса Анатолий Трифонов, наиболее образованный и понюхавший городской жизни. Поэтому через три дня после возвращения Анатолия из армии по деревне — с крыльца на крыльцо — передавались слова Капитолины Алексеевны, сказавшей под большим секретом своей подруге: «Анатолий Амосович — мой суженый! Ах, это мне судьба улыбнулась. Грушенька!» Подружка учительницы рассказала об этом своей матери, мать тут же — с крыльца — передала новость соседке Сопрыкиной, соседка Сопрыкина, бегавшая к Марии Капе за солью, шепнула про это Марии, которая через минуту рассказала о задумке учительницы тем Колотовкиным, у которых в прошлом году корова обжелась вехом, а уж эти Колотовкины принесли слова Капитолины Алексеевны Жутиковой в дом Амоса Лукьяныча Трифонова, который тем же вечером сказал сыну:

— Натолька, слышь, чего учительша-то говорит... Выйду, грит, замуж за Натолія Трифоновского, дом поставлю, двое железных кроватей куплю, чтобы спать по раздельности...

С тех пор прошло много месяцев, Анатолий все не женился, все ждал чего-то, хотя отец его торопил и очень сердился, что сын живет в холостяках, а Капитолина Алексеевна перепробовала все средства: читала младшему командиру запаса стихи, диктовала ему для укрепления грамотности диктанты и даже пыталась обучить письму будущего свекра. Однако из всего этого ничего не получилось, и на деревне говорили, что учительшу «подвела нога». Дело в том, что сама Капитолина Алексеевна была толста до чрезвычайности, а вот ноги имела тонкие, как спички, что в Улыме считалось очень некрасивым.

Постановка чеховского «Предложения» была задумана тоже неспроста. Все, что делала и говорила Капито-

лина Алексеевна, было обращено только к младшему командиру запаса и должно было показать, как умна, культурна и образованна учительница. И шелковое платье было надето для Анатолия, и красненькие сережки в ушах поблескивали для него, и грудь вздымалась не без причины, и тоненькие ноги блестели шелком для суженого. Но главное-то заключалось в том, что говорила Капитолина Алексеевна, переживая и томничая.

— Вы поймите, дорогая Граня,— округляя глаза, вздыхала она,— что та женщина, какую вы играте, есть женщина сильно плохая. Во-первых, характер у нее визгливый, неуживчивый, во-вторых, брак она понимает неправильно, в-третьих, некультурная!

После этого Капитолина Алексеевна построжала и обратилась непосредственно к младшему командиру запаса:

— Вот и Анатолий Амосович, как говорится, здесь присутствующий, может, если разрешается так выразиться, подтверждение сделать, что в браке женщина есть главное! Жена мужу должна быть верная, во всем послушная, но умная, рассуждающая, заботливая... Как вы смотрите на такой вопрос, Анатолий Амосович?

— Я с этим делом согласный! — подумав, ответил Анатолий.— Из той женщины, которую играт Граня, путной жены не получится... Тебе, Граня, надо больше визгу давать, шибче голосу да вертучести... Может, еще разок спробуем, Капитолина Алексеевна?

— Конечно, конечно, Анатолий Амосович! — шурша шелком, воскликнула Капитолина Алексеевна.— Мы до той поры будем репетировать, пока не получится гладко, чисто, культурно... Пожалуйста, дорогая Граня, повторим, любезная!

Пошумливал за окном комнатешки медленный дождь, оконные стекла из синих сделались черными, и Капитолина Алексеевна прибавила огонька в двадцатилинейной керосиновой лампе с выщербленным стеклом; когда сделалось светло, все увидели, как насмешливо улыбается во всю свою физиономию третий самодеятельный артист — беспутный лодырь и пьяница Ленька Мурзин, играющий в пьесе папашу визгливой невесты. Посиживая в уголке и бездельничая, Ленька плотоядно усмехался, довольный участием в пьесе, глядел на Анатолия и Граньку снисходительно и опять очень нравился Рае Колотовкиной, хотя и опозорил ее на Гундобинской ве-

рети. Славный был такой, косолапый, умноглазый и растарашенный.

— А мне реплик давать? — спросил он учительницу. — Я нужный?

— Нет, нет! Пока без вас, милый Леонид!

Обреченно вздохнув, Гранька Оторви да брось села на тяжелый табурет, поставленный посередине комнаты, Анатолий заученно нагнулся к ней и сделал большие глаза; учительница Капитолина Алексеевна, продолжая сидеть, смотрела на него искоса прищуренными глазами, как бы пробуя младшего командира запаса на вкус и цвет, как бы разбирая на части. Потом она вдруг шумно вскочила, сделав шаг к Анатолию, остановилась резко, затем медленно-медленно всплеснула толстыми руками.

— Не с той стороны, Анатолий Амосович! — испуганно воскликнула она. — И голова нужна в другую сторону...

Сладостно-медленно подойдя к Анатолию, улыбаясь важно, Капитолина Алексеевна осторожными, как бы хирургическими руками взяла младшего командира за талию, повернув его в противоположную сторону, теми же руками, бережно-нежными, потрогала его за твердые загорелые щеки, чтобы придать голове нужный ей, режиссеру, наклон. Грудь у Капитолины Алексеевны при этом высоко поднималась и опадала.

— Вот в таком положении мы и начнем! — отступая назад и любуясь делом рук своих, сказала Капитолина Алексеевна. — Дорогая Граня, постарайтесь первую реплику подать Анатолию Амосовичу безупречно правильно... Что вам там надо говорить... то есть говорить?

— Помилуйте, Иван Иванович, Воловьи лужки наши, — осторожно прошептала из угла Рая, переживающая за подругу. — Помилуйте, Иван Иванович... Говори, Гранюшка!

Еще несколько раз работяще вздохнув, Гранька кивнула режиссерше, что можно начинать, и начала глядеть на Анатолия злыми, нахальными глазами, кривить рот; потом, когда учительница хмыкнула, Гранька подбоченилась, выставила ногу и выпятила подбородок, отчего у нее образовался такой вид, точно хотела сказать: «Смотри, по мордам получишь!»

— На-а-а-чи-и-инаем!

Но ничего не началось: правда, Гранька вскочила с места, хотя, по мысли режиссера, этого делать не пола-



галось, правда, она угрожающе взмахнула правой сильной рукой и выставила подбородок, но вот слов-то не получилось — вместо того чтобы произнести запальчивую реплику, Раина подружка зашипела на Анатолия гусыней, а затем, надув щеки, не удержалась и захохотала.

— Воловьи лужки наши,— сказала она, смеясь.— Наши Воловьи-то лужки...

— Ах, Граня!

Капитолина Алексеевна огорченно всплеснула руками, разочарованная, удивленная непонятливостью и безталанностью артистки, вздохнула так тяжело, что под ней закрипел кедровый табурет на толстых ножках. Несколько секунд она трагически молчала, смотрела в щелястый пол, затем, прошуршав платьем, обратила свои печальные глаза на младшего командира запаса. «Ах, Анатолий Амосович,— сказал интимный взгляд Капитолины Алексеевны,— почему вы не видите, как необразованна, глупа и некультурна эта девушка?.. Ах, только мы с вами понимаем друг друга!»

— Моя дорогая, милая Граня! — продолжала она вслух.— Неужели вы не способны хоть одну реплику произнести правильно? Конечно, образование у вас семилетнее, с книгой вы работаете мало, из газет ничего не читаете, но ведь можно же, дорогая Граня...

Тут Капитолина Алексеевна осеклась, испуганно замигав, отстранилась от артистки, так как Гранька Оторви да брось вдруг выгнулась точно так, как ее учила Капитолина Алексеевна, прижала руки к груди — опять же таким жестом, как полагалось для роли, — и медленным движением освободила одну руку, чтобы сложить пальцы в большую фигу.

— А вот этого ты не видала, зануда? — злым шепотом вздорной чеховской барыньки спросила Гранька и бешено вознеслась над табуреткой.— Вот этого ты не едала со своей культурностью? Ах ты, мать твою... да какого ты хрена со своей культурностью носишься! Чего ты шелком шуршишь да серегами хвастаешься?.. Ах, ах! Она одна культурна, а все други некультурны.

Гранька Оторви да брось подбоченилась точно так, как учила ее Капитолина Алексеевна, сделала тонкими и вздорными губы, визгливым голосом, с придыханием закричала на весь пустой клуб:

— Сойди с моих глаз, зараза! Пушай мои глазыньки тебя не видють, пушай мое сердце от тебя не захо-

дится! Плевала я на твои постановки, начхала я на это дело, шкыдра ты шелковая. Ишь, брошкой поблескиват, ногой сверкат, буркалы вылупила. Да пропади ты пропадом!

Гранька очень смешно подпрыгнула на месте, крутнувшись волчком, плечом вышибла дверь и с такой силой захлопнула ее с той стороны, что стекла задребезжали, а двадцатилинейная лампа — можете себе представить! — моргнув, потухла. Учительница Капитолина Алексеевна исчезла в темноте вместе со своим черным шелковым платьем, в углу радостно хихикал лентяй и пьянчуга Ленька Мурзин, а Анатолий Трифонов укоризненно покачивал смутно белеющим лицом. Рая, беззвучно смеясь, пулей вылетела из гримировочной вдогонку за подружкой.

В зрительном зале — теперь совсем пустынном — Граньки не было, в сенках — тоже, на крыльце — хоть шаром покати, и на улице — пусто. Значит, подружка рассердилась на Капитолину Алексеевну так, что убежала домой, чтобы выплакаться в большую пуховую подушку, вышитую петухами. Это у Граньки такая привычка была — после криков и матерщины бежала плакать на мягкой материнской подушке.

Дождь падал на землю медленно, словно снежные хлопья, просвета в темных тучах не предвиделось, дорога раскисла до того, что под ногами прохожих грязь чавкала по-пороссячи; было тихо и безлюдно, и так как улымчане по случаю плохой погоды залегли рано спать, на всей длинной улице горело только три желтых, слезящихся огонька — в колхозной конторе, в председательском доме и у древней старухи Елены Мурзиной, которая сутками ткала на древнем станке цветные половики.

«Пойду-ка я спать!» — решила Рая, представив, как дождь будет шелестеть о крышу сеновала, как уютно будет лежать под пуховым одеялом, как славно замечается в зажмуренной темноте.

— Раиса Николаевна! — послышался за спиной вежливо-жалобный голос. — Дорогая Раиса Николаевна...

На крыльце, смутная и необъятная, стояла Капитолина Алексеевна, кутая плечи в шелковый платок. Она была, конечно, обижена грубостью трактористки Граньки Оторви да брось, но все-таки показывала в улыбке золотой зуб, так как втайне все-таки опасалась Граньку как возможную соперницу. Трактористка груба и

необразованна — это так, не читает газеты и не носит шелковые платья — это тоже так, но Рая замечала, что учительница сжималась, когда Анатолий в конце водевиля обнимал и целовал чеховскую героиню: ей, учительнице, доставляли страдания полные и ровные ноги Граньки, заметная талия и лицо с энергичным профилем.

— Раиса Николаевна, — проникновенно заговорила Капитолина Алексеевна. — Только вы, Раиса Николаевна, если можно так выразиться, имеете шанс спасти положение... Вы знаете роль, знакомы, как говорится, с писателем Чеховым... Ах, Раиса Николаевна!

— Призамените Ганю! — суровым голосом попросил Анатолий Трифонов. — По комсомольской линии к вам обращамся.

— Сыграни! — сказал басом бездельник Ленька Мурзин. — Давай мне реплик!

Они, оказывается, тоже вышли из клуба, стоя за спиной учительницы, печально горбились. Однако Рая неприязненно покосилась на Капитолину Алексеевну, обиженная за подружку, принципиально поджала губы. На самом деле, зря эта Капитолина Алексеевна выдрючивалась, строила из себя цацу — ах, ах, вот мы какие! Считает себя культурной, а говорит «играте», вставляет в речь дурацкое «если можно так выразиться», хвастает шелковым платьем, хотя оно тоже дурацкое, это платье — и рюши дурацкие, и каемка на подоле дурацкая! Все дурацкое! А еще призывно смотрит на Анатолия Трифонова...

— Сами играйте, граждане! — насмешливо сказала Рая. — Не будете хороших людей зря обижать!

Капитолина Алексеевна застонала.

— Раечка, голубушка! — человеческим голосом сказала она. — Я же райкому комсомола обещала...

— Жить надо на взаимовыручке, — опять строго произнес младший командир запаса. — По-красноармейски выразиться: «Окажите помощь!»

— Сыграни, Раюха! — жалобно попросил Ленька Мурзин. — Мне шибко интересно это дело — реплик давать.

Минут через пять, испытывая угрызения совести, Рая сдалась, а еще минут через двадцать сидела на табуретке бочком, закатывала глаза, помахивала рукой так, словно держала веер; глаза были такими злыми и вздорными, что самой становилось сердито. Анатолий Трифонов



нов, выставляя челюсть, покрикивал на партнершу командирским баском, а Ленька Мурзин — всепризнанный лентяй и пьянчуга — ходил по скрипучему полу барской походкой и плечи держал так, словно с них струился богатый атласный халат с шелковыми кистями.

— Ах-ах-ах! — восторгалась Капитолина Алексеевна, от волнения переходя на местный говор. — Ах, ах, все как следовало быть! Дорогой Леня, чего же вы не крутите пальцами то место на губе, где будто усы? Крутите! Крутите шибче!

Водевиль приближался к финалу: артисты уже благополучно отыграли сцену с Воловьими лужками, уже, подхватывая полы несуществующего халата, отец невесты возбужденно бегал по комнате, жених — слабый здоровьем — стонал угрожающим басом, одним словом, приближалась поцелуйная развязка. Дело это было серьезное, щекотливое, так как самодеятельные артисты обычно наотрез отказывались целоваться принародно, и поэтому Капитолина Алексеевна, повелев до отказа выкрутить фитиль двадцатилинейной лампы, глядела на жениха и невесту масляными глазами. Однако ничего не говорила пока — мыслила.

— Гм! Гм! — хмыкала режиссерша.

Рая Колотовкина любовалась Ленькой Мурзиным. Ей-богу, лентяй и пьяница, выпивший на Первомай почти бутылку водки, был талантливым человеком; Раиной спине становилось холодно, когда Ленька Мурзин начинал, как он говорил, «подавать реплик» — парень мгновенно старился и бледнел, глаза линяли, руки покрывались старческими морщинками, плечи мягчели, а голос делался надтреснутым. Главное же было в том, что чеховский текст Ленька Мурзин произносил не только на правильном русском языке, но и снабдил его округлым московским говорком — то ли у кого из приезжих слышал столичную речь, то ли на проходящем пароходе «Смелом» посидел несколько минут возле радиоприемника.

— Начинаем, как говорится, подходить к финалу, — прежним культурным голосом сказала Капитолина Алексеевна. — Вам, Раиса Николаевна, нужно пересесть вот на эту табуретовку, а вам, Анатолий Амосович, следует подойти к табуретовке левым бочком. Тебе Леонид, нужно быть посерединке... Отлично! Замечательно! Хорошо, как говорится!

Капитолина Алексеевна предовольно потеряла руки, восторженно посмеиваясь, отошла в самый темный дальний угол, склонив голову на плечо, посмотрела на артистов так, как любитель живописи разглядывает гениальное полотно,— щурилась и поджимала губы. Увиденным она, кажется, осталась довольна, так как вполголоса сказала:

— Ажур!

Режиссер-постановщик в этот миг была совсем не такой, какой ее видела Рая на прежних репетициях, когда невесту играла Гранька Оторви да брось; тогда Капитолина Алексеевна невесту и жениха ставила в некотором отдалении друг от друга, а целоваться их заставляла несерьезно, мельком, говоря: «Поцелуй должен быть, если можно так выразиться, слабым, как между ими серьезной любви нету...» Сегодня учительница по каким-то причинам финальную сцену решила играть в другом ключе: поставила Анатолия вплотную к сидящей Рае, помыслив, велела младшему командиру запаса положить руку на плечо девушки, в глаза ей глядеть пристально.

— Раиса Николаевна, Анатолий Амосович,— значительно произнесла Капитолина Алексеевна,— те люди, которых вы играте, в глубине души, если можно так выразиться, очень хотят пожениться. Особенно это можно сказать за невесту, которая есть перестарок... Значит, поцелуй должен быть настоящим, крепким, обоюдным... С другой стороны, невесте и жениху есть выгода войти в брак, чтобы жить одним хозяйством. Они, конечно, не очень богатые, не то что, к примеру, Троекуров, который в «Дубровском», но и не бедные... Так что поцелуй должен быть серьезным... Ну, будем давать продолжение!

Черная от загара рука Анатолия лежала на покатом плече Раи, стоял он, галантно изогнувшись, и заученно, то есть без всякого выражения, глядел в глаза Раи — ждал сигнала, чтобы поцеловать. Пахло от младшего командира запаса приятно: трактором, сухой травой и теплым дождем; сильная лампа хорошо освещала его резко очерченное, яркое от молодости и черных бровей лицо.

— Леонид Мурзин, подавай реплику.

Лентяй и пьянчуга шаркающей походкой приблизился к жениху и невесте, занавесив потешное лицо старческими складками, морщинами и брылями, посмотрел

лукавым взглядом купчишки, сбывающего залежалый товар; и по Раиной спине опять побежали мурашки, когда водевильный отец сказал:

— Она согласна! Ну? Поцелуйтесь и... черт с вами!

— Целуйтесь! — закричала Капитолина Алексеевна. — Целуйтесь!

Анатолий послушно потянулся к губам Раи, она невольно слегка отстранилась, но, перехватив сердитый взгляд учительницы, резко придвинула лицо к губам водевильного жениха, и они поцеловались крепко, но со стиснутыми губами.

Рая почувствовала, как вдруг рука Анатолия, лежащая на ее плече, вздрогнула.

— Браво! Браво! — зааплодировала Капитолина Алексеевна. — Теперь скорее давайте реплики... Анатолий Амосович, ваша очередь...

Однако у Анатолия был такой вид, словно младший командир запаса забыл реплику, а Рая, прищурившись, глядела на Капитолину Алексеевну холодно. Она вдруг поняла, отчего это учительница разрешила им поцеловаться по-настоящему.

Капитолина Алексеевна Жутикова, недавно окончившая учительский институт и получившая право преподавать в пятых-седьмых классах неполносредней школы, внутренне оставалась обыкновенной улымской девушкой и потому не допускала мысли о том, что Рая Колотовкина может быть соперницей. Тонкая, стройная и высокая горожанка была не женщиной в глазах Капитолины Алексеевны Жутиковой.

— Ваша реплика, Анатолий Амосович! — нетерпеливо воскликнула Капитолина Алексеевна. — Делайте, ровно в обмороке...

Анатолий снова не отозвался. Он стоял неподвижно, стиснув зубы, думал о чем-то далеком, чуждом происходящему; смелые синие глаза погрустнели, брови сошлись на переносице так трудно, словно Анатолий вспоминал важное, обязательное, но вспомнить не мог, и Рая, удивленная его молчанием, внезапно заметила, что Анатолий Трифонов похож на ее покойного отца. У младшего командира запаса были тоже синие глаза, квадратные губы, такой же выпуклый подбородок, как у всех Колотовкиных. Потом Рая перестала дышать, так как поняла, что они, Анатолий и Рая, тоже похожи, хоть и очень далекие родственники. И это было так интересно, захватывающе, словно она глядела в зеркало. «Он



близкий, свой! — летуче подумала она об Анатолии и выдохнула воздух. — Он мне родной!» После этого она почувствовала, как легко стало ее плечу, — это младший командир запаса осторожно снял руку, отступив на шаг, тоже испуганно округлил глаза: наверное, и он заметил, что Рая походит на него.

— Что случилось? — негромко спросила Капитолина Алексеевна. — Что с вами, Анатолий Амосович?

12

По-прежнему старательно просеивался сквозь невидимые тучи дождь, деревня, убаюкавшись, спала, утомленные непогодью собаки молчали, ни единого огонька не виделось на шелестящей улице — все было прежним. Стараясь шагать только по траве, чтобы сапоги не разъезжались на раскисшей дороге, Рая возвращалась домой из клуба. На плечах у нее шуршал тяжелый брезентовый плащ дяди, голова была простоволоса, чтобы волосы, как советовала тетя, от дождя сделались мягкими.

Шел двенадцатый час ночи, видимой в темном мире была только Кеть, над которой дождь туманно курчавился, свисали близкие выпуклости рваных туч и облаков, а на том месте, где всегда пылал рыбацкий костер, расплывалось матовое пятно, словно там пряталась луна.

Уверенно ориентируясь в темноте, Рая отыскала дом Граньки Оторви да брось, прошла бесшумно по большому двору, нащупав ногой нижнюю ступеньку, начала подниматься по лесенке, ведущей на сеновал; поднявшись, она просунула голову в темень провала, прислушалась: подружка спала, дыша легко и ровно. Пахло свежей травой, горькой овчиной, молодым, здоровым телом.

— Грань, а Грань!

Подружка проснулась сразу; слепо зашарила руками в темноте, хрипло и длинно зевнула:

— Ты, что ли, Раюха?

— Я! Поговорить бы надо...

— Ну так влезай... Может, и переночуешь?

— Да я на минуточку...

Рая влезла на шуршащее сено, нащупав теплый край одеяла, придвинулась поближе к подружке, торопясь и хихикая, стала рассказывать ей на ухо про все то, что произошло в клубе; говорила Рая шелестящим шепотом, дождь мерно стучал по тонкой крышке.

— Я перед тобой виноватая,— шептала Рая, от темноты и нежности к подружке переходя на местный говор.— Я шибко перед тобой виноватая, Грань, но они так меня просили, так уговаривали... Ты на меня не сердчай, ладно?..

Граня перевернулась на спину, невидимая, улыбнулась:

— Вот дурака-то... Да ты об этом и не думай... Ой, какой на тебе плащишко-то мокрый! Что? Посильнел дождина-то? Да ты ложись! Под одеялом-то теплынь...

— Не! Я побегу, Граня!

Они неторопливо договаривались о завтрашней встрече, поцеловались, и Рая начала спускаться с лесенки — успокоенная, добрая, разнежившаяся. «Лучше моей подружки ни у кого нет!— думала она.— Ох, какая славная у меня подружка!» Рае было опять хорошо.... Спать хотелось так радостно и сладко, как это бывало в детстве, глаза слипались, и мысли были ленивые, сонно-добродушные. Сначала она думала о том, что завтра будет много заниматься, разберется наконец-то с рядом бесконечно малых величин, потом само собой стало думать о следующей репетиции — ах, как получилось смешно, как потешно! Этот забавный, косолапый Ленка Мурзин, эта Капитолина Алексеевна, похожая на индюка, этот Анатолий, смешной оттого, что играет старательно, а когда целуется, то опасливо сжимает губы...

Подходя к родному дому, Рая твердо решила выпить сегодня все молоко, которое оставила тетя, съесть все сало — сонная-то она была сонная, но, оказывается, здорово проголодалась. Да, да, она все выпьет и съест, потом заберется на сеновал, ляжет на спину; зашуршит сено, запахнет васильками, от одеяла будет пахнуть ситцем. А утром, если не будет дождя, она пойдет на Гундобинскую вереть, на берег Чирочьего озера, станет заниматься математикой...

— Раиса Николаевна!

От неожиданности Рая поскользнулась, чуть не упала, но за плечо подхватила сильная рука, и она близко увидела мерцающее лицо Анатолия Трифонова, который, оказывается, стоял возле калитки. Плаща на младшем командире не было, рубаха промокла до ниточки, волосы прилипли к голове. Подхватив девушку, Анатолий помог ей выпрямиться, проговорив заботливо:

— Чуть было не упали!

— Спасибо!

Тогда Анатолий еще на шаг отступил, выпрямившись и сделав руки по швам, сказал строгим военным голосом:

— Я вас по всей деревне искал, Раиса Николавна, чтобы сопроводить домой. Во-первых сказать, дождь, во-вторых прибавить, такая грязюка, что и упасть недолго...

Рая приглушенно засмеялась. Уж очень все это было неожиданным — встреча на скользкой дороге, сильные руки Анатолия, его командирский голос, по-сиротски прилипшие к голове волосы...

— Я к Гране забежала, — кутаясь в плащ и улыбаясь, объяснила Рая. — А вам большое спасибо, Анатолий Амосович! Вы спать хотите? Нет? А я просто умираю...

Пошатываясь и длинно зевая, Рая подошла к калитке, просунув руку в специальное отверстие, нащупала новую вертушку — ее выстрогал Андрюшка, — открыла калитку.

— Спокойной ночи, Анатолий Амосович! Еще раз спасибо! Бегите домой... Вы ужа-а-а-сно мо-о-о-о-крый...

— До свиданья, Раиса Николавна! Вы завтра придете на репетицию?

— Приду, приду!

Прокравшись в свою комнату, Рая выпила и съела все, что было оставлено тетей, пошатываясь от усталости и сладкого желания спать, поднялась на сеновал, кое-как раздевшись, ткнулась головой в прохладную подушку. Она заснула мгновенно, но перед тем как забыться, была секунда, когда Рае вдруг показалось, что в темном сеновале забрезжило шевелящееся сероватое пространство, какая-то продолговатость с земляным полом и высоким косым верхом, похожим на потолок; замкнутое пространство было причудливо заштриховано пыльными, вращающимися, как сверла, солнечными лучами; в замкнутом пространстве нереального мира пахло воском и гречишным медом, в углу жил убаюкивающий полумрак, истекающий медленной, густой радостью. «Что это такое?» — удивленно подумала Рая, но в это же мгновение уснула, так и не поняв, что это было...



Дождь перестал идти примерно к часу, то есть к полудню, когда у Колотовкиных уже отобедали и все разбрелись на работу; оставшись с теткой, Рая помогла ей вымыть посуду, потом взяла учебник математики, надела любимый сарафан и, немножко побеседовав с грустными Верным и Угадаем, пошла неторопливо на Гундобинскую вереть. Из-под ног фонтанчиками брызгали зеленые кузнечики и маленькие лягушата — кузнечики на лету сжимались, а лягушата, наоборот, растопыривали лапки; травы подсыхали и уже пробовали тихонечко шелестеть, солнце окончательно выпуталось из суетливых туч; все в мире прояснилось, выросло и свежело, дышало уже по-солнечному цветочной пылью и вязилем-травой.

Через полкилометра от околицы Рая свернула к березняку, двинулась едва приметной тропочкой, по которой ходила в тот день, когда познакомилась с Гранькой. Было бы совсем тихо, если бы в начале Гундобинской верети не работали два трактора, но они гудели с раннего утра, и Рая еще на сеновале прислушивалась к шуму моторов, а сейчас издалека узнала красную косынку подружки и большие окуляры Анатолия Трифонова.

Трактора поднимали полосу целины, на которой дядя Петр Артемьевич собирался посеять гречиху. Машины работали на одной деляне, но двигались навстречу друг другу, чтобы участки вспаханной земли не соединялись: Гранька Оторви да брось и младший командир запаса соревновались. На колхозной конторе четвертый день висел громадный фанерный щит, на котором по вечерам появлялись меловые цифры, и вся деревня уже была разделена на сторонников Граньки и Анатолия. За Граньку, конечно, переживали молодые мужики и женщины средних лет, за Анатолия — девчата и самые старые старики, участники русско-японской и первой империалистической войн.

Машины пахарей гудели ровно, весело и молодо, так как Жемтовская МТС возникла совсем недавно и у нее было все новое, молодое — трактористы, трактора, директор, начальник политотдела и бригадиры.

Гранька и Анатолий работали старательно, гарцевали на своих пятнадцатисильных тракторах лихо, но все равно сразу заметили приближающуюся Раю — подружка помахала ей рукой, а Анатолий для чего-то снял окуляры.

Рая Колотовкина была городской девушкой, большую часть жизни провела в Ромске, но смотрела она те же фильмы, пела те же песни, читала те же книги, которые смотрели, пели и читали Гранька и Анатолий. Горожанка Рая восхищалась фильмами «Трактористы», «Богатая невеста» и «Учитель», пела тоненьким голоском «Мы с железным конем все поля обойдем...», снопы пшеницы ей представлялись на самом деле золотыми, белые украинские хаты из кино вызывали умиление... За два года до войны деревенские парни и девушки не стремились уехать из деревни в город, а городские девушки по книгам и кинофильмам влюблялись в своих деревенских ровесниц; за два года до войны девушки мечтали о трактористах и комбайнерах, красноармейцах и учителях, а Сельскохозяйственная выставка в Москве для них была прекрасной, как сказка...

Влюбленными, ласкающими глазами смотрела Рая Колотовкина на два колесных трактора — ей казались прекрасными их контуры, блеск колес на солнце, гул моторов чудился песней. Раина подружка сидела за рулем трактора необъяснимо грациозно, на Граньке была тугая красная косынка, острые концы которой пошевеливал ветер движения, глаза у подружки устремлены вдаль, трактор, приближаясь, гудел все громче, злее, отчаянней, и Рае вдруг показалось невероятным, что девушка в красной косынке, сидящая за рулем трактора, стала ее подружкой. Неужели она, эта девушка, могла гулять с Раей, обнявшись, пить молоко, спать на сеновале, кричать и ругаться в присутствии культурной учительницы? А младший командир запаса — неужели это он вчера вечером казался таким смешным?

Глаза Анатолия фантастически поблескивали круглыми окулярами с дырочками по бокам, чтобы не запотевали стекла. На нем была высокая кожаная фуражка, новый чистый комбинезон туго обтягивал стройное тело, руки лежали на руле округло и мощно, квадратный подбородок напоминал подбородок актера Крюкова из фильма «Трактористы» — ну разве могла быть знакомой Рая с таким человеком? А торжественный гул моторов! А блеск зубастых колес! А стремительность движения!

Сближаясь, трактора переваливались с боку на бок, фырчали друг на друга, волнистое марево подымалось над горячими капотами, зубцы колес казались жадными. Грачи ходили по бороздам важно, скучные от обилия

пищи — и там червяк, и здесь червяк, — ни на кого не обращали внимания. Они быстро привыкли к тракторам, пугались только тогда, когда моторы замолкали, — поднимались с криком и улетали.

— Здорово, Раюха! — закричала Гранька. — Давай подгребай сюда...

Остановив машины, Гранька и Анатолий прыгнули с металлических сидений, неловко, тяжело и косолапо пошли по неровной земле к Рае, которая и не догадывалась, что от долгого сидения на жестком металле болят ноги, ноет живот и неприятно погуживает в ушах.

— Здравствуйте, Раиса Николавна! — сняв фуражку, поздоровался Анатолий.

— Здорово, Раюха! — опять закричала Гранька, показывая белые зубы. — Вот и дожжишка прошел, как мы с тобой мечтали...

Рая смотрела на них недоуменно, не понимая, почему Гранька, спустившись с высокого металлического сиденья, сразу стала проще и мягче, а младший командир запаса стоял в усталой позе и по-мальчишески оттопыривал губы. У Раи было такое чувство, какое возникает у человека, когда он выходит на улицу после дневного сеанса кино: будничным и неинтересным кажется все окружающее после темного зала, где он жил иной, приподнятой жизнью.

— Пошла заниматься, — скучным голосом объяснила Рая, — Вы еще долго будете работать?

— До шести...

— Не буду вам мешать, — сказала Рая. — Пойду...

— Вали! — одобрила Гранька. — Как пошабашим, я тебя покличу. Трактором поедem на деревню... Хочешь?

— Хочу!

Рая пошла по свежей борозде. Ноги в стареньких туфлях проваливались в мягкое; густо и сладко пахнул чернозем, грачи облетали Раю, косясь опасливо. Она минут за десять дошагала до озера Чирочье и огорчилась тем, что на самом сухом и возвышенном месте берега сидел с тальниковыми удочками дед Абросимов — старик с лохматой трехцветной бородой. Увидав Раю, дед оживился.

— Бывай здорова, внучатка! — зашамкал он провалившимся ртом и вдруг застыдился. — Чего, поглядать хошь, как твой дедушка ребячьим делом занимается? Ну, сама ты поглядай, тока никому об этом не докладдай...



Это ить со смеха помрут, если узнают, что я вудочкой стараюсь...

В Улыме уженье рыбы считалось ребячьей затеей, над теми, кто сидел на берегу с удочками, смеялись, но у деда Абросимова не хватало уже сил для настоящей рыбалки, и он приспособился тайком от соседей и старухи уходить на Чирочье озеро; садился здесь на то место, которое любила и Рая из-за того, что оно было скрыто густыми тальниками.

— Сядай, сядай!— радовался старик, делая рукой царственный жест.— Сядай, тока про меня никому не сказывай! Я за это дело тебе, внучатка, буду истории говорить...

Борода у деда была разноцветной: с подбородка и щек стекала до блеска белая седина, на шее росли длинные рыжие волосы, а у самых глаз курчавились совершенно черные. Это у деда образовалось еще до коллективизации. Сейчас старику Абросимову было девяносто восемь, и, значит, он уже лет десять носил смешное прозвище Трехшерстный, чем кичился, говоря: «Ежели трехшерстна кошка удачу дает, то человек трехшерстный — эта сплошна радость! Вот и бабы до меня прилипучие....»

— Коли ты села, внучатка, так я тебе всю правдень объясню!— сказал дед и поплевал мимо червяка.— Ежели ты к дедушке своему в ласковости, то и дедушка к тебе в ласковости... Я оттого здесь, внучатка, томлюся да пробавляюся, что ко мне, трехшерстному, рыба сама на крючок прет. Ты ток глянь, сколь я рыбешки-то понапластал...

Рая посмотрела и охнула: в большом садке ходило с десятков здоровенных карасей, над ними возвышались черные хребты линей, а всякой мелочи — чебаков да окунишек — было невпроворот.

— Вот сколь я их напластал!— хвастался дед, шамкая и хихикая.— Я ить в молодых-то годах был такой рыбак, что обо мне сам Кухтерин-купец разговор имал. Дескать, говорит, если рыбу хорошу брать, то надоть непременно Уляшку Абросимовского кликать... Да-а! Я, бывалыча, рыбешку-то и броднем ботаю, и межеумком тягаю, и духову рыбу не обойду, а ежели вожателем иду, то тожить — завозня полная. Я такой ловкой был, что не приведи господи...

Говоря это, дед осторожненько дернул правую удочку, другой рукой в это же время ловко и как бы испод-

тишка вытащил из озера здорового ленивого карася. Дед на леске подтянул его к себе, покачав головой, неодобрительно сказал:

— Силов в тебе от лениности нет, а жадный ровно чушка: хваташь что ни попадя...

Дед осторожно — двумя пальцами — взял карася, прищурившись от дальнорзости, приложил его к довольно длинной тальниковой палочке и, так как карась оказался сантиметра на два короче, досадливо забросил в озеро.

— Я такех карасев из ердани-то не брал! — сердито сказал он. — Это рази карась, это одно надругательство!

Дед Абросимов говорил на том говоре, какой употребляют жители среднего бассейна реки Оби, отличным, скажем, от говора жителей низовья, и Рая Колотовкина плохо понимала его, так как не знала, что ердань — это прорубь для подледного лова рыбы, межеумок — сеть с ячейей в три пальца, духовая рыба — это рыба из непроточных водоемов, ботать — ловить рыбу бреднем, а вожатель — это проводник плота. Дед разговаривал как бы на незнакомом языке, и от этого Рае было чуточку грустно, но ей все равно хотелось сидеть на берегу озера, слушать деда, смотреть, как он с сказками таскает карасей и хвастливо задирает трехцветную бороду. Дед был высок и сутул, под ситцевой рубахой просторно дышала могучая грудь, шея была покрыта толстой, как у слона, морщинистой кожей.

— Я об прошлый раз от учителей цельных три рубля поймел, — заносчиво сказал дед Абросимов. — Я такех карасев приволок, что не приведи господи... Я еще хрустенок, внучатка!

Озеро Чирочье лежало вогнутой чашей, сплетничая, покачивали коричневыми головами камыши, утки со свистом проносились в голубизне, прибрежная вода была прозрачна — там опасно извивались зубастые щуки, стояли на страже неподвижно пестрые окуни, зарывались в тину глупые караси, висели, где придется, ко всему равнодушные лини. Садясь на озеро, утки поднимали грудью крутой бурунчик воды, отряхивая крылья, зорко оглядывались, ища знакомых. На небе уже не было ни единого облачка, и от этого оно казалось приблизившимся к земле.

— А ты ведь мне сродственница! — прищулив глаз, сказал дед. — Мы, Абросимовски, всем Колотовки-

ным — родня... Как это получатся, я тебе обсказывать не буду — это шибко длинно, но ты мне — кака-то внучатка... Кака, это я в точности знать не могу, но внучатка...

Открыв глаз, дед заботливо пояснил:

— Это голец клюет, я его имать не буду — лучше пушай на его окунишка возьмется... Да-а-а-а! Вот с чем я не согласный, так это с тем, что все люди — братовья! Какой я, к примеру сказать, тебе братан? Я тебе дедушко, вот такая стория! А согласный я с тем, что все люди — сродственники!

По-праздничному куковали за Кетью кукушки, в березняке хохотал сыч, тракторные моторы звучали приглушенно. Рая глядела на поплавки стариковских удочек, они монотонно покачивались от донных течений, белея, убаюкивали, а кукушки куковали трудолюбиво, безостановочно, словно решили накуковать бессмертие.

— Ты чего примаргивашь-то? — обернувшись, спросил дед. — Чего с тобой деется, что ты шею кажешь длинну и тонку? Скучно тебе с дедушкой-то?

— Мне заниматься надо, — жалобно сказала Рая, — а я лентяйничаю...

— Славно делаешь! — внезапно обрадовался старик. — Книжки читать — голове болеть! Так что ты лучше сосни... Вот тебе кожушок, ты на его прилягни да и сосни...

Дед хлопотливо достал пахучий кожушок, беззвучно смеясь, расстелил его рядом с собой, и Рая, не понимая, что с ней происходит, и уже не думая о занятиях, легла на теплую от солнца овчину, глядя в бесконечное небо, осыпанное бордовыми точками, закрыла глаза; теплая волна прокатилась по телу, затуманив голову, зазвенела в ушах, и Рая провалилась в теплое, зыбкое, подумав на прощание: «Их трое, кукушек-то...» Потом что-то ласковое приступило к боку, кто-то приложил пухлые мальчишечьи губы к пионерскому горну, рассыпалась барабанная дробь, услышался строгий голос: «Будь готов!» «Всегда готов!» — ответила Рая, и сразу появился второй голос: «Ишь как заспалась!» В глаза полыхнула желтизна, лицу сделалось жарко, щеkotно, и Рая открыла глаза...

Рядом с ней, положив голову на тот же кожушок, спал дед Абросимов, между ним и головой Раи прямо из земли вырастали сапоги — это стояла Граня и смеялась: «Вот позанималась! Вот наработала!» За ее спиной виделось загорелое лицо Анатолия, который, гля-



дя на Раю, улыбался сдержанно. Потом Гранькины сапоги отъехали в сторону, лучи низкого солнца полоснули Раю по глазам, и она окончательно проснулась.

— А дедуля-то, дедуля-то! — хохоча, кричала Гранька, нагибаясь к старику. — Вы только поглядите на него — взял моду во время рыбаловки спать!

Проснувшись, дед огорченно крикнул, схватив себя за трехцветную бороду, неожиданно бодро и басовито закричал:

— Гранюшка, Натоленька, родны мои людишки, ударнички мои! Ну, чего вам полезного будет, ежели вся деревня над дедушкой Абросимовым почнет животы рвать? Не сказывайте, бравы ребяташки, про вудочки-то, не сказывайте... — Тут он резво вскочил, льстивой походочкой подбежал к Граньке. — Хочешь, травиночка, я тебе всех карасишек отдам? И копеюшки мне не надо, копеюшки...

Рая неторопливо огляделась: солнце совсем приблизилось к Заречью, все вокруг было розово-желтым, прозрачным по-вечернему, таким приглушенным, каким бывает незадолго до заката солнце перед ясным, безветренным днем. Трактора работали на малых оборотах, и Рая чувствовала покой, уверенность в себе, несуетность. Откуда это все пришло, ей было безразлично, в себе копать не хотелось, но такой умиротворенности она давно не чувствовала. Учебник сиротливо лежал на земле — никаких угрызений совести; короткий сарафан высоко обнажил голые ноги — нет стыда перед Анатолием; волосы растрепались, а к щеке прилипли травинки — не возникает желания прихорашивать. «Я совсем взрослая, — подумала Рая, и опять было не важно, отчего возникла эта мысль. — Да, я совсем взрослая!»

— Поехали в деревню, Раюха!

Новым, незнакомым самой себе человеком поднималась с земли Рая Колотовкина. Она была замедленной, неторопливой, на губах лежала уютная улыбка — словно на овчинном кожушке осталось все лишнее: поголубели и опростились глаза, плечи стали тверже, прямее. Рая новым, плавным шагом пошла прочь от озера; шагая по паханине, не разбирала, куда ставит ногу; смятый сарафан она не разгладила, он тоже казался отдельным от нее, как суетность, как ряд бесконечно малых величин из учебника.

Новыми показались Рае и трактора и сами тракто-

ристы: она теперь заметила, что машины грязны и запыленны, что у подружки на лбу расплывается мазутное пятно, руки дрожат от усталости; разглядела, как сутулился Анатолий, когда подходил к трактору.

— Залезай, Раюха!

Рая села на подрагивающий кожух тракторного колеса, взявшись крепко за теплый край металла, спокойно улыбнулась подружке: «Поехали!» Машины загудели, фыркнув, одновременно двинулись под горку; они прыгали по бороздам, от тряски чакали зубы, но Рая держалась цепко, глядела вперед прищуренными глазами. Гранька посматривала на нее искоса, как бы не узнавая; потом ясно улыбнулась — ей, наверное, понравилась новая Рая.

— «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят...» — обняв Раю свободной рукой, запела Гранька.

Гудели моторы, дребезжал металл, вился синий дымок... До самой страшной войны оставалось еще два года, но в деревенском клубе шли фильмы, в которых пограничники, девушки-подростки и старики ловили шпионов, взлетали в небо тупоносые истребители, шли танки, скакали, сверкая саблями, остроголовые от буденовок всадники; горела и обливалась кровью земля Испании, рычал Китай, умирала Абиссиния — чувствовалось уже, чувствовалось дыхание войны...

— «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...» — пели девушки, и лица у них были суровыми, решительными, холодными. Рая Колотовкина была по необъяснимым причинам спокойна, просветленно-мудра. Она поднялась с тряского металлического полукружья и, обняв Граню за плечи, стояла лицом к ветру, пела громко, решительно, угрожающе:

— «И пошел командой взметен...»

Ох, как они любили землю, по которой мчались два колесных трактора и ходили важные грачи!

После происшествия на берегу озера Чирочьего Рая переменилась так резко, что порой сама себя не узнавала; она много думала над тем, что случилось, но понять не могла, да и не хотела, и продолжала жить спокойно, безмятежно, неосознанно счастливо, как птица, — вставала по утрам в половине пятого, умывалась

ледяной водой, съедала за завтраком все, что давали, вечерами выпивала полную кринку молока, полюбила бродить по лесу, не зная куда, не думая зачем. У нее, как у младшего двоюродного брата Андрюшки, сошла с переносицы упрямая морщинка, походка сделалась лениво-надменной, рот затвердел. Говорила она уже напевно и медленно, вместо «да» и «нет» отвечала «но» и каждое утро, открыв глаза, сразу глядела в сеновальные двери — интересовалась погодой.

Рая загорела до черноты, длинные и крепкие ноги покрылись звездчатыми трещинками, кожа облупилась; лицо тоже потемнело, отчего глаза казались совсем синими. Стоя по утрам перед зеркалом, Рая глядела на себя как на постороннюю — были безразличны облупившийся нос, ссадины на ногах и чужое, темное лицо. Пожав плечами, она строго улыбалась незнакомой девушке в зеркале, чувствуя себя мудрой, спокойной старухой. Наверное, поэтому Рае теперь нравилось неспешно беседовать с дедом Абросимовым, следить за его удочками и подремывать; она соглашалась, когда дед утверждал, что внучатке «надоть набрать мясов, что это одна страмота, если она ходит така худюща»; потом старик охотно и поучающе рассказывал про «свою первую бабу, которая померши от старости», и про «вторую свою бабу, которая померши тоже от старости», и гордился тем, что к бабам относился хорошо — ни разу пальцем не тронул и мужскую работу справлять не позволял, хотя женскую работу требовал, на что Рая отвечала: «Ну и правильно, дедушка!»

Дядя Петр Артемьевич снова серьезно говорил с племяншкой об учении, она пообещала исправиться, но занималась мало и неохотно — прочтет несколько страниц, ничего не поняв, захлопнет книгу лениво и опять слушает, как кукуют отдельные от нее, совершенно посторонние кукушки. И вот это чувство отделенности от всего вещественного, предметного было, пожалуй, самым сильным и поэтому понятным. Рае казалось, что не только книги и одежда, мебель и жилище, но и солнце, земля, закаты, восходы — весь этот мир — существовали отдельно от нее. А все равно жилось Рае хорошо, время летело не быстро и не медленно; бежало так, как ему полагалось бежать.

На предпоследней репетиции чеховского водевиля «Предложение» Рая и Анатолий играли вяло и плохо, свои реплики произносили тонкими голосами. Капито-



лина Алексеевна гневалась, лодырь и забулдыга Ленка Мурзин орал, что «в таком разе реплик давать не будет», и усмехался обидно, когда режиссерша от огорчения впадала в столбняк.

На предпоследней репетиции Капитолина Алексеевна была в лиловом шелковом платье, с дутыми браслетами на толстых руках, со стеклянными бусами на груди и в модных белых тапочках, делающих ее ноги совсем тонкими и короткими. Она часто прижимала правую руку к груди, дышала тяжело и порывисто, словно поднималась в гору,— очень волновалась за себя и артистов.

— Живее! Громче!— покрикивала она и огорченно замирала.— Боже мой! До показа остается всего два дня... Что вы играете? Ну что вы играете, Анатолий Амосович?

Репетиция на этот раз проводилась на высоком берегу Улыма, между старыми осокорями, в затишке, скрытом от посторонних глаз. Табуреток на берегу, естественно, не было, поэтому Рая сидела на пенке, Анатолий, изогнувшись, стоял над ней, мрачно усмехался и на самом деле играл плохо: вздыхал там, где надо было кричать, а там, где Капитолина Алексеевна требовала «дать чувства», мямлил, и в тусклом его голосе пробивались командирские интонации. Все это кончилось тем, что Ленка Мурзин, выбрав траву помягче, лег на брюхо и заявил:

— В таком разрезе я комедь представлять не желаю...

Поклокаtywала под высоким яром Кеть, тальники, березы и осокори левобережья казались такими близкими, что хотелось потрогать; рыбацкий костер пылал ярко, возле него на корточках сидел сам рыбак, помещивая ложкой в котелке, и слышалось, как ложка постукивает о стенки котелка.

— Не балуйтесь, Мурзин!— прикрикнула на лентяя и забулдыгу Капитолина Алексеевна.— Искусство — оно... Оно — не в бабки играть...

Манерно поджимая губы и колыхаясь, Капитолина Алексеевна подошла к водевильным жениху и невесте, приложив обе руки к груди, посмотрела на них так насмешливо, словно хотела сказать: «Эх вы, такого пустяка не можете сделать! Поцеловаться не можете...»

— Где ваша рука, Анатолий Амосович?— вкрадчиво спросила Капитолина Алексеевна.— А вы почему

не сгибаетесь к жениху, Раиса Николаевна? Как же вы будете целоваться, если промеж вами три метра дистанции?.. Делайте сближение, делайте!

Вот тут-то Капитолина Алексеевна наконец заметила, что Анатолий боится встретиться с Раей глазами, краснеет неизвестно отчего, а Рая, наоборот, на Анатолия смотрит пристально, бесцеремонно и даже усмехается над растерянностью такого смелого человека, как бывший танкист.

— Товарищи, товарищи! — засмеявшись басом, сказала Капитолина Алексеевна. — Вы не маленькие, товарищи, вы с образованием, не как некоторые... Делайте сближение, делайте!

Капитолине Алексеевне минул двадцать первый год, у нее были чистые девичьи глаза, добрые губы, и она вообще была хорошим человеком — бесхитростным и честным, но не очень умным.

— Продолжаем, продолжаем репетицию! — захлопала она в ладоши. — Вам, Анатолий Амосович, надо положить руку на плечо невесты, а вам, Раиса Николаевна, дать сближение... Ах, какие вы стеснительные!

Она решительно, с насмешливым лицом подошла опять к Анатолию и, приподняв его вялую руку, положила на плечо девушки.

— Рука обязана находиться вот в этом месте... На какой реплике мы остановились?

По реке плыл легкий обласок, на котором спускался вниз по течению остяк Николай Кульманаков, пробирающийся, вероятно, на Любинские пески, чтобы ловить осетров и недьм плавежной сетью. Течение быстро несло обласок, и Николай весло в руке держал неподвижно — только рулил. И от всей этой картины веяло таким покоем и безмятежностью, что Рая на секунду закрыла глаза — в темени тоже плыл серебряный обласок, улыбался морщинисто Николай Кульманаков, отражение лодчонки в Кети было нежно-розовым. Кульманаков негромко поздоровался с хозяином костра, тот ему ответил: «Ни пуха ни пера, Миколай!», и от этого в груди у Раи сделалось так тепло, словно с реки подул жаркий ветер.

— Продолжаем, продолжаем репетицию!.. Рука, Анатолий Амосович, остается тут. Ваша нога, Раиса Николаевна, располагается, если так можно выразиться, тут...

Рае было щекотно от лежащих на ее плече пальцев Анатолия, так как они едва прикасались к кофточке.

Младший командир запаса боялся положить пальцы твердо, и это было так смешно, что хотелось расхохотаться вслух — ликующе и громко. Рая чувствовала, что лицо у нее становится гордым, заносчивым, брови властно сдвигаются, а кончики губ тронуты загадочной улыбкой; она, не мигая, смотрела на Анатолия, видела, как его лицо под загаром краснеет, и торжествовала: «Влюбился, голубчик! Влюбился!.. То-то же!» Ей казалось, что она старше Анатолия, хотя ему было на пять лет больше, и это тоже приносило спокойствие, безмятежность: «Попался, голубчик!»

Она перевела взгляд на удаляющийся вниз по течению обласок Николая Кульманакова, проводив его немножко глазами, сама подняла плечо, чтобы рука Анатолия сделалась тяжелой, потом прижалась к нему боком и удовлетворенно отметила, что пальцы младшего командира запаса вздрогнули, губы сжались, а глаза сделались тревожными, словно ударил колокол на пожарной каланче.

— Давай реплик! — обозлившись, крикнул Ленька Мурзин. — Давай, репетировай, а то я весь чешуся от нервности...

Знаменитый деревенский лентяй и забулдыга кричал возмущенно, взмахивая руками от нетерпения, но глаза у него были по-кошачьи затаенными, вкрадчивыми и губы растягивались — он давно понял, что происходит между Раей и Анатолием; похаживая вокруг них, он от удовольствия высоко задирает ноги, словно перешагивал большие лужи. «Доигрались!» — было написано на круглом Ленькином лице, и Рая снова подумала о том, какой он талантливый и умный.

— Репетируй! — опять закричал Ленька. — Репетируй, мать вашу за ногу!

Лежащая на плече Раи рука Анатолия была теплой, словно он ее подержал на раскаленной боковине русской печки. Младший командир запаса тусклым голосом проговорил очередную реплику, снова отведя глаза в сторону, стал ждать, когда папаша — Ленька Мурзин — прикажет им целоваться. И, конечно, сорвал этим всю сцену, в которой они с Раей должны были безостановочно кричать друг на друга, впадать в истерику.

— Я в таком отчаянии — работать не могу! — сердито сказала Капитолина Алексеевна и с размаху села на широкий пенек. — Раз никто в деревне не желает целоваться на сцене, я в райкоме комсомола так и скажу.



Рая ее не слышала. По-прежнему прижимаясь плечом к теплой руке Анатолия, она глядела на излучину реки, за которой скрывался серебряный обласок остяка Кульманакова, сделавшегося похожим на карточную фигурку: один Кульманаков упирался головой в ясное небо, другой — касался головой речного дна. Через секунду оба Кульманакова скрылись за сиреновой излучиной, и от этого показалось, что прозвенели маленькие колокола — почему, отчего, неизвестно, но звон был печальный. Уронив руку Анатолия, Рая осторожно поднялась с пенька. Больше она ни о чем не думала, никуда не глядела, а сказала спокойно:

— Перенесем репетицию на завтра...

И пошла по крутому берегу так тихо, осторожно и тяжело, словно несла на коромысле полные ведра; ее не волновало то, что происходило за спиной, голос Капитолины Алексеевны прозвучал тихо, как бы из далекого прошлого, Раино имя, произнесенное Анатолием, ей тоже не принадлежало.

Хотелось увидеть обласок Николая Кульманакова, скрывшийся за речной излучиной, подойти к нему близко, чтобы убедиться — и на самом деле он серебряный?

Возле новой бани тех Мурзиных, у которых старая баня сгорела, на низкой лавочке сидели старик со старухой, по-одинаковому подперев подбородки руками, смотрели туда же — на сиреневую излучину Кети. Старик и старуха были мужем и женой и сидели на лавочке, видимо, давно — может быть, триста лет. Рая подошла к ним, не поздоровавшись и не обращая внимания на стариков, тоже села на кончик скамейки, вздохнув, подперла рукой подбородок. И только после этого перестали звенеть колокола. «Странно!» — безмятежно подумала Рая.

Тишина была громкой: в ней охотно и много квакали лягушки, побулькивала омутами река, тоненько ржала кобыла Весна, хохотали под яром мальчишки; от всех отдельный, страдательно ухал сын.

— Николай-то на Любинские пески гребется, — сказал старик. — Больше ему некуда гребстися, Николаю-то...

— На них... — сказала старуха, — на них...

Рая с минуту помолчала, а потом согласнo кивнула.

— Правильно! — сказала она. — Куда же ему еще гребстися...

«Буду сидеть здесь на лавочке долго, — подумала Рая. — Сто лет просижу...»

На деревенскую товарочку парни и девчата собрались к дому деда Абросимова. Здесь росли четыре осокоря, седых и коренастых, в палисаднике на черемухе завязывались зеленые ягоды, встревоженный музыкой, полетывал над крышей расфранченный скворец.

Как всегда на деревенской товарочке, парни и девчата вели себя солидно и основательно, соблюдая приличие, потому что именно на товарочке происходили все главные события в жизни улымской молодежи — здесь определяли симпатии и антипатии, ссорились и мирились, сводили счеты, сколачивали враждующие группы, составляли заговоры, демонстрировали наряды, находили женихов и невест, друзей и подруг. На деревенской товарочке события развивались не стихийно, а все было как бы плановым, традиционным — порядок чередования танцев, распределение мест, разговоры; этикет здесь блюли строго.

На сегодняшней товарочке благодаря недавней победе над братьями из рода Капы самое выгодное место на сосновом бревне занимали братья Колотовкины и постоянный их союзник Виталька Сопрыкин. Поверженные Капы теснились на завалинке. На скамейке сидела девичья аристократия, среди которой находились неразлучные теперь подружки Рая Колотовкина и Гранька Оторви да брось. Они, как и все девчата и парни, щелкали каленые кедровые орехи, шелуху бросали под ноги, посмеивались, перешептывались; по правую руку от Граньки оказалась гордая красавица Валька Капа, а рядом с Раей радостно щурился на угасающий закат дед Абросимов — хозяин товарочки.

С запада тянуло вечерней прохладой, река тут же, на глазах, из выпуклой делалась вогнутой, косой стрелень покрылся рябью — все в мире становилось вечерним и строгим. Потом же, когда начала вокруг разливаться розовость, когда мир из написанного масляными красками сделался акварельным, тонко и ласково пропел возле околицы пастуший рожок — это дед Сидор сообщил, что нашлась телка Вутка, забредшая по молодой глупости в зыбкие тальники, где и застряла между кустов.

Пастуший рожок пел в тишине. Баянист Пашка Набоков уже проиграл два первых необязательных танца, шепчась с Веркой Мурзиной, готовился к самому главно-

му танцу — вальсу «Дунайские волны». Все смотрели на него серьезно, так как вальс «Дунайские волны» на самом деле был главным танцем — его танцевали те пары, которые с товарочки уходили вместе, обняв друг друга.

Пока Пашка Набоков протирали белые лады баяна, его разлюбезная Верка Мурзина от гордости ни на кого не обращала внимания; девчата на завалинке дышали осторожно, с перерывами, забыв про орехи, усиленно глядели в землю; Гранька Оторви да брось зло теснила бедром раскрасавицу Вальку Капу и при этом злодейски усмехалась, а Рая Колотовкина ни о чем суетном не думала, ничего особенного не чувствовала, ничего важного в происходящем не видела — она все еще жила серебряным обласком Николая Кульманакова, звоном маленьких колоколов, вековым покоем стариковского молчания, сладкого и дурманящего, как бесконечность.

Рая знала, что вальс «Дунайские волны» Анатолий Трифонов будет танцевать с ней, понимала, какой переполох вызовет это на завалинке, скамейке и бревнах, но думать об этом ленилась да и себя не чувствовала, словно это не она, а действительно незнакомая Рае женщина — мудрая и безмятежная — сидела вместо нее на лавочке и грызла орехи, наловчившись их щелкать не вдоль, как горожане, а поперек.

Первым вальс «Дунайские волны» начал танцевать с Любкой Колотовкиной ветреный Виталька Сопрыкин, потом разобрали с завалинки всяческих Мурзиных четверо братьев Капы, закружились многие привычные пары — близкие к свадьбам. Робко топтались на месте и не решались кружиться очень молодые девчонки с очень молодыми парнями, только недавно начавшие посещать товарочку. А Анатолий все медлил, стоял возле короткого пенька в задумчивости, нахмурившись и вяло пошевеливая пальцами опущенных рук. От этого раскрасавица Валька Капа, конечно, начала волноваться, то есть усиленно разговаривать с завалящей подружкой, а Гранька Оторви да брось вдруг села прямо, твердая и горячая.

— Ой, Рауха! — шепнула Гранька. — Ой, подруженька!

Рая была спокойна и неподвижна, хотя чувствовала кожей, что младший командир запаса весь как бы лучится в ее сторону, а подружка Гранька не дышит...



Рая, конечно, любила ее, но сейчас тихо думала о том, что вот и Гранька — сердечная подружка — похожа на учительницу Капитолину Алексеевну, если не допускает мысль, что Анатолий может полюбить Раю. Да, Гранька Оторви да брось была дружна с Раей, хотела Рае только хорошего, но никогда не думала о ней как о сопернице...

Рука Раи сама собой соскользнула с плеча подружки, квадратный колотовкинский подбородок затвердел, губы плотно сдвинулись — все это без ее участия, по каким-то бабьим, чуждым Рае законам. И так как все эти действия были внешними, механическими, то во внутреннем мире девушки никаких изменений не произошло: там царили покой и улаженность, мудрость и прозрение, словно Рая становилась ясновидящей. Она, например, глядела в землю, но видела, что у красавицы Вальки Капы некрасиво сморщился белый носок на правой ноге. Плохо вела себя за спиной Раи и подружка баяниста Пашки Набокова: насмешливо глядела на Граньку Оторви да брось, считая, что Анатолий не хочет танцевать с Валькой ради трактористки.

Пришел синий дымчатый вечер. Уже висела в небе строгая от прозрачности луна; поднималась, чтобы к рассвету прийти на сеновал, Раина звезда — зеленая и тихая; река уже казалась бордовой, как густой клюквенный кисель; плакал и дергался от горя коростель за Кетью, свистели крыльями невидимые утки, а в трехцветной бороде деда Абросимова запутался розовый блик заката. Ласково мычали подоенные коровы, носились, играя, по пыльной дороге щенки, поднимались со дворов светлые дымки...

Младший командир запаса Анатолий Трифонов встряхнул головой, одернул вышитую белую рубашу так, словно это была гимнастерка, и, улыбнувшись криво, насильственно-решительным шагом двинулся через весь круг прямо к скамейке. Удивленно глядящие на него пары танцующих охотно уступали дорогу, даже оставались. Когда Анатолий миновал середину круга, по его шагу и глазам уже было понято окончательно, что он не идет к Вальке Капе — она активнее прежнего затараторила с бросовой подружкой, и все начали глядеть на Граньку, которая немедленно сделала вид, что занимается складками юбки. Однако еще через два-три шага Анатолия все затаили дыхание — нет, Анатолий направлялся не к трактористке... Братья Колотов-

кины, перестав танцевать, смотрели на младшего командира запаса исподлобья, сурово и угрожающе, баян дал ошибочный аккорд — вот до чего все были удивлены тем, что Анатолий, оказывается, шел к Рае.

— Разрешите пригласить вас на танец вальс! — поклонившись, сказал Анатолий и, подумав, добавил: — Дозвольте, Раиса Николавна!

Склонив голову, Рая, не мигая, смотрела не него, размышляла о чем-то, непонятно улыбалась; подчиняясь все тому же по-бабьи мудрому, подспудному, она вдруг вернула себе способность видеть себя со стороны и, наблюдая за собой пристально, но критически, обнаружила, что не только загадочно молчит, но и сидит в неприступно гордой позе, чуждая всему происходящему. Она по-прежнему совершала такое, чего никогда не могла совершить та Рая Колотовкина, которая не спала на берегу Чирочьего озера, не видела серебряного обласка, не сидела на стариковской скамейке и не знала, куда поехал остяк Николай Кульманаков. Сегодняшняя Рая, продолжая глядеть в глаза Анатолия, подавешнему улыбнулась кончиками губ, выпрямив голову, сделала усталую гримасу — такой штуки она раньше не знала.

— Спасибо, Анатолий Амосович! — сказала Рая. — Спасибо, но мне не хочется танцевать... Устала...

В глубине души прежняя Рая удивилась тому, что произошло, но сегодняшняя Рая несколько не сомневалась в правильности содеянного ею: она была мудра, как все женщины мира, вместе взятые. Отказав Анатолию, она, не догадываясь об этом, поднялась на такую высоту, с которой уже нельзя было заметить копошащуюся внизу девушку по прозвищу Стерлядка, голенастую и наивную. Не догадываясь об этом, Рая совершила поступок, который был единственно правильным в ее положении и который она не совершила бы двадцать лет спустя.

На танцевальной площадке начался тихий переполох. Торжествующе откинули головы Раины двоюродные братья, грозно обернулись назад, где сидели братья Капы: «Плохо ваше дело, ребята, если у нас и сеструха вон какая!» Мстительно хихикали всякие Мурзины, покраснев яркими пятнами, растерялась Валька Капа, а дед Абросимов восторженно шерил зубы.

— Молодца, внучатка! — захохотав, сказал он. — Сразу видать, что наши кровя... Танка, она, конечно, не трактор, а трактор, конечно, не танка...

Анатолий Трифонов, которому впервые отказали на товарочке, медленно отступал; спина его была согнута, руки увяли, белые тапочки шаркали по пыльной земле и от этого делались серыми, а мудрая, как змий, Рая, наблюдая за ним, думала о том, что вот таким Анатолий ей нравится больше, чем тот, у которого прямые плечи, зычный командирский голос и пустовато-вежливые глаза. Этот Анатолий был таким человеком, которого можно было жалеть, и Рае, конечно, было досадно, что он пачкает пылью новые белые тапочки, хотя это такой пустяк, что и думать о нем не стоит. Вообще ни о чем беспокоиться не надо, жить следует медленно и бездумно, как осокори над головой, как вечернее небо, как темнеющая река.

В этом мире все было правильным, естественным. Согбенная спина Анатолия была такой же необходимой, целесообразной, как свет ранней луны, посвист утиных крыльев над головой, сухость теплого воздуха, пропитанного запахами позднего вечера; все было целесообразно на этой земле, где щенки, играя, купались в мягкой дорожной пыли, луна сменяла солнце, а солнце — луну, где дед Абросимов на Раю Колотовкину глядел счастливыми, родственными глазами, а подружка Гранька Оторви да брось незаметно отодвинулась от Раи, что тоже было естественным и целесообразным.

Гранька сидела неподвижно, как бы заостенев, смотрела за реку, где мерцал рыбацкий костер, не потухающий ни днем, ни ночью; глаза у нее странно поблескивали, казались совсем выпуклыми от неподвижности, спокойствия и походили на драгоценные камни. Потом Гранька поднялась, делая механические движения, сорвала листок с черемуховой ветки, поднесла его ко рту. Спина у подружки была прямая, голова прочно сидела на короткой сильной шее, было видно, как между плечом и щекой пошевеливается черемуховый листик — она зубами кусала горьковатый стебелек.

Младший командир запаса Анатолий Трифонов двигался по направлению к северной околице деревни, Гранька избрала южный путь, а Рая Колотовкина все еще сидела на месте, полная мудрости и старицкой созерцательности, по-прежнему ни о чем особенном не думая. Наконец она тоже поднялась, повинаясь тому, что было выше и мудрее ее самой, пошла в третью сторону — в переулочек, ведущий прямехонько в темные и душные кедрачи.



Баян Пашки Набокова, наигрывающий про то, как утомленное солнце нежно с морем прощалось, постепенно утишивался за спиной, глохли и другие звуки деревни, воздух влажнел, под ногами ковром пружинил мох — глухая тайга обступала девушку, идущую по знакомой узкой тропинке. Было тихо и уютно, как на сеновале; давно спали в потаенных гнездах деловитые лесные птицы, ночные еще молчали, дожидаясь настоящей ночи, и пахло в тайге только кедрами. От этого все казалось понятным, простым, знакомым, как ноготь указательного пальца на правой руке. Сухие кедровые иглы шуршали под белыми тапочками, кофта на Рае тоже была белой, и чудилось, что она вся светится, как лесной светлячок.

Рая медленно углублялась в лес, кедровые все росли и все темнели, потом кроны деревьев сомкнулись над ее головой, совсем затмив лунный свет. Тогда девушка на мгновение остановилась, оглядевшись, почувствовала, как больно и сладко заныло сердце... Она опять видела серое замкнутое пространство, продолговатое и низкое; в нем — сон ли это, явь ли? — вращался пыльный солнечный луч, пахло стариной и мышами, пол был короче потолка, а стены перекошены... Горло сжалось, стало трудно дышать, но это и было счастье, ослепительное и дремучее, необъяснимое, как пробуждение на расвете.

«Где я видела это? — подумала Рая. — Где?»

16

Наутро весь Улым знал о том, что Анатолий Трифонов, бросив Вальку Капу, гуляет с председателевой племяншкой, что на покров они собираются играть свадьбу, что Петр Артемьевич дает в приданое телку Вечерку, отец Анатолия собирается ставить для молодых дом, а городская далекая родня невесты сулит два шерстяных костюма и один полушерстяной.

Анатолий Трифонов и Рая Колотовкина еще ни разу не танцевали вальс «Дунайские волны», а деревенская молва уже поставила дом для молодых между школой и теми Мурзиными, у которых в подполье все лето — лед; Анатолий и Рая еще ни разу не посидели на лавочке под двумя кедрами, а улымские бабы уже говорили, что на свадьбу будут звать всю деревню; Анатолий и Рая еще ни разу не прошли в обнимку по

длинной улице, а деревня уже гадала, что будет делать брошенная младшим командиром запаса красавица Валька Капа, так как тогда же утром стало известно о том, что мать Вальки Капы уже приготовила для дочери и ее будущего мужа богатое приданое. Часть улымских баб считала, что Валька Капа «это дело так просто не стерпит», а другие утверждали, что «ничего путного Валька от этого дела не поймает».

Деревня клекотала и бурлила, шепталась и замирала от удивления; бабы сразу после завтрака сходились в тесные группки возле прясел, старики и старухи на свои лавочки выползали в полном составе и раньше времени, недавно ожеребившаяся кобыла Весна от всеобщего волнения и переполоха ржала громче обычного и разнесла в щепки кедровое стойло. Большой-большой шум происходил в тихом Улыме. А в десятом часу стало известно о том, что мать Анатолия Трифонова, будущая Раина свекровь, ходившая полчаса назад в сельповский магазин за керосином и хозяйственным мылом, сказала Виринее Сопрыкиной, которая брала в магазине конфеты-подушечки, следующие слова:

— Мой-то Амос Лукьяныч — партизан, у него именна сабля, через котору он грызу и нажил... Так что ему без мяса жизни не бывает!— Тут она вздохнула и пригорюнилась.— Вот ты и прикинь, кума, что три чушки мы имем, корова у нас одна, но телки-то двое, овечек десятеро да собак трое... Вот ты и гляди: картохи сварить надо, помять, обратно, надо, поднести надо — сами чушки, заразы, не бегут, как шибко нравные...

После этих слов мать младшего командира запаса — женщина бровастая, сырая и слабоногая — заковыляла домой, качая головой и стараясь больше не задерживаться, а деревня зашумела еще пуще прежнего, так как Вириunea Сопрыкина из магазина до дома шла целый час — останавливалась возле всех калиток и передавала слова будущей свекровушки.

Шум, гам и переполох продолжались целый день. На следующее утро деревня проснулась уже сравнительно спокойной. А еще через сутки разговоры совсем притихли, так как произошло новое волнующее событие: вечером с пятницы на субботу лентяй и забулдыга Ленька Мурзин опять купил в магазине бутылку водки и, выпив ее почти всю, ходил под окнами учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой, не допуская, правда, матерков, ругался насчет того, что постановка че-

ховского «Предложения» не состоится. Ругался и грозился он больше часу, но учительница не вышла, в окно не выглянула, и дело кончилось тем, что Ленька, сев на скамеечку под враждебными окнами, уснул незаметно для самого себя. Проспал Ленька на учительшиной скамейке до утра, проснувшись, так как был — не позавтракавши и не умывшись, — пошел на работу, и деревня от страха притихла: в Улыме появился первый «подзаборник». Дело было такое серьезное, что родители Леньки в субботу на колхозное поле не пошли — прятались от позора, а председатель Петр Артемьевич принял решение вызвать лентяя и забулдыгу на правление колхоза.

Все эти три дня Рая и Анатолий не встречались, Гранька Оторви да брось уехала в МТС, Валька Капа из дому не выходила, да и Рая спускалась с сеновала только затем, чтобы поесть и переменить книгу; с дядей и тетей она почти не разговаривала, братьев молча обходила и по-прежнему чувствовала себя мудрой, очень взрослой и одинокой.

В субботу Рая к семейному ужину вышла в том самом наряде, в котором приехала в деревню, то есть в матроске, короткой синей юбке и в туфлях на высоком каблуке. Почему она сделала это, Рая сама не знала, но чувствовала, что надо одеться именно так, хотя тетя и дядя матроску носить не советовали, а высокие каблуки считали неприличными. И причесалась Рая по-прежнему: уничтожила прямой пробор, волосы свободно распустила, на лоб падала короткая челка.

Рая неторопливо спустилась с крыльца, привычно оглядев вечернее небо, длинно усмехнулась, зная, что она сейчас, как говорили в деревне, необычно «красива с лица». Наверное, поэтому ее двоюродные братья притихли, тетя и дядя переглядывались, а у самой Раи раздувались тонкие ноздри. Она чувствовала себя гибкой и высокой, слышалось, как ровно и покойно бьется собственное сердце. Очень хотелось есть, но было бы хорошо не садиться — так она себе нравилась стоящей.

— Добрый вечер! — наконец сказала Рая, подходя к столу. — Простите, что припоздала.

Нарымское словечко «припоздала» Рая произнесла певуче, гладко, безударно, и вся она была тоже певучей, медленной, безударной; одетая по-городскому, Рая казалась почему-то такой деревенской, такой улымчанкой, какой не бывала в белой вышитой кофте и модных



брезентовых тапочках. Она осторожно села на лавку, взяв ложку, неторопливо осмотрела ее со всех сторон, дождавшись, когда дядя первым зачерпнет уху, опустила ложку в чугунок ловко и осторожно. Ломоть хлеба был заранее приготовлен, висел в воздухе как раз в том месте, где с ложки могло капнуть и, конечно, ничего не пролилось на стол. «Вкусно!» — подумала Рая, обстоятельно пережевывая и уже чувствуя, что лицо у нее такое же бесстрастное, бездумное и тихое, какое бывает у улымчан, когда они едят.

Вечер выдался обычный — негромко опускалось солнце, река Кеть розовела умеренно, кедрачи синели, привычно висела над стрехой дома прозрачная ранняя луна, стояли над дворами торчки дымов, осоко́ри на берегу казались коричневыми. Да, все это было знакомым, обычным, как и ужин, — после ухи Колотовкины поговорили о погоде, дружно решили, что не надо бы торопиться с окучиванием того картофельного поля, которое выходит на Желтую гриву, обменялись сплетнями о Леньке Мурзине, поудивлялись тому, что Верный и Угадай куда-то запропастились; после картошки с салом и малосольными огурцами мужчины поразговаривали о среднем брате Федоре, которому надо бы сшить суконные штаны — старые уж плохи, затем стали пить чай. А когда и с чаем покончили, дядя Петр Артемьевич, подвигав со значительностью бровями, сказал сыновьям:

— Вы давайте-ка валите своей дорогой, а мы с матерью да Раухой еще побеседуем.

Хитро посматривая на сестру и подмигивая, братья вышли за калитку, тетя Мария Тихоновна села на кончик скамьи, а дядя Петр Артемьевич, закулив тоненькую папиросу «Норд», чужеродно кашлял и угнезжился на скамейке, что предвещало серьезный разговор. Не обращая на него внимания, Рая неторопливо прихлебывала чай из фаянсовой чашки, держала ее в растопыренных пальцах, а на лице стыло мудрое бабье выражение, делающее Раю похожей на тетю.

Усевшись наконец за стол, тетя Мария Тихоновна бесшумно хлебала уху, посмеиваясь чему-то, глядела вдаль, за реку, где горел непотухающий рыбацкий костер. Гладкое загорелое лицо тети было добрым, счастливым тем счастьем, которое прошло по улице вместе с тремя парнями, сидело за столом в обличье грозного мужа, улыбалось лицом племяшки. Все в жизни

тети Марии Тихоновны было ладным и правильным, никакого горя она не знала с тех пор, как муж вернулся из партизан, и никакого горя не мерещилось на чистом небе, в той стороне реки, где розовел костер. Вот и была она счастлива, вот и улыбалась невесть чему, безмятежная и ласковая.

Иногда дядя и тетя косились друг на друга, встретившись глазами, опускали взгляды, и Рая понимала, как им хорошо вместе, как они дружны, согласны, помолодому привязаны друг к другу. У дяди было узкое темное лицо, светлые усы торчали лихо; весь он был здоровый, крепкий, широкоплечий, такой же молодой под одеждой, как тетя. Петр Артемьевич и Мария Тихоновна спали всегда вместе, крепко обнявшись, но никогда не целовались, и если хотели показать нежность друг к другу, то дядя прикасался рукой к плечу тети или тетя как бы невзначай толкала мужа плечом.

— Ты чего помалкивашь, Раюха? — сощурившись от папиросного дыма, спросил дядя. — Может, слово дала с нами не говорить или важная стала, что в невесты выбилась? Это, конечно, дело большое, но ты нам хоть словечко-то подари...

Выслушав дядю, Рая аккуратно поставила чашку на край стола, подумав, сдвинула темные колотовкинские брови.

— Я вас люблю! — сказала она громко, но не улыбнулась, когда тетя и дядя, как и следовало ожидать, смутились. Петр Артемьевич только крякнул, а Мария Тихоновна прикрыла рот концом цветастого фартука. Поэтому Рая поглядела на них совсем сердито, недовольная поведением дяди и тети, хотела было построжиться над ними, но вдруг смиростивилась — уж очень они были смущенные, уж очень терялись от обыкновенного слова «люблю»...

— Вы у меня шибко хорошие, язвы-холеры! — поджимая губы, сказала Рая. — Вы у меня такие холеры, что просто не знаю какие...

Тетя и дядя засмеялись; переглянувшись быстро, опять засмеялись... А закат все розовел да розовел, река, наоборот, темнела, кедрачи становились густо-синими, а на обласках и лодках, которые пересекали Кеть, рыбаки веслами работали старательно, так как все-таки сильный стрежень имела коричневая Кеть — приток великой реки Оби, и, чтобы пересечь ее, рыбак Николай Кульманакон делал двести сорок гребков узким остяц-

ким веслом, доводил себя до легкого пота, но причаливал к противоположному берегу как раз напротив деревни — не давал стрелю ни на метр сносить легкий обласок...

— Тебе не надо ходить взамуж, Раюха,— глядя на Заречье, сказал Петр Артемьевич.— Чего тебе торопиться, когда надо образование поиметь, в инженерши выйти... Ты ведь взамуж всегда успеешь, племяшка!

Проговорив это, дядя нерешительно повернулся к Рае, помигав, жалобно скукожился — заузил плечи и опустил голову, а лицо у него сделалось такое, словно дядя знал, что из его слов никакого толку не выйдет. «Ты меня, конечно, не слушаешься, Раюха,— сказали согбенные плечи и печальные глаза дяди.— Ты, конечно, выскочишь взамуж, но кто-то же должен тебя попросить не торопиться?... Вот я и прошу!»

— Ты бы все-таки вышла в инженерши, Раюха! — повторил дядя.— Ежели брат Миколай об этом думку имал, ты постаралась бы... А?

Рая затаила дыхание, затем, подняв невесомую руку, пощипала себя пальцами за нижнюю губу.

— А, Раюха? — переспросил дядя.

Девушка по-прежнему не дышала, сидела неподвижно, но ее ладная головка медленно поворачивалась в сторону улицы и реки... С миром что-то случилось: подпрыгнув в гофрированном мареве, увеличился в размерах соседний дом, потоньшал и возвысился старый осокорь, берега Кети раздвинулись, точно хлынуло половодье. Потом в мире совершились мелкие изменения: кедрачи стали только синими, луна оказалась совсем прозрачной, а собственные руки приобрели вес... «Я не знала, что могу стать женой,— замедленно подумала Рая.— Я не знала, а вот дядя говорит...» И тут она услышала досадливое восклицание тети, почувствовала на плечах теплую и сильную руку.

— Ну, это не человек, а одна напасть! — сердито проговорила тетя.— Ну вот, чего же ты произвел с Раюхой, что она вся обмерла? Да какие же ты имашь права на такое, старая ты дурака!

Рассердившись окончательно, Мария Тихоновна погрозила мужу большим кулаком и, обхватив племяшку обеими руками, заговорила напевно и ласково.

— Ой, да не слушай ты, Раюха, что этот злыдень говорит! Ой, да не обращай ты, племяшка, на него вниманья! — Тут она шмыгнула носом и прослезилась.—



И приданое тебе, Раюха, слажу, и свадьбу сготовлю, и обряжу тебя, и все, как у людей, будет... Так что не слушай ты дядьку-то, Раюха! Не слушай...

Руки у тети были сильные, Рая под их тяжестью сгибалась все ниже и ниже — до тех пор, пока не уткнулась лицом в теплую и большую грудь тети, и, чувствуя, что другого выхода нет, медленно и сладко заплакала. Чтобы удобно делать это — плакать, Рая обхватила Марию Тихоновну руками, прижалась к тете щекой.

— Ой, да что вы со мной производите! — тоже запричитала Рая, не подозревая о том, что причитает. — Ой, да за что мне такие мучения!.. То иди замуж, то не иди замуж... Да кто вам сказал, что я собираюсь замуж? Кто вам наврал такое, если я вовсе и не хочу идти замуж... Не собираюсь я идти замуж — вот что...

После этого Рая почувствовала, что под щекой уже нет мягкой груди, на которой так удобно плакать, что руки тети разжались и что вообще Рая плачет не в Марию Тихоновну, а в пустоту: тетя, оказывается, отодвинулась и сурово покачивала головой, а дядя задрал на лоб обе брови.

— Это почему ты не собираешься взамуж? — спросил дядя и замигал. — Как это не собираешься, ежели гуляшь с Натолькой?

Дядя посмотрел на тетю, тетя — на дядю, оба пожали плечами. Тетя, въедливо поджав губы, проговорила осторожно:

— Уж не жалашь ли ты, Раюха, просто так гулять с Натолием?

— Это позоришша! — стукнув кулаком по столу, загремел Петр Артемьевич. — Это не то что стерпеть, это я помыслить не могу!

— Правильность! — тоже разгневалась тетя. — А ты чего, Раюха, глаза-то воротишь?.. Ох, девка, ты эту моду — глаза воротить-то — бросай... А ну глянь на меня прямо... Глянь, глянь!.. ты вот что, отец, — обернулась она к дяде. — Ты вали-ка по своим мужчинским делам... Вали, вали, пока греха нету! Улепетывай, отец... Вон и Раюха над тобой улыбается, такой ты есть заполошный... Ишь, чего про нашу Раюху удумал!

Когда дядя, сердито оглядываясь и ворча, удалился, тетя опять придвинулась к племянке, обняв ее, сказала:

— От этих мужиков один грех! С ими повяжешься, Раюха, так голова у тебя кругаля дает... С мужиками

строгость нужна, но и обхождение. Вот ты думаешь, что мой-то Петра всегда такой славный да пригожий был? Да ни сроду! Он в парнях такой выжига был, что сразу тебя лапаты! Сколько я об него рук отмочалила — это тебе не рассказать! — Она тихонечко засмеялась. — Конечно, побаловаться парень должон, на то он и парень, но ты его — по носу! Вот таким макарот делай кулак — и по носу!

Тетя сжала пальцы и показала ядреный, темный от загара и блестящий кулак.

— Ты его по носу, Рауха!

17

И был субботний вечер, и снова жаловался на скуку в тальниках коростель, и снова солнце садилось при луне, словно они не хотели разлучаться — солнце и луна, свет и темень. пылал всегдашний костер на левобережье, всходила зеленая звезда, с которой начинался каждый день Раи Колотовкиной, и эта звезда была большой.

Баянист Пашка Набоков играл грустный вальс «На сопках Маньчжурии», шаркали по твердой земле подошвы сапог и тапочек, девушки смеялись приглушенно, а младший командир запаса Анатолий Трифонов тоненькую Раю Колотовкину в руках держал бережно, откинув голову, смотрел ей в лицо так, как учили на военной службе — прямо, искренне и смело. Рая сквозь зубы напевала вальс «На сопках Маньчжурии», смотрела на младшего командира из-под опущенных ресниц, улыбалась загадочно, на манер Моны Лизы.

— «Спите, герои русской земли, отчизны своей сыны...» — напевала Рая и тоже откидывала голову.

Вместе с Раей кружились дома и Кеть, проплывали синие кедрачи и прозрачная луна, старые осокори и закопченная баня, хороводился палисадник дома деда Абросимова и сам дед, довольный за внучатку. Глядя исподлобья на Анатолия, она видела, как он красив и здоров, понимала, что он добр, по-деревенски хорошо воспитан; глаза у него были влажны и чуточку печальны, губы сжимались осторожно, нежно, брови выгибались, когда она усмеялась. Складчатая юбка девушки широко развевалась, утоптанная земля звенела под ногами — было ощущение полета, невесомости, доброты.

Танцую, они еще не проронили ни слова, но Рая уже

вопросительно поглядывала на Анатолия, ободряя его улыбкой, ждала, когда он начнет говорить.

Однако Анатолий молчал, хотя и глядел на нее смело, и Рая, не выдержав, капризно спросила:

— А почему мы не кружимся в левую сторону, Анатолий Амосович?

Ей было забавно ощущать власть над Анатолием, казаться старше его.

— Так вы умеете кружиться в левую сторону, Анатолий Амосович?

— Не умею!.. Пробовал, но не выходит.

— Сейчас выйдет!

Уверенная в том, что все ей теперь удастся и будет удаваться, Рая, переменив положение рук, взяла Анатолия за талию, смешливо заглянув ему в глаза, стала кружиться в левую сторону, и сразу же все — небо, земля и дома — поплыло в обратном направлении, в голове образовалась сладкая пустота, и Рая беспричинно засмеялась — наверное, оттого, что ей все удавалось, что девочки и парни глядели удивленно, так как в Улыме никогда не танцевали вальса в левую сторону. От Анатолия пахло трактором, у него, как от солнца, суживались зрачки, подбородок был мальчишеский, нежный.

— Вот мы и научились танцевать в левую сторону! — протяжно сказала Рая. — Теперь возьмем меня по-старому и поведем сами... Вот так, вот так... Ах, какие мы молодцы!

Кружась то в правую, то в левую сторону, они изредка прижимались друг к другу, и в эти секунды Рая чувствовала, как мускулиста грудь Анатолия, какие могучие у него руки, а он видел, как хороша Рая — какие у нее красивые глаза, рот, шея.

— «Спите, герои русской земли, отчизны своей сыны...» — пела Рая.

После вальса «На сопках Маньчжурии» они танцевали фокстрот «Рио-Рита», после чего плыли медленно под «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», потом опять кружились в обе стороны под вальс «Дунайские волны»... Этот вечер на деревенской товарочке казался Рае бесконечным, как ее жизнь, напевным, как вальс, и немножко грустным оттого, что Рая и Анатолий чувствовали себя одиноко на танцевальной площадке, хотя народу там была тьма-тьмушая. Однако они никого и ничего вокруг себя не замечали — Рая



так и не узнала, была ли на товарочке раскрасавица Валька Капа, об отсутствующей Граньке Оторви да брось вспомнила мельком, братьев сразу потеряла из виду; она не слышала, как перешептывались девчата, пораженные тем, что Стерлядка танцует, не видела улыбок парней, не одобрявших Анатолия.

Вечер длился вечно, и уж потом, когда Пашка Набоков устал и начал делать длинные перерывы, когда стали незаметно исчезать с товарочки обнявшиеся пары и когда дед Абросимов, привалившись к стене, захрапел громко, Рая пришла в себя и обнаружила, что стоит ночь, настоящая ночь...

Луна уже потеряла прозрачность и светила ярко, хотя время от нее откусило четвертушку, небо сделалось черным, и в мире остались светлыми только дорожка-улица да лунная полоса на Кети — все остальное было темно, как ночь: чернели палисадники, ельник, заречный лес и кедрачи за огородами, а вокруг желтого рыбацкого костра сгущалась такая темень, что брала жуть.

— Проводите меня домой, Анатолий Амосович! — тихо попросила Рая. — Пора уже...

Она давно усвоила патриархальную привычку улымских молодых людей обращаться друг к другу по имени-отчеству и на «вы»; больше не удивлялась этому, а, наоборот, чувствовала особую прелесть выдуманной отчужденности.

— Идемте, идемте! — повторила Рая.

Они пошли отдельно друг от друга, пошли медленно, сдержанными, укороченными шагами, так как за два года до войны в Улыме еще не было заведено обычая брать девушку под руку, а обняться Рая и Анатолий пока не имели права. Под ручку с женой по деревне разгуливал только дядя Петр Артемьевич, но и он это не сам придумал, а был научен кем-то, чтобы показывать пример культурного обхождения с женщиной.

В тишине тревожно лаяла молодая собака, кто-то смеялся за спиной, на дороге похрюкивала свинья тех Мурзиных, у которых брат в тюрьме; она, свинья, была такая вздорная, что никак не хотела ночевать в собственном дворе, а все норовила поспать на деревенской улице да под чужим пряслом, и свинью прозвали Гулеванная. Она и сейчас лежала посреди дороги, постанывая, дрыхла в свое удовольствие — пузатенькая, солидная и такая спокойная с виду, что и не подумаешь про нее: «Гулеванная!»

Сначала Рая и Анатолий шли просто прямо, не задумываясь над тем, куда ведут их натанцевавшие ноги, но метров через триста—четыреста поняли, что приближаются к околице, к тому самому месту, где между двумя кедрами стояла скамейка для усталых путников, одинокая и желтая от луны. Скамейка относилась к тем местам в мире, которые были светлыми, и Рая, конечно, заметила, как между бровями Анатолия появилась стариковская морщина. Она вздохнула и сказала:

— Вот и пришли. Вот и сели.

Было безветренно, глухо, но кедры пошумливали кронами, кто-то шуршал травой, наверное, лесная мышь; младший командир запаса дышал аккуратно, сдержанно, лунный свет сделал его глаза фиолетовыми, руки на коленях лежали неподвижно, словно восковые. Мир постепенно собирался в одну небольшую светлую полоску — скамейка, кедры над головой, два молчаливых человека. Рая чувствовала, как река, небо и деревня постепенно исчезают, тьма заботливо окутывает их жутью, точно рыбацкий костер на левобережье; потом, когда мир окончательно сошелся на ней и Анатолии, время остановилось, покачиваясь, как маятник старинных часов... Рая подобрала ноги, устроившись на скамейке, как на широком диване, спиной привалилась к плечу Анатолия, прислушиваясь к тишине, окаменела. Не было ни желаний, ни мыслей, ни ощущения самой себя, ни пространства, ни времени — только светлая полоска среди тьмы.

...Две недели назад Рая проснулась на рассвете со слезами на глазах, посмотрев на зеленую звезду, растопыренную по-паучьи, подумала: «Пропала я!» За мерцающей звездой, в паутине и серости, голубела Гундобинская вереть, шаталось, готовое пролиться, Чирочье озеро, перекачивалось в березах эхо: «Стерлядка!» Глотая безмолвно горячие слезы, Рая увидела умирающего отца, услышала сдавленный болью голос: «Не хочу оставлять тебя одну! Не хочу!» По пергаментной щеке отца катилась одна-единственная слеза, маленькие от болезни — детских размеров — пальцы беспомощно комкали простыню, умирающие волосы сами по себе лежали на подушке: «Не хочу оставлять тебя одну!» На глазах у растопыренной звезды Рая судорожно вздрагивала, руки разбросила в стороны, чтобы пальцы случайно не нащупали тоненькую талию, узкие бедра, крошечную грудь. «Пропала я! Пропала!» Зеле-

ная звезда все пошевеливалась да пошевеливалась, паучьи ноги выросли и махрились, тянули острые коготки к Раиному лицу; потом паук исчез — слезы застлали глаза...

Очнувшись, Рая затрясла головой, потом засмеялась хрипло — Анатолий по-прежнему сидел рядом, боясь переменить положение плеча, на которое опиралась Рая, смотрел на нее странно-отчужденно и робко, словно подглядывал в щелочку. «Кто ты такая? — спрашивало лицо младшего командира запаса. — Как случилось, что ты опираешься на мое плечо, а я не могу понять, кто ты есть? И почему я, Анатолий Трифонов, сижу с тобой?» И он ошеломленно молчал и боялся дышать, так как, наверное, предчувствовал, что рядом с ним сидит такая девушка, какие несколько десятилетий спустя пойдут десятками по улицам советских городов и сел, заполнят экраны кинотеатров, аэродромы и танцплощадки, а иностранцы нехотя признаются в том, что на московской улице Горького красивых, современных девушек больше, чем на Елисейских полях; итальянки и француженки полнеют рано, американки мужеподобны, а русские девушки семидесятих годов будут стройны, вальяжны и современны. Однако за два года до войны, всего через два десятилетия после революции, призвавшей к власти коренастых, широкоплечих пахарей и кузнецов, таких девушек, как Рая, было мало. Два десятилетия должно было пройти до той поры, когда у пахарей и кузнецов начнут рождаться дети космического века, а пахари и кузнецы, не поняв сразу, как прекрасны их дети, будут ворчать и огорчаться, что юбки на их длинных ногах коротки, что небрежные прически юношей закрывают высокие лбы атомщиков и кибернетиков.

— Обними меня, Толя! — прошептала Рая, сжавшись и вздрагивая от того, что было в глазах парня. — Обними меня, мне холодно и страшно...

Утренняя Раина звезда висела на кедровой ветке, зацепившись за хвою, пульсировала ровно, замедленно.

— Рауха! — волнуясь, прошептал Анатолий. — Ах ты, Рауха-крауха, ах ты, Рауха-матуха...

Когда шаги Анатолия затихли, когда луна начала затуманиваться, а звезды, наоборот, предрассветно засветились ярко, когда в утренней тишине остался толь-



ко один звук — лай молодой собаки, Рая Колотовкина протяжно засмеялась и упала грудью на калитку собственного дома, на теплое и шершавое дерево — так и замерла надолго, дыша запахами земли и речной влажностью.

Молодая собака все лаяла да лаяла, река шелестела, как бумага, по которой осторожно проводят пальцами, под крышей дома возился воробей, не зная, что делать — спать дальше или упасть в теплый воздух, и так бы ни на что не решился, дремал бы только, если бы вдруг ошалело не загорланил заполошный мурзинский петух. Он прокукарекал трижды, потом замолк, набираясь сил, и уж тогда завопил во всю моченьку.

Рая от петушиного крика вздрогнула, подняв голову, укоризненно посмотрела на мурзинский двор и, подумав, передразнила петуха:

— Кука-ре-ку!.. Ишь, разорался!

И опять протяжно засмеялась, так как вся — с головы до ног — была потрясена теплым деревом, тускнеющей луной, запахом дегтя, которым пахли сапоги дяди и братьев, стоящие возле крыльца; шаги Анатолия давным-давно затихли, но ей казалось, что он все еще идет рядом, что его рука лежит на ее плече, а он все растерянно повторяет: «Ах ты, Раюха-краюха, ах ты, Раюх-матюха!» И все это было таким смешным, радостным и неиспытанным, что Рая, обнимаясь с калиткой, ласкала пальцами теплые ее доски, прикасаясь мизинцем к новой вертушке, смеялась тому, что Верный и Угадай молчали сконфуженно — не могли понять, почему стоит возле калитки, а не идет в дом, пахнувший родным запахом, человек; они такие были забавные и растерянные, что Рая снисходительно похлопала их по глупым мордам, потом, сняв туфли, на цыпочках вошла в дом.

В сенях, конечно, оголтело храпели братья, на отдельном козлушке опять лежал Виталька Сопрыкин, что означало драку с парнями каповскими, и Рая осуждающе свела брови, подумав: «Каждый вечер дерутся!» В комнате с раскрытым настежь окном спали, обнявшись, тетя и дядя, во второй комнате — горнице — посередине пола лежала кошка, умудряющаяся спать сутками. А следующая комната была Раиной. Здесь на столе матово поблескивала кринка с молоком, лежали хлеб, сало и кусок холодного вареного мяса. Под столом сидела вторая кошка и неотрывно глядела вверх. Ей Рая сказала:

— Хитренькая какая!.. Это для меня приготовлено...  
Понятно?

Минут через десять, выпив все молоко и все съев, Рая на цыпочках выбралась из дому, остановившись на крыльце, увидела, что ночь быстро бледнела и таяла, луна, сливаясь с небом, словно впитывалась в него, а рыбацкий костер окутался синим дымом, неподвижным и волнистым. Выпала роса, трава блестела и едва приметно шевелилась, сделалась зеленой до того, что казалась синей, и вот от этого — синюшности и тусклого блеска — в лицо Раи подуло холодом и тревогой. «Надо идти к Граньке! — внезапно подумала она. — Надо обязательно пойти!»

Больше ни о чем не думая, не разбираясь в причинах своего поступка и почему-то по-прежнему на цыпочках, Рая вышла на улицу и быстро-быстро зашагала к дому подружки, хотя не знала, что скажет Граньке, для чего бежит к ней на рассвете и почему роса вызывает тревогу и беспокойство.

Бледная заря чуточку высветливала темень сеновала, можно было уже видеть одеяло из разноцветных кусочков, хотя оно казалось серым; полный и круглый локоть закрывал лицо Граньки — лежала она на спине, и было понятно, что не спала долго, все ворочалась да ворочалась — так измученно был перекошен угол подушки, одеяло сбилось... Действуя по-прежнему инстинктивно, Рая проскользнула под одеяло, обняв Граню за твердые плечи, прижалась щекой к щеке подружки и заплакала.

Плакала Рая осторожно и тихо; поздно уснувшая Гранька спала на рассвете крепко, и в одиночестве можно было всласть поплакать. Рая плакала оттого, что у нее убили на колчаковском фронте мать, что умер от старых ран отец, что Анатолий полюбил ее, но не любит Граньку, что братья каждый вечер дерутся с каповскими парнями, что долго стоит хорошая погода, после чего, конечно, начнутся дожди, что за летом последует осень, что Ленька Мурзин выпил почти всю бутылку водки, что ей не хочется читать учебник тригонометрии, что Анатолий уходил домой так неохотно, словно его вели в тюрьму, что он не умеет говорить слово «любовь», что плечо Граньки пахнет полынью и что жить на белом свете хорошо.

Рая уже затихала, уже только крупно вздрагивала, когда проснулась Гранька; долго, наверное, минуты три,

подружка лежала в полной и слепой неподвижности, затем плечи Граньки затряслись, и она тоже заплакала так громко и ровно, словно еще с вечера приготовилась плакать и только ждала момента, чтобы начать. Плача, подружка жарко прильнула к Рае, и Рая тотчас же заревела белугой, как бы обрадовавшись возможности плакать громко и коллективно.

Гранька Мурзина плакала потому, что ее не любил Анатолий, которого любила она, что в соревновании на Гундобинской верети она победила младшего командира запаса, что тяжело крутить заводную ручку трактора, что все в деревне называли ее Гранькой Оторви да брось, что она зарабатывала больше любого мужика в Улыме, что вслед за летом придет осень, что на самом деле она добрая, тихая, деловитая девушка, а вовсе не Оторви да брось и что жить на белом свете все-таки хорошо.

Подружки плакали долго, проливали слезы друг другу на плечи, лежали тесно, горячо обнявшись, и смотрела на них утренняя зеленая звезда, которая и звездой-то не была, а планетой — самой яркой и крупной из тех, что бывают видны в благословенных нарымских краях. Сладко и беззастенчиво плакали подружки, и слезы их смешивались, как два ручейка, были горькими-горькими, а обе плачущие были счастливы молодостью, дружбой, здоровьем, зеленой звездой и сеновалом, на котором пахло покосом; плакали они, не подозревая об этом, от счастья, так как не знали, что всего через два года и с ними, и с Анатолием Трифоновым, и с деревней, и с сеновалом, и с цветастым одеялом, и с зеленой звездой произойдет страшное. Всего два года оставалось до самой большой и жестокой войны в истории человечества, после которой от их сегодняшнего счастья ничего не останется: падет смертью храбрых младший командир Анатолий Трифонов, потеряет левую руку Граня — медсестра саперного батальона, утратит дядю и двух братьев Рая Колотовкина, а деревня Улым превратится в поселок с леспромхозом и сплавконторой...

Кричали на деревне петухи, выходили на крылечки старики в белом, справив надобность, длинно и сладко зевали, поглядев на белесое небо и зеленую звезду-планету, решали, что долго продержится еще хорошая погода. На востоке было светло, и роса чисто сверкала на листьях подорожника, и петухи пели бодро, и воздух



ходил над землей легкий, прозрачный, словно ранней весной.

— Ой, Граня, Граня! — плакала Рая Колотовкина. — Да почему я такая разнесчастливая да такая неудачливая?.. Ой, Граня, Граня, подружка ты моя сердечная!

— Ой, Раюха, Раюха, — вторила Гранька низким бабьим голосом, — да почему такое деется, что нет мне счастья-удачи, да отчего я такая невезучая?.. Ой, подруженька моя ясная!

Плакали они до тех пор, пока были слезы, потом же начали затихать так же медленно, как утишивается нудный осенний дождь, — тучи уже разошлись, солнце уже дважды или трижды проглянуло, а откуда-то еще каплет, что-то еще шелестит и хлюпает. Затихая, подружки швыркали носами, вздыхали, не разжимая рук, старались сделать так, чтобы каждая могла видеть большую зеленую звезду. Наконец они замолкли совсем.

Деревенские петухи разнородно кричали, мурзинский горлодер, конечно, старался перекукарекать всех, довел себя до пропойного хрипа, но все равно не сдавался: настырный был петух и злой, как супоросая чушка.

А немного спустя на колхозной конюшне, проснувшись, заржала кауряя кобылица Весна.

— Скоро вставать, — осипшим голосом сказала Гранька. — Вот и ноченька прошла...

Она осторожно вынула руку из-под Раиной шеи, перевернувшись на спину, трижды вздохнула так, словно ей не хватало воздуха. Гранька молчала долго — минут пять, — потом сказала в темный потолок сеновала:

— Ты не обижайся на мои слова, Раюха, но трифоновская-то мать не хочет, чтобы Натолій на тебе обженивался... У их хозяйство само большое в деревне, так она сомневается...

Выпуклые глаза Граньки блестели.

— Самого-то Амоса Лукьяныча неделю в деревне нету, так его возвращения ждут не дождутся... — Она снова вздохнула. — Натолькина-то мать ногами больная... Вот все и сомневаются...

Граня обратила лицо к подружке, сморщившись, закрыла глаза.

— Сама-то хочет в снохи Вальку Капу. Валька, она шибко удалая, работающая да старательная — лучше ее доярки во всем районе нету... Вот они и ждут не дождутся Амоса Лукьяныча — его слово последнее...

Пахло росой и влажными травами, выцветшее небо казалось застиранным, мурзинский петух уж не кричал, а хрипел перехваченным горлом — прохладно было, тревожно и беспокойно, точно на сеновал заглянул посторонний человек.

— Как это сомневаются? — шепотом спросила Рая. — Что это значит: сомневаются?..

Она поднялась, отряхнув с волос сенную труху, устала в белесое небо.

— Как это сомневаются?..

## 19

Весь тот длинный день Рая ходила по деревне и по двору безостановочно, как чумная, все из рук у нее валилось, губы сохли, глаза блестели, и нигде она не находила покоя — вдруг останавливалась, поднявшись на цыпочки, чутко и болезненно прислушивалась, чтобы уловить гул тракторного мотора, но его не было, так как трактора давно ушли с Гундобинской верети.

Ничего хорошего Рая придумать не могла. Минуты две-три подряд она понимала, что ей не надо так рано выходить замуж, что это безумство — став женой на девятнадцатом году жизни, отказаться от института; в следующие две-три минуты Рая решала, что погибнет, если не выйдет замуж за Анатолия Трифонова, и уже собиралась бежать к Капитолине Алексеевне, чтобы договариваться о месте учительницы первых-вторых классов, которое ей могли предоставить как человеку со средним образованием, а еще через две-три минуты она хотела только одного — зарыться лицом в подушку и ни о чем не думать.

Встревоженная Мария Тихоновна несколько раз перехватывала племянницу на дворе, насильно усадив на скамейку, пыталась разговаривать, но при виде тетки Рая начинала улыбаться лихо, хохотала угрожающим, варнацким смехом и вообще сбивала Марию Тихоновну с толку отчаянностью и бабьей злостью. Рая искусала до дыр маленький носовой платок, вырядившись с раннего утра в сарафан, так затянула пояс, что из-под оборки виделись начала маленьких грудей, и после обеда, когда дядя и братья ушли на работу, найдя пачку дядиных папирос «Норд», закурила, чем перепугала тетю до смерти. Тетя от этого обессиленно шмякнулась задом на крыльцо и, забыв о том, что муж ее —

человек партийный, председатель и бывший партизан, мелко закрестилась: «Свят, свят!»

Анатолий появился в этот день рано, в шестом часу вечера, тоже начал торопливо прогуливаться по улице, и, когда Рая выбежала к нему, ей вдруг показалось, что день был коротким, как мгновение. Потом они о чем-то говорили, куда-то шли — в голубое и прозрачное, с ними происходило что-то такое, что сделало все вокруг зыбким и нереальным, и Рая не поняла, как они внезапно оказались на берегу озера Чирочьего. Однако это было так — вон оно, озеро! — и день, оказывается, уже умирал. Значит, он действительно промелькнул обидно быстро, а как хотелось, чтобы солнце сейчас было ярче, трава зеленей, вода прозрачней и утки летали чаще! Ах, каким коротким оказался день, если солнце уже цеплялось за синие кедрачи, по земле бродили на мягких ногах сонные тени, камыши грустно кивали, а утки, сытые и розовые, нехотя окунали головы в теплую воду!

Рая и Анатолий прилегли на траву, пронизанные тишиной и грустью, замолчали надолго, до тех пор, пока солнце не занилось настолько, что озеро и берег начали окутываться серостью и прохладой. Тогда Рая и Анатолий, не сговариваясь, одновременно поднялись с земли, сцепив пальцы, отдаленные друг от друга на длину вытянутых рук, медленно пошли в деревню. Метров через двести они снова, не сговариваясь, одновременно остановились, исподлобья посмотрев друг на друга, сблизившись, чтобы поцеловаться. Когда им не хватило воздуха, они просто обнялись.

— Ты любишь меня, Толя? — закидывая голову назад, спросила Рая. — Скажи, ты любишь меня?

— Люблю! — помолчав, ответил он. — Ты моя Раюха-краюха!

Дальше они пошли, по-деревенски обнявшись, то есть Анатолий обхватил рукой шею девушки, она обвила рукой его талию, и так шагали тесно, слитно, как бы один человек. До самой деревни они ни разу бы не остановились, если бы Рая могла вспомнить какие-то очень важные слова Анатолия, сказанные им в первые минуты встречи. Однако она забыла, о чем он говорил, а только помнила, что это было что-то значительное, тревожное и обязательное. Поэтому Рая остановилась, заглянула Анатолию в лицо.

— А что ты мне сказал тогда, когда я уронила на



землю платок? — спросила Рая удивленно. — Ты мне что-то сказал, а я не слышала.

— Я сказал, что под вечер вернется отец, — ответил Анатолий и выпрямился. — Он сейчас, поди, уже дома...

Рая ойкнула, уронив голову, тяжело привалилась к Анатолию — было темно и страшно, как на Гранькинском сеновале, а потом произошло такое, что Рая опять почувствовала себя проснувшейся: заметила, что они давно подошли к деревне, уже осталась позади скамеечка под двумя кедрами, и даже начались первые дома, палисадники и лавочки, на которых сидели старики и старухи.

Дома, палисадники и улица тоже казались серыми, как Гундобинская вереть, только окна чуточку розовели, прозрачные тени были глухими; мир переживал как раз те минуты, когда день переходит в вечер и на короткое время все вокруг теряет цвет. Несколькими мгновениями позже мир приобретет новые, вечерние краски, но сейчас все серо, бесцветно, бесприютно...

— Ой, Толя, — шепнула Рая, — ой, Толя, почему они так смотрят?

Старики и старухи действительно глядели на Раю и Анатолия необычно, то есть глаза у них были добрые, ласковые и безмятежные, но на лицах можно было прочесть терпеливое ожидание печальной неизбежности; старые старики и старухи на Раю и Анатолия смотрели так, как немой глядит на слепого, когда тот делает последние шаги к зияющей яме.

— Отец приехал! — тоже прошептал Анатолий, инстинктивно прижимая к себе Раю. — Отец, говорю, приехал...

Деревня Улым состояла всего из одной длинной улицы, прямой по той причине, что река Кеть до излучины была тоже пряма, как натянутая леска, и поэтому можно было видеть, что от околицы до околицы деревни нет ни одной пустой скамейки — на всех сидели старики и старухи, выбравшиеся на улицу в полном составе оттого, что полчаса назад на жеребчике Ваське по пыльной дороге проехал решительной иноходью Амос Лукьянович Трифонов, спрашивая на ходу, где сейчас находится его единственный сын.

— Ой, Толя!

Сера и бесцветна была улымская улица, висело над ней серое небо с серой половинкой луны, и даже низ-

кое солнце в эти мгновения казалось серым. Стариковские скамейки, делающие деревенскую жизнь публичной, стояли возле каждого дома, и поэтому идти по улице было так же страшно, как сквозь строй солдат с визгливыми розгами.

Рая побледнела, осунулась, у Анатолия на скулах набухали желваки.

— Ну, поглядим! — шепнул он с угрозой. — Ну, погоди!.. Пошли, Раюха, не бойсь!

Еще вчера и позавчера старики и старухи, заметив Раю и Анатолия, дальнорко прищуривались, склоняли головы на плечо, притихали так, словно вглядывались в самих себя, вспоминали, наверное, молодость, своих женихов и невест, свою молодую Кеть и свой молодой месяц. Сегодня старики и старухи жили только в настоящем, в предчувствии печальной неизбежности, и поэтому были преувеличенно вежливы — привставали со скамеек, отвешивая Рае и Анатолию поясные поклоны, ласково морщили губы: «Бывайте здоровехоньки, Раиса Николавна! Всего вам хорошего, Натолій Амосович!»

Дом Трифоновых приближался, уже были видны подробности тальникового прясла и резных наличников, уже проглядывал сизый дымок дворовой печурки, и уже можно было заметить кривоногую по-кавалерийски и сутуловатую фигуру Амоса Лукьяновича, энергично расхаживающего меж крыльцом и колодцем. Его жена Агафья Степановна — женщина с толстыми, прозрачными ногами — стояла возле печурки, так как пришло время ужина. И на колотовкинском дворе тоже можно было наблюдать оживление, хотя до него было в два раза дальше, чем до дома Анатолия.

— Ничего, не бойсь! — опять прошептал Анатолий и остановился, чтобы снять руку с плеча Раи. — Не бойсь, Раюха-краюха!

Он, как гимнастерку, одернул белую вышитую рубаху, выпятив квадратный подбородок, расправил грудь, а Рая почувствовала, что ей холодно без руки Анатолия на плече и что она сделалась от этого легкой, как дымок над печурками, и серой, как все вокруг. Она зябко поежилась, задрав голову, смотрела на Анатолия доверчиво, сразу поняв, что ей сейчас надо делать только одно — подчиняться Анатолию, ни о чем не думая, ничего самостоятельно не предпринимая. Неожиданно она обнаружила, что у Анатолия холодные серые глаза и по-мужичьи широкая шея с продолговатыми выпук-

лыми мускулами. Он хмурил брови, зубы стиснул, потом взял жесткими пальцами Раю за локоть, больно сдавив, молча повел за собой — с неласковым лицом, с угрюмыми глазами.

— Бывай здоров, батя! — пройдя вместе с Раей в калитку, спокойно поздоровался Анатолий. — Дравствуйте и вы, мама!

Давно заметившие сына и Раю, муж и жена Трифоновы подчеркнуто медленно обернулись, вежливо ответив на приветствие, начали глядеть на Раю бесцеремонными немигающими глазами, отчего девушка сначала чуточку попятилась, затем, освободив локоть от пальцев Анатолия, напряглась, вытянулась, сделалась особенно высокой и тонкой — так и замерла перед беспощадным бабьим взглядом Агафьи Степановны и мужичьей вездливостью Амоса Лукьяновича. Что думали муж и жена Трифоновы о Рае Колотовкиной, ей знать было не дано, так как ничего нельзя прочесть на лицах коренных нарымчан, если они, нарымчане, думают об отвлеченном. Поэтому на лицах родителей младшего командира запаса ничего ровнешенько не было, плохо или хорошо они относились к Рае, установить было невозможно, и дело кончилось тем, что Рая все-таки опустила голову, а хозяин дома Амос Лукьянович вежливо сказал:

— Чего же это мы стоймя-то стоим? Ведь проходить надо, усаживаться как следоват...

Сразу после этих слов вперед выступила Агафья Степановна, вытерев уголки губ фартуком, поклонилась Рае в пояс.

— Ты прохаживай, касатушка! — ласково сказала она. — Ты садись-ка вот на скамеечку-то, нога под тобой не казенная... Натолый, ты прими у своей крали-то косынку, чего она ее пальцами-то мучит...

Теперь у родителей Анатолия были добрые и хорошие лица, по которым понималось, что они по-настоящему рады госте, что готовы сделать все, чтобы Рае было уютно в их чистом дворе. Агафья Степановна суетилась, смахивая со скамейки пыль, сам Амос Лукьянович, стыдливо прикрывая волосатую грудь ладонями, отступал задом, задом, чтобы взять незаметно сатиновую рубашку да надеть ее при госте. От суматохи и шума на крылечко торопливо высыпали сестры Анатолия, любопытные, и многочисленные, и разных возрастов, жадно рассматривали на Стерлядке городской нахальный сарафан, но лица у них были почтительные.



— Присаживайся, касатушка, бывай гостенькой, славная, не побрезгуй простым угощением, милая! — напевала между тем Агафья Степановна. — Девки, чего же вы стоите! Тащите рушник да мыло...

Натянувший на плечи сатиновую рубаху Амос Лукьянович уже причесывал перед осколком зеркала лихой кавалерийский чубчик, Агафья Степановна тоже незаметно поменяла будний фартук на праздничный, а сестры уже выносили вышитое красными петухами домотканое полотенце и кусок туалетного мыла. И сестры успели переменить кофточки, причесались наскоро, втиснули полные ноги в тапочки, отчего вид приобрели праздничный.

— Отужинай с нами, касатушка, — все приглашала Агафья Степановна, суетясь. — Чем богаты, тем и рады!

Весело, уютно, славно сделалось на трифоновском дворе, но Рая не могла понять, почему Анатолий все еще озабоченно хмурится, глядит исподлобья, стоит так, словно не знает, что делать: приглашать Раю за стол или уводить ее со двора. Поэтому Рая наклонилась, чтобы взять Анатолия за руку, нашла было уже его твердые пальцы, однако они ускользнули.

— погоди! — шепнул Анатолий.

За спиной Раи раздались шаркающие шаги и кашель, потом послышался скрип и тяжелый вздох. К трифоновскому двору подошел дед Абросимов, молча положив руки на прясло, не здороваясь, начал разглядывать хозяина и хозяйку, сестер, Раю и Анатолия; дед загибал на лоб тяжелые брови, покусывая запавшими губами клочок трехцветной бороды, не произносил ни слова и, видимо, не чувствовал неловкости оттого, что приплелся непрошено. Еще минуточкой позже к пряслу пришагал старый рыбак Мурзин, прозвавший Раю Стерлядкой, и молча повторил все то же, что делал дед Абросимов. Потом на ватных ногах прибыл третий дед — прародитель всех улымских остяков Иван Иванов. Старики сопели, помаргивали и были серьезны, как на колхозном собрании. Изредка дед Абросимов косился утешительно на Раю: «Ничего, ничего, внучатка! Обойдешься как-нибудь...»

А мир, превозмогая унылую серость, бросался с размаху в разноцветье и вечернюю запашистость; всего на волос пропустилось к западу солнце, только несколько крохотных лучей, выпроставшись из серости, брызнули в стороны, как произошло то, что происходит с перевод-

ной картинкой, когда с нее сдергивают мокрую бумагу,— засияло, заблестало и заторжествовало все вокруг. Каким высоким и голубым оказалось небо, какой настырно-коричневой была река, какими синими тонами ударили во все стороны кедрачи, словно бы выпрыгнув из самих себя! О, мир был ярким, как кровь, только что хлынувшая из раны, а как пахнул он, этот вечерний мир! В нем благоухало все, что хотело и умело пахнуть.

— Шу-шу-шу! — вдруг зашептались старики возле тальникового прясла и головами закачали так, как это делают тальники, когда с озера неожиданно срывается теплый ветер.— Шу-шу-шу!

Подбочениваясь и закидывая голову назад, шла к трифоновскому двору раскрасавица Валька Капа. Она около часу таилась за бревенчатыми стояками, с тех пор терпеливо дожидалась своей минутки, как проехал по Улыму решительной иноходью сам Амос Лукьянович Трифонов, вернувшись с дальних полей. Все-все стерпела Валька Капа: и как Рая с Анатолием шли обнявшись, и как не сразу вошли во двор, и как Рая уже было обрадовалась тому, что на дворе стало весело и уютно. Все это выдержала Валька Капа, но после прихода стариков к тальниковому пряслу поняла, что вот пробил и ее, Валькин, торжественный час, пришел праздник и на ее, Валькину, улицу.

Шагая с такой неторопливостью и праздничностью, что приходилось некрасиво выворачивать наружу носки белых тапочек, держась руками за концы косынки, Валька приближалась к тому месту прясла, где молчали старики, выпуклыми бедрами покачивала открыто, нахальную грудь выпячивала. «Нам терять нечего, наше дело все одно пропащее!» — говорили зеленые Валькины глаза, и незагорелое ее лицо было таким же белым, как тапочки, начищенные зубным порошком.

Подойдя к пряслу, Валька встала неподалёчку от старика Ивана Ивановича Иванова, обнажив белые зубы, ровным голосом поздоровалась со всем честным народом:

— Бывайте здоровехоньки Амос Лукьяныч да Агафья Степановна, доброго вам вечеру, Маняшка, Груня, Лена, Поля да Зинаида Амосовна! И вы здравствуйте, Анатолий Амосович!

Судя по выражению глаз и по напряженным рукам, Валька Капа должна была закричать страшным бабьим голосом, визгливым и оглушительным, но в Улыме

кричать было не принято, и брошенная красавица заговорила так тихо, что сразу стало слышно, как плещет под яром кетская вода.

— Ты бы заздря не радовалась, Стерлядка, что тебя за стол зовут,— сказала Валька Капа.— Ты бы не лыбилась загодя, когда на шотландца схожая...

Набрав полную грудь воздуха, Валька частями выпустила его сквозь стиснутые зубы, сдерживаясь, совсем побледнела.

— Конечно, мы не инженерши,— продолжала она.— Конечно, мы для трифоновских неподходящие, но и ты, Стерлядка, в этом деле сбоку припека... Во-первых сказать, ты, поди, чахоточкой больная, во-вторых сказать, Натолий-то с тобой погибнет! Ха-ха-ха! — вдруг раскатилась Валька.— Ха-ха-ха! Откудова ты взялась такая, что в снохи набиваешься, а тела в тебе нету! Ха-ха-ха! Под тобой нога подломится... Ха-ха-ха!

Незнакомые, темные и слепые силы поднимались, захлестывали Раю, отнимая разум и способность владеть собой, заставили девушку сделаться низкой, сутулой, коренастой; перед глазами на мгновение возникло серое замкнутое пространство неизвестного происхождения, сердце заныло от тоски и безнадежности, а потом случилось такое, чего никто не ждал и ждать не мог.

— Дура! — вдруг сдавленно крикнула Рая и метнулась змейкой к тальниковому пряслу.— Гадина!

Рая по сравнению с Валькой казалась лозинкой рядом со столетним кедром, но колотовкинская кровь и колотовкинский квадратный подбородок бросили девушку на соперницу, сделав мускулистым ее тонкое тело. Испуганно заморгав, отшатнулись от прясла старики, не ожидавшая нападения Валька инстинктивно присела, чтобы прясло помешало Рае ударить ее в лицо.

— Убью! — голосом комдива Колотовкина закричала Рая, перегибаясь через прясло.— Я тебе покажу Стерлядку!

Но уже бросился к девушкам младший командир запаса Анатолий Трифонов, перепрыгнул через прясло к Вальке Капе сам Амос Лукьяныч, да и старики сдвинулись, залопотали.

— Раюха, погоди! — испуганно кричал Анатолий.— Раюха, удержишь!..

Разбросав в стороны мужчин, Рая звонко хлестнула Вальку ладонью по щеке и сделала опять неожиданное — перемахнула пушинкой через прясло, захохотала,



пошла стройненько по длинной улице. Метров пятьдесят она двигалась безостановочно, затем медленно повернула голову назад:

— Плевала я на вас! На всех плевала!

После этого Рая ссутулилась, разжала кулаки и как-то бочком, застенчиво и вяло засеменила в сторону Гундобинской верети — плакать и отчаиваться, страдать и бояться возвращения в деревню.

Рая уже скрылась, когда дед Абросимов по-петушину хлопнул себя длинными руками по коленям, широко раскрыв рот, захохотал беззвучным стариковским смехом.

— Ну, чистая шотландца... Ну, это не внучатка, а одна удовольствия! Ах, ах, пойти народу рассказать...

20

Чтобы не возвращаться в деревню засветло, Рая просидела на берегу озера Чирочьего часа полтора, то есть до той минуты, пока от заката осталась только крошечная бледная полоска. Потом со вздохом поднялась с захламленной земли и потихонечку двинулась домой, решив идти не улицей — черт бы ее побрал! — а задами деревни.

До родной калитки девушка добралась благополучно, никого не встретив, и уже радовалась тому, что в доме все спят: свету в окнах не было, никакого шевеления на дворе не наблюдалось, одним словом, тишь да покой. Проскользнув в калитку, Рая, как всегда, по траве пошла на цыпочках; смотрела она при этом, конечно, под ноги, чтобы не споткнуться и не загреметь чем-нибудь, дышала аккуратно и уж начала было подниматься на крыльцо, как спиной почувствовала что-то постороннее, мешающее, но легкое, словно на плечи упала паутинка.

Обернувшись назад, Рая поджала губы — за столом неподвижно и молча сидели все Колотовкины: дядя, тетя и братья.

— Здравствуйте! — от неожиданности сказала Рая и спустилась ступенькой ниже.

Во главе стола хозяйствовал дядя Петр Артемьевич; на Раином месте сидела тетя, а все остальные располагались так, как им было положено, то есть привычно, хотя все остальное было новым: младший брат Андрюшка не улыбался, дядя не курил перед сном, тетины руки не лежали мирно под фартуком, а устало белели на ко-

лениях, освещенные лунным блеском. Старший брат Василий из лавки торчал прямо и крепко, как гвоздь.

— Драстуй! — за всех ответил дядя Петр Артемьевич. — Ты бы присела, племяшка...

Рая осторожно подошла к столу, аккуратно расправив на коленях складки юбки, села и начала внимательно смотреть на лицо дяди — оно у него было озабоченное и серое, уголки рта опустились, руки лежали на столе непрочной, зыбкой, словно не на своем месте. Он тоже неотрывно глядел на племянку, задумчиво пошевеливая губами, не кашлял чужеродно и не угнезживался на скамейке, как это делал обычно перед серьезным разговором.

Тогда Рая по-трудовому озабоченно вздохнула, склонив голову набок, и, основательно подумав, сказала:

— Сопрыкинская-то корова нашлась... Я домой задуми шла, так видела ее, корову-то...

После этих слов родственники немного оживились: тетя разжала стиснутые губы, братья переглянулись, дядя собрал в кулак пальцы правой руки, а Рая спокойно подумала: «Теперь вы у меня разговоритесь!» Голова у нее слегка побаливала, отчего-то ныла поясница, и, наверное, поэтому не хотелось ни волноваться, ни торопиться, и было такое ощущение, словно она, Рая, распухнув, сделалась большой, крупной и от этого на скамейке сидела тяжело. «Пусть себе помолчат!» — подумала она и положила руки на колени точно так, как тетя Мария Тихоновна.

— Сопрыкинская корова, она шелапутная! — наконец с неудовольствием сказал дядя Петр Артемьевич. — Я, к примеру, еще такой коровы не видывал, чтобы за место дома — на колхозные дворы! Ну вот каждый раз ее от колхозного стада гони... Одно слово: шелапутная!

— А может, она за обобществление, — сказал Андрюшка, но не улыбнулся. — Может, она самая сознательная...

Наполовину откушенный месяц забрался на кончик коловатинского скворечника, покачиваясь, висел на тонких ниточках растопыренных лучей, перед кончиной был уж совсем бледен и немошен, и собаки на него лаяли без ярости, равнодушно, скорее всего по привычке — надо же на кого-нибудь лаять ночью, когда улицы пусты и вся деревня спит. На болотине поквакивали

лягушки, в хлеве сонно возились овцы, чувствующие присутствие хозяев на дворе в неурочный час.

— Амос-то Лукьяныч, когда домой ехал, меня на полях встрел,— сообщил дядя Петр Артемьевич.— Все, говорит, работы на луговине прикончены, рожь стоит хороша, а пшеничка, говорит, подгуляла... Рано, говорит, мы пшеничку-то посеяли... Да-а-а! А потом и спрашивают: «А чего, спрашивают, твоя племянка на учебу не собирается?» — Он повернулся к тете, помигал на нее значительно.— Ты бы не молчала, мать, а словечко бы вставила... Дело это бабье, так ты и рассуди...

Тетя ответила не сразу: долго сидела неподвижно, потом, не меняя положения ни рук, ни ног, ни туловища, медленно повернула к Рае только голову, посмотрев в ее синее от луны лицо, возвратилась в прежнее положение.

— Трифоновские-то, они сроду были невезучие,— сказала Мария Тихоновна таким тоном, словно разговаривала сама с собой.— В Улыме другого такого роду не было, чтобы одне девки рождались... Ты, конечно, Раюха, не знаешь, что у Амоса-то Лукьяныча двенадцать сестер, сам он по счету восьмой, так что до революции беднее их дома в Улыме не было...— Она помолчала.— Лукьян, отец-то Амоса, бывало, лося завалит — на три дня... Голоднуши все, одежонка худа, девкам красную ленту купить не на что... Вот Амос-то и обженился неладно — его Авдотья еще в девках на ноги сядет, как слабые они были, жидкие.

Тетя сняла руки с коленей, поочередно осмотрев их, сунула под фартук — так было привычнее.

— Амос за революцию шибко хорошо воевал,— другим, фартучным голосом сказала она.— И саблю именну принес и пораненный, а вот беда опять приспела: одне девки почали рождаться... Натолый у него пятым выродился, а ведь это позно — четверо сестер уже замуж ушли... Теперь еще двое замуж ладятся...

Говоря все это, тетя ни к кому не обращалась, вид у нее по-прежнему был такой, словно беседовала сама с собой, но все остальные Колотовкины ее слушали внимательно и так напряженно, словно не знали о том, что у Трифоновых на одного сына приходится восемь дочерей.

— После революции Трифоновы хорошо разжились,— продолжала тетя, пошевеливая пальцами под фартуком.— Девки работающие, покуда замуж не вы-



скачат, трудодней ладно получают, да и сам передыху не знат — вот и разжился большим хозяйством...

Шевеля губами, она про себя сосчитала:

— Ну, корова у них одна, телок двое, овечек десятеро да собак трое... А вот с чушками наказание — цельных четверо!

Как только тетя Мария Тихоновна закончила это перечисление, семейство Колотовкиных опять оживилось: дядя начал искать папиросы «Норд», чтобы закурить, младший брат Андрюшка презрительно оттопырил нижнюю губу, а старший брат Василий согласно кивнул. Что касается среднего брата Федора, то он, только вздохнув, сложил руки на груди.

— Теперь ты, отец, говори, — сказала тетя Мария Тихоновна. — Твое слово последнее...

Дядя повернулся к Рае, живо и твердо сказал:

— Мы тебя, Рауха, порешили взамуж трифоновским не отдавать. Дочка у нас одна — чего ее к чушкам ставить. Пушай других дур поишшут!

Было понятно, что эти слова Петр Артемьевич приготовил давно, а решение не отдавать Раю замуж Колотовкины, наверное, приняли коллективно, так как за столом, судя по всему, сидели давно — и дворовая печурка совсем погасла, и чугуны на тычках прясла просохли.

— Отец абсолютно прав, — словами образованного девятиклассника сказал Андрюшка, выбитый из деревенской колеи ответственностью момента. — Надо в институт поступать, а не со свиньями возиться... Погубишь ты себя, Райка, честное слово! Хотела же в политехнический — вот и поступай...

Пока родственники говорили, молчали и подсчитывали, Рая обнаружила, что если прищурить глаз и сделаться неподвижной, то можно заметить, как луна по отношению к скворечнику медленно-медленно, но перемещается. Открыв это, Рая затаила дыхание, стараясь не слушать серьезных Колотовкиных, добилась все-таки своего: дождалась, когда луна острым краем села на конек скворечниковой крыши; это ей доставило большое удовольствие, настроение от лунных штучек-дрычек возникло легкомысленное, и она захохотала бы, если бы не услышала сердитый голос тети.

— Ты чего это выкамариваешь, Рауха? — спросила тетя. — Тебе про серьезное говорят, а ты прищуривашься да не дышишь... Чего это с тобой делается?

— Ничего со мной не делается! — все-таки улыбнувшись, ответила Рая. — Чего со мной может делается, если я не хо-о-о-очу выхо-о-о-о-дить замуж за вашего Натолия?

Голос у Раи был звонкий, мальчишеский, тонкие руки, взлетев, остановились в отрицающем жесте.

— Не нужен мне ваш Натолий! — насмешливо продолжала Рая и показала ровные зубы. — Вон чего еще придумали: Натолий! Да кто это замыслил? Кто, я вас спрашиваю?

Рая хотела совсем грозно встряхнуть руками, расхохотаться презрительно, но голос у нее вдруг сорвался, руки опустились, и слезы медленно потекли по щекам: «Что-то я часто плачу!» — мельком подумала она, затем вскочила и опрометью бросилась к лестнице на сеновал; она спотыкалась и падала, так как руками закрывала лицо, и очень долго не могла подняться по лестнице, переступала ногами безрезультатно, как в кошмарном сне, а луна тщательно освещала ее.

21

И опять деревня Улым жила в нетерпении и любопытстве, так как все узнали, что Амос Лукьянович заезжал к Петру Артемьевичу, что Мария Тихоновна до этого на скамеечке беседовала с Агафьей Степановной, что Стерлядка измордовала — кто мог ожидать! — красавицу Вальку Капу и что Анатолий Трифонов после нападения Стерлядки на Вальку пообещал отцу жениться на Рае обязательно, хотя бы и убегом.

А на следующее утро не спавшая всю ночь Рая к отзавтракавшим родственникам спустилась по лесенке в семь часов, то есть еще до ухода соседей на колхозную работу, держась сухо и официально, сказала так громко, чтобы все окрест слышали:

— Я все обдумала! Выхожу замуж за Анатолия, остаюсь в деревне... Буду работать учительницей.

Соседи эти слова, конечно, услышали, передавая с крыльца на крыльцо, в десять минут разнесли во всю длину Улыма, и началось уж было обсуждение этой новой новости, как случилось еще одно выдающееся событие — по деревне проскакал на веселом жеребчике сам Амос Лукьянович, сидя бочком на казацком седле; от сосредоточенности он ни с кем из встречных не поздоровался; спешившись у сельповского магазина, купил —

батюшки! — четвертинку водки и тем же аллюром пропылил обратно, оставляя за собой недоуменный шум да стариковское оханье.

И совсем уж растерялась деревня и притихла, как перед грозой, когда через полчаса после мужа прошла в сельповский магазин на раздутых водянкой ногах Агафья Степановна. Развязав засаленные концы носового платка, чтобы достать деньги, она купила килограмм конфет-подушечек, граненую бутылочку уксуса — не к пельменям ли? — полкилограмма сахара-рафинада, пачку праздничного цейлонского чаю и — бабы в очереди онемели — зеленую наркомовскую фуражку.

Еще минут через пятнадцать по улице прошла в сарафане и белых тапочках сама Стерлядка. Она, конечно, кланялась гордо — задирала нос, прищуривалась, передергивала плечами, на которых лежал цветастый платок, и даже напевала: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве...» Волосы у нее были уложены на русский прибор.

После появления на улице Раи Колотовкиной никаких больше событий до самого вечера не произошло — Амос Лукьянович на жеребчике не скакал, младший командир запаса вообще не появлялся, председатель Петр Артемьевич, видать, с утра заседал в колхозной конторе, а раскрасавица Валька Капа на улицу и носа не казала. Одним словом, к вечеру деревня успокоилась, вошла, как говорится, в будничный ритм, и старики на своих скамейках посиживали, как им полагалось, смиренно, не шевелясь, чтобы не растративать солнечное тепло.

В девятом часу вечера, ожидая возвращения Анатолия с работы, Рая сидела под двумя безмолвными кедрами, вздернув на лоб бровь, считала на пальцах: «От Хвистаря до Гундобинской верети — пять километров, на Березаньке мосточек унесло, значит, прямой дорогой не поедешь, надо объезжать с километр... От Гундобинской верети до меня километра два... Так чего же я волнуюсь?» Успокоившись на этом, Рая прижалась спиной к теплему стволу кедра и занялась обычным делом — начала ни о чем не думать, хотя мысли время от времени все-таки вкрадывались. Во-первых, думалось о том, какой она будет учительницей, во-вторых, о том, что погода через два-три дня может испортиться, и, в-третьих, о том, что тетя утром в колодце утопила ведро. То ли оно было плохо привязано, то ли



незаметно перетерлась веревка, то ли в колодце что-то случилось, но веревка внезапно ослабла, тетя заохала, вытащив ее остатки, закручинилась. Дядя тут же решил достать ведро багром, тужась и краснея, полчаса шарил в черной воде и ничего не нашел — ведра не было, словно корова языком слизнула.

Вспомнив о ведре, Рая вздохнула, положила ногу на ногу и стала без интереса наблюдать за тем, как к ее скамейке и кедрам, переваливаясь уткой и блистая черным шелком, поспешала Капитолина Алексеевна... Конечно, им предстояло работать вместе, стать коллегами, но это не значило, что Капитолина имела право нарушать Раино уединение; если человек сидит на лавочке под кедрами, значит, ему нравится сидеть уединенно. «Вот кого мне еще не хватало! — раздраженно подумала Рая. — Надо же!» Потом, когда Жутикова сделала на пути к Рае небольшой зигзаг, обходя кочку, за ее необъятной спиной обнаружился еще и припрыгивающий от нетерпения забулдыга Ленька Мурзин.

— Раиса Николаевна, голубушка, что вы со мной делаете? — еще на бегу зачатила Капитолина Алексеевна. — Неужели у вас нет сердца?

Запахавшись от быстрой ходьбы, толстуха дышала хрипло, свистела горлом и безостановочно взмахивала руками в ямочках.

— Как вы можете сидеть, Раиса Николаевна, когда в девять часов начинается концертная программа! — ужасалась она. — Как вы можете быть спокойной, ежели по деревне развешаны афиши? Боже мой! Боже мой!

На ее груди поднималась и опадала брошка величиной в пол-ладони, за пять метров пахло пудрой и одеколоном, а на афише, что висела возле клуба, почерком школьных прописей, то есть самой учительницей, было выведено: «Товарищи! Внимание! Силами художественной самодеятельности будет дан большой концерт. В программе: пение, ритмические и народные пляски, художественное чтение, пьеса А. П. Чехова «Предложение». Начало концерта в девять часов, вход свободный. Руководитель художественной самодеятельности К. А. Жутикова».

— Не надо волноваться, — лениво сказала Рая, жалея о том, что придется отрывать спину от теплого кедра. — Волнения напрасны, если нет жениха... Анатолия-то, говорю, нету...

Как раз в эту секунду из-за спины учительницы возник Ленька Мурзин, перекосив рот, посмотрел на Раю такими умоляющими глазами, словно предполагал, что младший командир запаса сидит в кармане у девушки. Ради большого концерта художественной самодеятельности на Леньке был суконный пиджак с чужого плеча, яловые сапоги блестили, красная рубаша, усыпанная белыми пуговицами, походила на клавиатуру баяна.

— Где Анатолий Амосович? — прижимая ладони к пылающим щекам, вскричала Капитолина Алексеевна. — Где он, когда мы имеем полный клуб колхозников?

— Побегли, Раюха! — жалобно сказал Ленька Мурзин. — Может, Натолй нас в клубе обыскался.

Когда они торопливо шли в сторону клуба, Рая заметила, что стариков и старух на лавочках нет, мальчишки и девчонки на улице не галдели, собаки, задрав хвосты, бежали туда же, куда спешили все жители Улыма, то есть к клубу, и даже рыбацкий костер на левобережье не горел, а чадил, так как и рыбак отправился смотреть большой концерт. Так что тесный клуб народом был набит до отказа, но в нем — тишина, как на берегу Кети, когда приставал кособокий пароходишко «Смелый».

Пробиться через клуб на сцену оказалось трудно, однако в задних рядах дружно закричали: «Пропущайте артистов, пропущайте!» И все трое, быстро пройдя в так называемую гримировочную, печально переглянулись — Анатолия Трифонова здесь не было, хотя другие участники большого концерта оказались в наличии: сидел с баяном на коленях Пашка Набоков, стоял, выставив ногу и выпятив грудь в блестящей рубаше, Виталька Сопрыкин, взгромоздилась на подоконник веселая медсестра Варенцова, ттец-декламатор.

— Где же Анатолий Амосович? — страдая, спросила Капитолина Алексеевна. — Без водевиля мы пропали! Боже мой! Боже мой!

Она покачнулась и села на кедровую табуретку, запахнув сильнее прежнего пудрой и одеколоном, предалась окончательному унынию — начала покачиваться, театрально заламывать руки и стенать:

— Пропали мы пропадом, пропали!

— А кто и не пропал! — нагло улыбнувшись, заявил Виталька Сопрыкин и выступил вперед в своей переливающейся цыганской рубаше. — Я могу все

сполнить, что вы пожелаете... Схотете «Цыганочку» — сполню «Цыганочку», схотете «Ритмичну чечетку» — получай «Ритмичну чечетку», зажелаете «Барыню» — я «Барыню» каблучу... Меня народ уважает, хоть весь вечер сполняй...

— Я могу прочесть большой отрывок из «Хаджи-Мурата», — предложила веселая медсестра Варенцова. — А пока мы пляшем и читаем, отыщется Трифонов.

Медсестра Варенцова человеком была городским, образованным, в Улым она приехала жить с досады, после того как то ли сама ушла от мужа, то ли муж ушел от нее, но что-то такое произошло, и Варенцова оказалась в деревне, где, несмотря на веселый нрав, вела себя замкнуто и нелюдимо — все сидела в крохотном медпункте, что ела и пила, неизвестно, куда ходила по ночам — загадка. В деревне даже поговаривали о том, что Варенцова вовсе и не медсестра, а врачиха, то ли ушная, то ли глазная. Сейчас же Варенцова, сидя на подоконнике, посмеивалась легкомысленно, болтала ногами и наблюдала за Капитолиной Алексеевной.

Режиссерша между тем понемножечку приходила в себя: во-первых, перестала раскачиваться, во-вторых, расцепила руки, а в-третьих, поправила на груди брошку.

— Значица, начнем концерт? — с туманной надеждой спросила она, повертываясь к Варенцовой. — Так что вы предполагаете зачесть?

— Вступление из «Хаджи-Мурата»...

Капитолина Алексеевна нахмурилась, собрала на подбородке четвертую складку, сделав рот ижицей, стала невидяще смотреть на Раю Колотовкину, которая хоронилась в темном углу гримировочной.

— А что-нибудь другое вы можете зачесть? — наконец спросила Капитолина Алексеевна. — Концерт должен быть в разнообразии, в целенаправленности...

Варенцова тоже задумалась. У нее было забавное неправильное лицо, большая голова, выпуклый, почти круглый лоб; одета она была в черную длинную юбку и белую блузку с бантом на груди, из-за чего походила на тех городских комсомолок, которых показывали в кино. Размышляя, веселая медсестра Варенцова морщила лоб, щурилась, наконец, не глядя на режиссершу, сказала:

— Могу прочесть сцену с броневином из романа Алексея Толстого «Хлеб».



— Ой, спасибо, дорогая Лидия Стефановна!

Когда Капитолина Алексеевна, зачем-то пересчитав участников концерта и громогласно прокашлявшись, пошла открывать концерт, Рая последовала за ней, чтобы притаиться за кромкой ситцевой кулисы — слушать, смотреть и ждать Анатолия.

Ленька Мурзин и торжествующий Виталька Сопрыкин раздвинули половины ситцевого занавеса, не стесняясь того, что видны залу, медленно ушли со сцены, освещенной восемью керосиновыми лампами. В первом ряду, как и было положено на концертах самодеятельности, сидели старики и женщины с грудными ребятишками, во втором располагались Мария Тихоновна, Петр Артемьевич и колхозное начальство помельче: счетовод, два бригадира, учетчица Полина Мурзина, кузнец Сопрыкин с обнаженными до локтя руками и черной каймой вокруг глаз; конюх, доярки и председательский кучер занимали третий и четвертый ряды.

Как только занавес открылся, в клубе установилась сплошная тишина: спали мирно грудные ребятишки, мальчишки и девчонки постарше, схлопотав от родителей подзатыльники, сели на пол между сценой и первым рядом, замолчали с открытыми ртами; слышалось хриплое стариковское дыхание, треск сухих скамеек и редкий осторожный кашель.

Тишина длилась минуту, потом на сцену бабочкой выпорхнула на тоненьких ножках Капитолина Алексеевна. Она улыбалась сладко, руки на манер оперных певиц держала сложенными на груди, ногами переступала так, словно под ней был лед.

— Начинаем ба-а-а-альшой концерт! — пропела Капитолина Алексеевна незнакомым голосом. — На-а-а-шу обширную программу открывает Лидия Варенцова! О-о-трывок из романа товарища Алексея Толстого «Хлеб»! Пра-а-шу-уу!

Зал онемел от восторга, так как Капитолина Алексеевна на саму себя походила только шелковым платьем и брошкой, а все остальное у нее изменилось — походка, голос и лицо. Если брови учительницы раньше изгибались нормально — вверх, то теперь, нарисованные черным гримом, изгибались вниз, а рот у нее сделался таким маленьким, словно его и не было, так как Капитолина Алексеевна, закрасив губы гримом тельного цвета, посередке сделала красным маленький бутончик — сердечко. Цenia в артистах больше всего непохо-

жесть на самих себя, зрители от удовольствия аккурратно захохотали и начали шептаться: «Это ж надо! Ну просто не узнать учительшу-то... Бровь-то, бровь-то, а волос-то какой кудрявый... Ну чуда!»

— Просим, просим, товарищ Варенцова! — уходя со сцены, выкрикнула Капитолина Алексеевна.

Городская медсестра вышла на сцену, выбрав такое положение, чтобы лампы хорошо освещали лицо, вдруг решительно и заученно спрятала руки за спину, словно дисциплинированная ученица, вызванная к доске. Голос у нее оказался грудной, спокойный, простой, выговор был старомодным: она говорила не «деремся», а «деремса», не «сердечный», а «сердешный». Имя наркома Ворошилова веселая медсестра произносила с любовью, с такой теплотой, словно знала наркома лично, белогвардейцев рисовала беспощадными разоблачительными красками, и Рая Колотовкина слушала ее очень внимательно, видела все то, о чем рассказывала медсестра, переживала и так увлеклась, что высунулась из своего тайника, когда вместе со всеми горячо аплодировала медсестре. Раю, конечно, сразу заметили, поразившись, зашушукались.

— Стерлядка-то тут! — заговорили женщины с грудными детьми. — Все слушат, глядит, в ладоши колотит... А Натолия-то нету!

Смутившись, Рая торопливо закрылась ситцевой кулисой, полная еще впечатлений от прочитанного отрывка, вдруг почувствовала, как сжалось сердце. Сначала она не поняла, что произошло, потом все стало ясно. Она только на секунду вывалилась из-за кулисы, но, оказывается, успела увидеть и запомнить выражение лица Амоса Лукьяновича Трифонова, который бурно аплодировал медсестре Варенцовой, шурясь от удовольствия, что-то шептал, благодушной по-праздничному жене, и по всему этому было понятно, что они совсем не беспокоятся о пропавшем сыне. «Странно!» — подумала Рая.

— Сыледущим номером на-а-а-ашей ба-а-а-льшой программы будет пляска «Цыганочка», которую под баян товарища Набокова сполнит товарищ Сопрыкин!

Словно через туман, Рая увидела, как ленивой и небрежно-томной походкой на сцену вышел Виталька Сопрыкин с занавешенным волосами лицом. Естественно, что он ничего не видел, и женщины с грудными детшками испуганно отстранились, когда Виталька до-

гулял до конца сцены. Здесь он все-таки остановился, выставив ногу, сквозь зубы приказал:

— Маэстров, давай!

После этого Виталька знаменитым головным жестом забросил волосы назад, встав на цыпочки и угрожающе заблестав рубахой, прошелся по сцене на тигриных бесшумных ногах; потом оглушительно свистнул, грянул баян, и началась такая пляска, от которой у Раи потемнело в глазах; охваченная тревогой и большими предчувствиями, она вскочила, открытая всем взорам, бросилась в гримировочную, распахнув окно, вылезла на улицу.

Было время лунного яркосияния, весь мир состоял только из белых и черных тонов, словно передержанная в проявителе фотография, а оттого, что все были в клубе, Улым казался вымершим. Окрест не слышалось ни звука, не виделось движения, и съезжившаяся от прохлады Рая подумала, что цокот конских копыт в такой тишине слышался бы километра за два до околицы. Однако деревня лежала под луной немая и от этого страшная — стояли на берегу неживые осокори с жестяными листьями, лунная полоса на воде казалась вставной и тоже металлической, сама луна висела одиноко, словно над выжженной зноем пустыней; все вокруг было первобытно, дико, и Рая оглохла от тишины. Так продолжалось до тех пор, пока стены клуба не просочили сквозь себя далекий мотив «Цыганочки». Услышав музыку, Рая подумала: «А Райка-то Колотовкина пропала! Пропала Райка...»

— Река называется Кеть! — неизвестно почему и для чего прошептала она. — Течет река Кеть...

Рае на мгновение показалось, будто стало легче оттого, что за Кетью непрошено гугукнул сыч, но это было обманное ощущение, так как несколькими секундами спустя она поняла: нельзя неподвижно стоять на месте. Если бездействие продлится еще две-три секунды, она зарыдает и упадет грудью на траву, чтобы биться и задыхаться.

Инстинктивно оберегая себя, Рая начала действовать. Бросившись к дверям клуба, она растолкала сгрудившихся в дверях парней, пробившись сквозь них, требовательно крикнула:

— Дядя! Петр Артемьич, выйди на улицу! Выйди скорее!

Дрожа от нетерпения, Рая ничего не видела — пе-



ред глазами по-прежнему висела в пустоте луна, стояла черно-белая деревня, на реке лежала металлическая полоска; поэтому Рая не заметила, как Виталька перестал плясать, как зрители расступились перед дядей Петром Артемьевичем. Рая пришла в себя только тогда, когда дядя схватил ее за руку и спросил испуганно:

— Ты чего?

— Где Анатолий? — шепотом спросила Рая. — Дядя, ради бога, скажи, где Анатолий? Я тебя прошу, дядя, скажи мне... Скажи!

Последние слова Рая произнесла почти неслышно, отступая и почему-то усмехаясь. Она увидела, что дядя опустил голову, переминаясь с ноги на ногу, потемнел лицом, то есть покраснел; плечи у него сделались узкими и жалкими; мало того, он начал ковырять носком сапога сырую траву, как мальчишка, пойманный на огородах с чужим огурцом.

— Ну! — крикнула Рая. — Ну, говори!

— Ты не жди Натолія, племяшка! — страдая, сказал дядя. — Он две недели в деревню казаться не станет... Его до той поры не будет, пока ты в город не съедешь... «Смелый»-то приходит через пять ден...

Густая черная тень клуба падала на дядю, он был бы почти не виден, если бы не белая рубаха под пиджаком да не седые волосы; за спиной дяди под завалинкой сидели тихие собаки, глаза у них горели желтым светом, и, наверное, от этого они — молчаливые и добрые — походили на сытую волчью стаю.

— Ну ладно! — спокойным, холодным голосом произнесла Рая. — Все это прекрасно, но вот сейчас ты мне скажешь, где Анатолий... Ну-ка, подними голову, дядюшка, и говори, где Анатолий... Быстро!

— Знать не знаю! — пробормотал дядя и, помолчав, сказал тоскливо: — До чего же ты, Раюха, на брата Николая схожая! Тебе бы дивизией командовать...

— Где Анатолий? Говори!

— На заимке! — тихо ответил дядя. — На Васютинской заимке...

Рая четко повернулась, прижала локти к бокам и по-спортивному легко побежала к дому Граньки Оторвида брось, которая на концерт из-за ссоры с Капитолиной Алексеевной не пошла и спокойно спала себе на

душном от сенных запахов сеновале. Рая бесцеремонно растолкала ее, дрожа от нетерпения, крикнула:

— Поехали на Васютинскую заимку! Поехали, поехали!

На дальнюю Васютинскую заимку они прискакали на рассвете. Так как Рая не умела ездить верхом, пришлось запрячь Тренчика и трястись в жесткой безрессорной двуколке. Застоявшийся жеребчик рвал и метал в коротких оглоблях, летел по темной тайге смело, за несколько минут до рассвета завязил двуколку в трясине, но, понатужившись, выволок на простор и поскакал дальше неумелым галопом. Молодому жеребчику, наверное, передалась тревога девушек; взволнованный, он мчался напропалую, прижав уши к костистому черепу, распушив хвост, брэнча накладной уздечкой. Незадолго до заимки Тренчик, видимо, почувствовал горячими ноздрями медвежий дух, перепуганный, задрожал так, что по широкому крупу прокатилась блестящая волна.

Гранька и Рая всю дорогу молчали, но сидели тесно, одна к одной, как патроны в обойме. Рая с каждым часом все отчаянней бледнела, Гранька, наоборот, злилась, фыркала от нетерпения; она правила лошадей умело, вожжи держала широко, хорошо зная тайгу, выбирала тайные тропки — все спрямляла и спрямляла путь. Когда Тренчик почуял ноздрями медвежий дух, Гранька выхватила из-под сиденья одноствольное ружье, положила рядом.

Васютинская заимка показалась все-таки внезапно, хотя за полкилометра до нее Тренчик заржал, ему тут же ответил лошадиный голос, а скоро появилась и сама лошадь, прыгающая навстречу Тренчику спутанными ногами, это был известный Рае жеребчик Васька, веселый и резвый иноходец.

Под замшелыми раскидистыми лиственницами стоял дом не дом, сруб не сруб, а небольшая крепость, сложенная из очень толстых бревен, защищенная от медведей и волков островерхим частоколом — тоже из толстых бревен; вместо окон — щели; наверху росла трава и торчала жидкая осинка. Строение топили по-черному, как баню или курную избу, поэтому над дверью бархатилась сажа и пахло дымом пожарища.

Рая осторожно вылезла из двуколки, разминая затекшие ноги, подняв голову, прошла вдоль городьбы. Дойдя до ворот, она остановилась, провела ладонью по лицу, словно умывалась; лицо у нее было туповатое, глаза остекленели... Не сон ли это? Не выйдет ли из-за лиственниц подпоясанный лыком мужичок с ноготок, не проскачет ли на сером волке Аленушка с Иваном-царевичем, нет ли под домом курьих ножек? Стояли сказочные деревья, обросшие бородами мхов, солнце сквозь ветви не могло пробиться, тишина была особой — вязкой и липучей; птицы — молчаливые, скучные; высоко-высоко в макушках лиственниц пошумливало, погуживало, но шум этот был не земной — небесный.

Рая замерла. Опять увиделось серое замкнутое пространство с перекошенным полом и потолком; оно мерцало и покачивалось, уютное и одновременно жутковатое, вызывало сладкую боль под сердцем, туманило голову. Что все это значило? Почему видение серого пространства так часто приходило к ней, доставляя радость и страдание?

Вокруг гудели миллиарды комаров, подружка Гранька уже надела накомарник, от этого походила на лиственницу — такая же слепая, глухая, дремучая, и Рая затаила дыхание — первобытное существо в накомарнике в серое пространство вошло, как в собственный дом, принадлежа ему, заняло центр, захватило все главное. «Что это?» — подумала Рая и почувствовала, что кожа лица, рук, шеи запылала — тысячи комариных жал вонзилось, сладострастно замерли.

— Надень накомарник-то! — голосом из прошлого сказала Граня. — Они тебя до кости обгложут...

Надевая накомарник, Рая подумала, что без комариного гудения тишина была бы непереносимой, так как в мире время от времени возникал только один звук: Тренчик брэнчал уздечкой, видимо, потому, что морда лошади покрылась шевелящейся толстой шерстью из насекомых; только глаза просверкивали через комариновую бахрому.

— Надо взбудить Натолия-то! — деловитым шепотом произнесла Гранька. — У него в займке дымокур.

Из щелей дома на самом деле струился сизый дымок, выползал исподволь, неохотно, точно его выгоняли насильно, но, выбравшись на волю, тут же расстился по земле — таким неподвижным и сырым был воздух.



Когда Рая медленно пошла к дому-крепости, она ощутила, что воздух густ и тяжел. Она остановилась в трех метрах от задымленных дверей, собираясь с силами, внезапно отстраненно подумала: «Зачем?»

— Не бойсь! — прошептала за спиной Гранька. — Входи, не бойсь...

Рая вошла. В темени и дыме сначала ничего разглядеть было нельзя, но через несколько секунд она легонько подалась назад, сорвав с головы накомарник, прислонилась спиной к дверной стойке... Вот оно — ее серое замкнутое пространство! Уходил к невидимой стене скошенный земляной пол, бревенчатый потолок был изогнут в противоположную сторону, все серое пространство было уютным, трепетным, как щелочка между сложенными ладонями, что-то убаюкивающее по-маргивало, переливалось, а потом из перекошенной серости возник молодой голос: «Ах ты, Раюха-краюха, ах, как плохо мы себя ведем...» Голос не принадлежал Анатолию, хотя было сказано «Раюха-краюха». Голос шел издали, из такого необозримого прошлого, что сердце замерло, но затем ударило четко, с болью — сквозь дым запахло свежей кожей, махоркой и горящей газетой.

Боже мой! Рая уже была когда-то в доме-крепости, прижималась спиной к дверному косяку, видела свет сквозь щели-окна; она ходила по косому полу, спала под кривым потолком, вдыхала запах гари и жирной сажки. Хотелось попятиться, исчезнуть, но мешала дверь, и сквозь боль пробивалась непонятная сладость, словно к сердцу прикладывали теплое. Боже мой! Отчего хочется радостно плакать, почему так притягательно, но и страшно серое пространство?..

— Взбуживай Натолія-то, взбуживай!

В обретенном пространстве, оказывается, спал Анатолий. Рая встряхнула головой, несколько раз зажмурилась.

Анатолий спал на громадной лежанке — от стенки до стенки; слева темнела банная печь-каменка, из стен торчали деревянные штыри, на них висели ружье, два мешка с продуктами и мешок с бельем; на столе стояла эмалированная кружка, чугунок с картошкой в мундире, высилась горка крупной соли, лежала коврига черного хлеба; в середину стола сильным ударом был вогнан длинный охотничий нож. Анатолий спал в одежде, лежал на спине, дышал трудно, весь был напряжен, натянут; словно видел плохой сон.

— Толя! — позвала Рая.

Он проснулся по-таежному быстро, сразу встал на ноги и надолго закашлялся, сгибаясь и держась за грудь руками — от дымокура, от сырости, от мгновенности пробуждения.

— Драствуйте, Раиса Николавна... Драствуйте, Аграфена Петровна... — посмотрев запавшими глазами на Раю и Граньку, сказал Анатолий.

Рая молчала. Заспанный, грязный, несчастный человек стоял перед нею, весь он был не таким, к каким людям привыкла Рая Колотовкина, но все в нем было родное, любимое — и эти сросшиеся брови, и этот ясный лоб, и эти морщинки у губ, и этот квадратный подбородок... Перед Раей стоял нелепый и жалкий человек, которого можно было взять за руку, повести чиститься и умываться, кормиться и отдыхать; глядя на этого человека, Рая чувствовала потребность стирать его белье и пришивать заплаты на рванные штаны, варить ему щи и жарить карасей, накормив, укладывать в кровать и убаюкивать, напевая детскую песенку.

— Я прогульнусь, — сказала за спиной Гранька.

Когда подружка ушла, Рая приблизилась к Анатолию, осторожно положив руки на его плечи, приникла головой к пахнувшей дымом груди.

— Чего же мы будем делать, Толенька? — по-бабьи обреченно вздохнув, спросила Рая. — Как дальше-то будем жить?

Он молчал так, как умеют молчать только сибиряки, жители таежного Нарыма, — тяжело, с опростившимся лицом, с пустоватыми глазами. И молчал он долго, и дыхание у него сделалось ровным, и грудь затвердела выпуклыми мускулами. Потрескивал сырыми хвоинками дымокур, позванивал на дворе уздечкой Тренчик, на скривленном потолке стонали бревна.

— Мне пулю в лоб себе послать надо, — так тихо, что могла услышать только Рая, сказал Анатолий. — Все поглядаю на централку... Все поглядаю... До того предела дошел, что патроны с жаканами в озерке утопил...

В горле у Анатолия что-то клокотало.

— Мы друг дружку сгубим, — прежним голосом продолжал он. — Ты в инженерши не выйдешь, а я отца-матери лишуся... Обои отцы против нас! Мой опасатся, что мать ране времени в могилу сойдет,

а Петра Артемич тебя хочет в инженерши вывести... Так что погинем мы друг от дружки... А я не хочу, чтобы тебе плохо было, Раюха... Ты мне любая!

Понимая, что надо снять руки с плеч Анатолия, Рая, однако, не могла сделать ни одного движения, а все сжималась да сжималась в плечах.

— Мне радости не будет, если ты от домашности в старуху сгорбатишься,— говорил он еще тише,— я себя за это всю жизнь топтать буду...

Рая наконец отклонилась от его твердой груди, беззвучно шевеля губами, выбралась из дома, оставив Анатолия в той же позе, в какой она его обнимала. В последний раз мелькнуло перед глазами искривленное замкнутое пространство, в лицо пахнуло сладким, потом прикоснулся к щекам тусклый луч, так как солнце все-таки пробило в двух-трех местах тесность лиственных ветвей, рассеявшись, казалось вечерним... Плакать не хотелось, было одно желание — навсегда запомнить дом, стену лиственниц, комариный гул, Тренчика, позванивающего уздечкой. Как и серое пространство заимки, все окрест казалось знакомым, обжитым, сто раз виденным и любимым, и вдруг возникло такое чувство, словно Рая не прощалась с этим дремучим миром, а, наоборот, наконец-то вернулась к нему после длинных и печальных блужданий по свету.

Она улыбнулась — от любви ко всему, что видела и слышала, Рая любила нежно и преданно мох под ногами, гномьи бороды лиственниц, дремучесть и тишину; она любила робкие голоса птиц, Граньку Оторви да брось, плутавшую по тайге, Анатолия Трифонова, оставленного в заиме; она любила и саму себя — несчастную, растерянную, искусанную комарами. Она была дома, дома, дома...

Пароходишко «Смелый», по предположениям улыман, должен был прибежать близко к обеденному времени, до его прихода оставалось несколько часов; Рая Колотовкина, давно собравшая вещи и по-дорожному одетая, оставшееся до прихода «Смелого» время считала не коротким и не длинным — обыкновенные несколько часов из обыкновенных суток. Запеленав в юбку колени, она сидела на высоком крыльце, позевывала отчего-то, иногда, поддавшись дорожному настроению,



щупала на талии матерчатый широкий пояс, надетый на голое тело,— в него были зашиты деньги, выданные дядей на всю зиму учения и проживания в городе. Пояс сдавливал ребра, мешал дышать, но она думала, что привыкнет. И дядя с тетей утверждали, что пояс пообомнется.

Наряженный в праздничный суконный костюм дядя задумчиво разгуливал по двору, досадливо сморщившись, чесал в голове, но Рая не говорила, что кожаный портсигар лежит за наличником сенного окна. Молчание Раи не значило, что она сердита на дядю, что хочет ему зла. Рая была никакой — не сердилась и не радовалась, не любила и не ненавидела, не испытывала страданий, но и не была счастливой. Молчаливой ее тоже назвать было нельзя, так как она на все обращенные к ней слова отвечала охотно, да и сама могла вести деловой разговор — о том, где чемодан, почему не положена серая юбка, кто переварил курицу, почему нет ключей от чемодана...

День был не солнечный, но и не пасмурный, как раз такой, какого ожидали к приходу «Смелого» деревенские старики,— висела в небе какая-то дымка, что-то сизоватое плавало над рекой, какая-то муть затемняла кедрачи. Тщательно подготовившийся к приходу «Смелого» Улым — вычистившийся и праздничный — переживал минуты затишья, казался пустым и от этого большим: улица бесконечно простиралась в обе стороны, тайга деревню не сдавливала, небо — не ограничивало.

Двоюродные братья сидели за столом, положив на столешницу руки, помалкивали, хотя тоже знали, где лежит отцовский портсигар. Младший брат Андрюшка на Раю иногда поглядывал весело, подмигивал одобрительно, старший брат Василий молчал невозмутимо. Печальным был только средний брат Федор — этот хлопал ресницами, рассуропливал длинные губы, на сестренку старался не смотреть. Тетя Мария Тихоновна возилась у дворовой печурки — варила другую курицу. Спина у тети была сутулая.

Так и не найдя портсигар, Петр Артемьевич сердито плюнул, перекопился, но ничего не сказал, а подумав, сел на отдельный чурбачок и затих — спокойный, с выражением честно выполненного долга на лице.

Минут через десять, прошедших в тишине и благодати, на улице возникла одинокая человеческая фигу-

ра; размахивая руками и останавливаясь, двинулась в сторону колотовкинского двора. Старики и старухи в этот час на лавочках не сидели, так как загодя уплелись в полном составе на кетский берег ожидать «Смелого», и вихляющийся человек по улице двигался беспрепятственно. Скоро сделалось понятным, что это лентяй и забулдыга Ленька Мурзин, опять, наверное, купивший бутылку водки.

Рая со своего высокого крыльца Леньку увидела первой, заинтересовалась, чего это он такой разболтанный и беспокойный, решила, что да — водка была куплена и выпита. Потом лентяя и забулдыгу приметил дядя Петр Артемьевич, повернувшись на чурбачке лицом к улице, стал глядеть неодобрительно и кашлять; на этот сигнал, конечно, обратили внимание и сыновья, узрев Леньку, зашушукались. Одна только тетя Мария Тихоновна ничего не видела и не слышала.

Через полминуты выяснилось, что лентяй и забулдыга направлялся именно к дому Колотовкиных — заранее выстраивал юродивое лицо и сыто надувал щеки. На нем был пиджак с чужого плеча, яловые сапоги так же ярко блестели, как в день большого концерта художественной самодеятельности, рубаха была пестрая, в горошек. Он неторопливо, выставя брюшко, подковылял к колотовкинскому пряслу, положив на него руки и грудь, поздоровался необычно, по-дурачки.

— Драствуйте, леди и жентельмены! — проговорил Ленька картавым голосом, и отчего-то показалось, что он помахал в воздухе шляпой, хотя руки лежали на прясле, а Ленька был простоволос. — Желаю вам драствовать, господа адмиралтейство! Барометра падает!

Зрачки у Леньки были рыжие, располагались вертикально, как у кота, и морда была такая нахальная, наглая, что дядя Петр Артемьевич вторично плюнул и даже растер сапогом плевков, но опять промолчал. Братья же сдвинулись и закивали друг другу.

— Мы из Кронштадта! — сказал Ленька. — Привет от наших шиблет! Барометра поднимается!

Рожа от водки у него была даже не красной, а бордовой, как хорошо обожженный кирпич, длинный рот был искривлен волнисто, а на подбородке — ямочка. Поэтому Ленька вдруг сказал женским голосом:

— Воловьи лужки мои... Мои, мои!

Голос у него не только был женским, но чрезвычайно походил на голос Раи Колотовкиной, и дядя Петр Артемьевич пораженно завертел головой, глядя то на крыльцо, то на прясло: «Чего это деется, прости господи?» А лентяй и забулдыга опять преобразился — навел на подбородок волевою складку, глаза сделал серыми, рот маленьким, твердым, словно кожа на губах укоротилась. Теперь он походил на того киноактера, который играл главную роль в кинофильме «Великий гражданин».

— Я вас в упор не вижу! — сказал он трибунно. — Чего это вы произвели с Натолем и Раухой, когда промеж ними любовь? Меня лично вы интересовать не можете, а вот государство к вам интерес поймееет!

И по-купчески рассудительно, погладив брюшко, объяснил:

— Упала барометра!

Сказав все это, лентяй и забулдыга не стал дожидаться отклика, а немедленно задрал голову в небо, чужеродно покашлял и голосом колхозного председателя Петра Артемьевича Колотовкина напевно проговорил:

— Если до послезавтра дождя не будет, то мы беспрерывно с покосами на Хвистаре покончим... Вот такая у меня прямая линия, товарищи колхозный народ... Так что ответим на линию ударным трудом!

Ленька по-дядиному сутулился, в пальцах держал невидимую папиросу, примаргивал значительно и был так похож на председателя, что можно бы помереть с хохоту, если бы сам дядя, поняв, кого изображает Ленька, и обозлившись, решительно не поднялся с чурбачка.

— Ты сколь выпил, язва-холера? — сердито спросил он Леньку и погрозил пальцем. — Ну, теперь тебе правленья не миновать!

— Полбутылки я выпил, — после паузы ответил Ленька и задумчиво добавил: — Пойти остатнее допить...

И действительно, пошел прочь, заплетаясь ногами и что-то бормоча, но скоро остановился, не оборачиваясь, произнес собственным голосом:

— А эта дурака Натолька к заимке присосался, ровно к мамкиной титьке... Ну, дурака, ну, дурака! Непроходимая...



Он ушел допивать бутылку водки, дядя с гневным шипением опять занял место на чурбачке, братья успокоились, тетя варила сосредоточенно курицу, а Рая думала о Васютинской заимке, хотя раньше старалась о ней не вспоминать и не вспомнила бы, если б не Ленька... Там гудели комары и пошумливали бородастые лиственницы, перекошенно серело меж полом и потолком знакомое замкнутое пространство, лежали в тихом озерце патроны с жаканами, задирали спутанные ноги веселый жеребчик Васька... Рая осторожно пошевелилась, скосив глаза на дядю, долго думала, прищуриваясь и как бы примериваясь.

— Дядя, а дядя? — наконец спросила она тихо. — Ты не можешь ли, дядя, сказать, почему мне кажется, что я когда-то уже была на Васютинской заимке... Нет, я понимаю, что я там быть не могла, но вот мне кажется...

Рая замолкла, смущенная невозможностью объяснить дяде необъяснимое, сурово поджала губы, чтобы родственники не подумали, что она такая же чумная, как Ленька Мурзин. Как это так: была и не была, понимала и не понимала?

— Была ты на Васютинской заимке, — вдруг сказал дядя спокойно. — Да не только была, а прожила на заимке недели три...

Он поднял голову к небу, шевеля губами, сосчитал:

— Двадцать пять ден ты проживала на заимке, Раюха...

После этого тетя в первый раз за все время обернулась к племянке, продолжая оставаться деловитой и суровой, сказала:

— Тебя от бандюг на заимке упрятывали... Отец-то твой, Миколай Артемич, тогда полком командовал, где-то далече был, а ты у нас проживала... Да неужто тебе об этом деле Миколай Артемич не говаривал? Ты в те поры совсем тютельная была, двух годков не исполнилось...

Тут Рая почувствовала себя такой усталой и серенькой, что у нее и сил-то не хватило на то, чтобы поразиться услышанному, — она только для приличия, для спокойствия родственников удивленно вытаращилась: «Ах, чего только не бывает на свете!» Потом она окончательно пришла в равновесие, еще плотнее укутала колени юбкой и перестала думать о Васютинской заимке.

Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, и Рая подумала: «Скорее бы уже!» Хотелось забиться в душную каютку «Смелого», накрывшись серым парходным одеялом, уснуть; нет, перед сном надо было бы поесть, чтобы до утра не просыпаться. Утром «Смелый» окажется в большом речном поселке Тогуре, похожем издалека лесозаводской трубой на город, хотя вблизи увидится, что это не город, а только поселок с домами из брусчатки. Но все-таки...

Пароходишко «Смелый» к улымскому берегу начал приставать ровно в полдень, когда день разгулялся настолько, что вся хмарь и дымность рассеялись, небо прояснилось, кедрачи торжественно засинели и кетская вода сделалась коричневой. Приставая к яру, пароходишко взбивал воду до сметанной белизны, паром шипел угрюмо, но мощно, и праздничная толпа на берегу стояла спокойно, так как «Смелый» с верховьев Кети никаких дурных новостей привезти не мог. Поэтому его встречали радостно; пока «Смелый» прилипал к яру, улыбались, шумели, узнавали знакомых речников: «Вот и Петька Канеровский, вот и Ваняшка из Брагина!»

Пассажиров, кроме Раи Колотовкиной, из улымчан не было, поэтому вокруг Раи и ее родственников образовалась почтительная пустота, такая просторность, в которой можно было и попрощаться толком, и вещи поберечь, и осмотреться, что к чему.

— Прими чалку, мать вашу за ногу! — прокричал знаменитый капитан Иван Веденеевич в железный раструб и улыбнулся открыто. — Прими чалку, не задерживать, мать вашу под бок.

Улымский народ всегдашней шутке засмеялся охотно, но осторожно, негромко, чтобы ничего не упустить из того, что еще скажет Иван Веденеевич, как еще пошутит.

— Трап давай, кось вам в горло! Трап давай, матрозня хорошая!

Матросы, на самом деле хорошие и веселые, подали на верхотинку яра широкий трап, встали по обе стороны от него, заботливые, как медсестры, стали дожидаться пассажиров, а Иван Веденеевич, сойдя на берег, пошел прямоком здороваться с председателем Петром Артемьевичем, но не дошел: поняв обстановку, остановился на свободном пространстве, издалека снял форменную фуражку.

Рая заботливо огляделась. Родственники стояли подле нее, сердечная подружка Гранька торчала из толпы отдельно, как бы усредненно между родственниками и прочим людом, дед Абросимов тоже в толпе не терялся. Подальше от них, но недалеко стояли муж и жена Трифоновы, нарядные и тихие, глядели на всех Колотовкиных добрыми, растроганными глазами.

— Зачинаю посадку! — прокричал Иван Веденеевич.

Рая стала прощаться. На виду у всех поцеловала дядю и тетю, прикоснулась губами к щекам братьев, затем подошла к Граньке, обняв, легонько похлопала по спине: «Не горюй, подружка! Все перемелется, мука будет!» Рая чувствовала себя взрослой, устало-старой; по-прежнему хотелось полумрака каюты, медленного покачивания, сна. Когда Гранька тихо заплакала, Рая перешла от нее к деду Абросимову, неожиданно для старика поцеловала его в мягкую щеку, пахнущую старостью и от этого приятную.

— Внучатка! — сказал дед и усиленно замигал. — Внучатка ты моя... Сродственница!

Спиной Рая чувствовала тетю, дядю, двоюродных братьев — все они по-прежнему скрывали печаль и жалость к девушке, в душе не хотели, чтобы Рая уезжала, но ей надо было уже идти к широкому трапу, чтобы отправиться в дальний путь, так как обратным рейсом «Смелый» всегда торопился. Он много терял времени, когда шел из Колпашева в верховья Кети: на каждой пристани стоял долго, терпеливо продляя праздник; теперь же капитан Иван Веденеевич ждать не мог.

— Заканчиваю, заканчиваю посадку!

Братья пронесли Раины вещи на пароход, капитан легким бегом поднялся на верхнюю палубу, Гранька кусала губы, дед Абросимов кричал и мотал головой, а Рая все еще стояла на месте, хотя ничего и никого не ждала. У ее односельчан были печальные и добрые лица; они хранили глухую тишину, смотрели мимо Раи, тоже жалея девушку и печалась за нее. «Надо садиться на пароход!» — подумала Рая и боком двинулась к трапу.

— Погоди, Стерлядка! — вдруг раздался в тишине басовитый вопль. — Погоди, не торопись!

Протаранив толпу, на свободное пространство берега вывалился лохматый и багроволицый Ленька Мурзин. Качаясь и беспорядочно размахивая руками, он



начал было падать к Раиным ногам, но все-таки удержался, выгнулся и пьяно закричал:

— Хотишь, я в Кеть брошусь! Хотишь, я песню заиграю!

Опять начал падать, опять удержался на ногах.

— Не уезжай, Стерлядка,— неожиданно тихо попросил Ленька.— Не уезжай, я тебе реплик давать буду! — И заорал: — Хотишь, я с тобой поеду! Хотишь?

Рая по-старушечьи сморщилась, боясь делать лишние движения, по-прежнему бочком пошла к трапу; считая перекадинки, начала спускаться все ниже и ниже, укорачиваясь на глазах улымчан, так как берег был очень высок. Идти ей было трудно, словно не спускалась, а поднималась.

Пароходишко «Смелый» дал один длинный гудок и три коротких, по палубе зачастили матросские каблукки, капитан Иван Веденеевич негромко приказал снять трап; зашипел пар, «Смелый» вздрогнул, отцепившись от яра, сразу перекосялся так сильно, что уже надо было перекатывать с борта на борт тяжелую бочку. Своевременно ее, эту бочку, матросы перекатить не успели, и пароходишко подхватило сильное кетское течение, потащило вниз в жалком виде — скособоченного, безвольного, старенького.

Рая Колотовкина на палубу почему-то не вышла, знать, сразу забилась в каюту и поэтому не увидела, как в тот момент, когда пароходишко все-таки выровнялся благодаря тяжелой бочке, на кетский яр выскочил двухголовый конь, похожий на Змея Горыныча.

Анатолий Трифонов на веселом иноходце Ваське не сидел, а почти лежал, вытянувшись вдоль лошадиной спины и шеи; волосы младшего командира запаса путались с лошадиной гривой — вот поэтому конь и казался двухголовым и смахивал на Змея Горыныча.

На берегу Васька встал как вкопанный, головы коня и человека разделились, но секундой спустя снова слились — это Анатолий Трифонов и Васька кинулись догонять кособокий пароходишко «Смелый». Стучали копыта, казалось, что слышно, как свистит вокруг человека и лошади воздух, головы Змея Горыныча были хищными...

...За два года до войны молодые жеребчики умели бегать быстро, но и пароходишко «Смелый» вниз по течению черепахой не ползал...



# *СЕРАЯ МЫШЬ*



Дни стояли хорошие. Целую неделю в небе ни облачка, солнце над рекой сразу поднималось желтое, вычищенное и промытое, и казалось, что он так и создан, этот мир, — с голубым небом, с прозрачной Обью, с жарой, не обременительной из-за речной прохлады...

Воскресным утром над поселком Чила-Юл солнце висело вольтовой дугой, река в берегах чудилась неподвижной, как озеро, кричали голодные чайки.

Присоединившись с раннего утра к трем постоянным приятелям, Витька Малых как начал улыбаться, так и продолжал до сих пор растягивать длинные губы, пошальному щурить глаза и на ходу приплясывать, точно чечеточник. Сам он был длинный, как жердина, суставы у него как бы от рождения были слабыми, и вот он весь вихлялся, напевал про то, как «на побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях», и при этом поглядывал на дружков лукаво, с подначкой.

По длинной деревенской улице они шли гуськом — Витька Малых посередине, впереди него торопился шаггать Ванечка Юдин, позади — Устин Шемяка, а Семен Баландин шел отдельно, наособицу. Он, конечно, весь был вялый и темный, стонал сквозь стиснутые зубы, глаза были стеклянными. Устин Шемяка шел с напружиненными скулами, а Ванечка Юдин морщил лоб, прикидывал, как обернется сегодняшнее воскресенье — радостью или печалью.

Собрались дружки в условленном месте к восьми часам. Первым выбрался на свет божий Семен Баландин — дрожащий и черный, с погасшими глазами, с мертвенно-бледной кожей лица; вторым появился злой Устин Шемяка; третьим хлопотливо прибежал Ванечка



Юдин, забыв поздороваться с приятелями, сразу начал глубокомысленно морщить лоб и соображать. Витька Малых присоединился к приятелям уже на ходу. Он с каждым поздоровался за руку, каждому пожелал хорошего воскресенья, а потом от молодой утренней радости начал напевать про моряка, про то, как «за рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой...».

Они шли по улице, где все было по-утреннему, по-воскресному. Отсыпаясь за всю неделю, женщины не торопились топить дворовые печурки, мужчины еще спали, старики с палками в ожидании далекого завтрака терпеливо сидели на лавках. По улице, опустив хвосты, шли охрипшие за ночь собаки, коровье стадо уже позванивало боталами возле околицы, поперек дороги лежала здоровенная свинья с кокетливо прищуренными белыми ресницами, курицы безопасно гуляли серединой дороги, словно знали о том, что воскресным днем проезжих автомобилей не случается.

Поселок Чила-Юл располагался на крутом обском берегу, стоял он на таком веселом месте, что в погожий день все восемьдесят домов казались новенькими, словно сейчас были рублены; сама река Обь была такая пространственная и высокая, что делалось щемяще-пусто под сердцем; на речном яру росли задумчивые осоки, за околицей то синели, то зеленели кедрачи, рощица берез — неожиданная и посторонняя — выбегала к воде сноровисто, как телята на водопой. И от этого тоже было весело, словно над Заобьем пела медная труба...

Миновав середину длинной чила-юльской улицы, четверо приятелей начали замедлять шаги и недовольно морщиться, так как увидели поспешавшую им навстречу самую древнюю и бойкую старуху в поселке — бабу Кланю Шестерню. Согнутая годами в дугу, она костистой головой, горбом, торчащими лопатками и локтями действительно походила на зубчатую шестерню; старая старуха бабка Кланы Шестерня при ходьбе всегда глядела в землю, распрямиться не могла, но каким-то образом видела все, что творилось вокруг нее.

Заметив четверку, бабка Кланы Шестерня тоже замедлила шаги, ворочая низко опущенной головой, принялась сопеть и хмыкать, потом остановилась как вкопанная и, подперев подбородок короткой палкой, стала разглядывать след копыта на пыльной земле. Баб-

кино плоское лицо располагалось параллельно дороге, по бокам его висели пряди седых волос, согнутая спина торчала верблюдьим горбом, ног под суконной юбкой было не видать.

— А вы, соколики, опять лакать ее, бесовскую? — насмешливо спросила Кланы Шестерня. — Ну, мне теперича заходу домой не будет...

После этого бабка пошла было дальше, но потом изменила направление: решила зайти к жене Ванечки Юдина, а заодно через прясло поразговаривать с женой Устина Шемяки. Двигалась бабка так, словно ее подталкивали сзади, словно она падала вперед, но березовая палка ей совсем упасть не давала, и на всю улицу было слышно, как бабка хмыкает и недовольно сопит, — такая кругом стояла утренняя тишина, такой был покой и такая воскресная сонная радость.

— Хоть бы зашиблась! — зло прошептал Устин Шемяка вслед бабке. — Вот если я кого терпеть не могу, так у меня аж в скулах больно!

— Самая язва и есть! — торопливо добавил Ванечка Юдин. — Ее бы в анбар запереть! Все одно целый день ничего не жрет... Как она проживает — вот этого я понять не могу!

Прошагав еще метров пятьдесят, приятели остановились возле тенистой скамейки, переглянувшись тревожно, разом сели на прохладное дерево. Отсюда хорошо был виден сельповский магазин, на крыльце которого стояло несколько женщин, а над дверями висело красное полотно: «Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся всех стран!»

— Минут через десять откроет! — радостно сказал Ванечка Юдин. — Варфоломеевска баба завсегда ходит при часах, так вот она уже приперлася... Ну, мужики, давай соображать!

Он хлопотливо повернулся к товарищам, весь возбужденный и озабоченный, стал укоризненно глядеть на приятелей, так как уже заранее знал, что последует за его призывом «соображать», и уже был готов к тому, чтобы ничему не удивляться.

— Давай, давай, мужики!

Они сидели на затененной, скрытой от человеческих глаз скамейке, над ними шумели в черемуховых ветках веселые по-утреннему воробы, лучи низкого солнца пестрили кроны деревьев золотыми кружочками. Болезненно перекосив лицо, обморочно закатывал

глаза дрожащий Семен Баландин, презрительно и зло усмехался Устин Шемяка, возбужденно вертел головой Ванечка Юдин, а Витька Малых, любопытный, как со- рока, не спускал сияющих глаз с товарищей. Рот у пар- ня был полуоткрыт, под распахнутой на груди руба- хой незащищенно торчали ключицы, лоб у Витьки был ясный, как у вихрастого мальчишки. Две-три секунды он помолчал вместе со всеми, потом, пропев: «...потихоньку отдыхает у родителей в дому...», радостно и медленно, чтобы все видели, полез в карман брюк.

— У меня рупь! — восторженно сказал Витька, вы- нимая кредитку. — Анка дала!

Расправив ассигнацию, Витька перестал счастливо улыбаться и посмотрел на приятелей удивленно, словно хотел спросить: «Чего же вы не радуетесь моему руб- лю? Ведь его Анка дала!» Однако трое не только мол- чали, но и отводили глаза от Витькиного рубля, а Ва- нечка Юдин даже осторожно вздохнул. Молчание про- должалось, наверно, целую минуту, потом Ванечка вздохнул громко.

— У меня тоже рупь! — сказал он. — Где достал, де- ло не ваше!

Прибавив к глубокомысленным морщинам на лбу две трагические складки, Ванечка Юдин аккуратно рас- правил рубли, перегнул их пополам, пропустил через сложенные пальцы и повернулся к Устину Шемяке.

— Ну!

Огромный, краснорожий, короткошей Устин Ше- мяка насмешливо и зло усмехнулся. На его грубом, тупом и важном лице розовела нежная детская кожа, под лохматыми, свирепыми бровями прятались голубые глаза, на подбородке синел звездчатый шрам, похожий на снежинку.

— Ты чего, же, Устин, отмалчиваешься-то? — удив- ленно спросил Ванечка Юдин. — Ну Семен рупь не имеет, это по его жизни закон... А ты чего помалкивашь, когда двести пятьдесят в месяц гребешь? Ты-то чего бычишься, когда при деньгах?

Дул легкий береговой ветер, река Обь светлела по- утреннему, шли с удочками мальчишки, бодро проша- гал с портфелем директор шпалозавода Савин, двига- лись к сельповскому магазину три солидные женщины с городскими авоськами... Хорош был поселок Чила- Юл! Как славно обнимала его излучина Оби, как уют- ны были все восемьдесят домов, как чисто было на длин-



ной улице, расположенной на высоком яру, с которого дождевой поток уносил грязь и мусор. Славно было, просторно, весело, обжито...

— Нет у меня грошей! — наконец сказал Устин Шемяка. — Копеек пятьдесят наскребу...

Еще раз зло и надменно усмехнувшись, он снова примолк, соображая, в какой карман штанов были положены три рубля, а в какой — мелочь; вспомнив, он долго копошился пальцами в левом кармане: перебирал пальцами монеты, что-то отсчитывая, отсортировывая, и лицо при этом у него было такое, какое бывает у очень голодного человека.

— Пятьдесят три копейки, — сказал Устин. — Вона тут еще медяк примостился...

На скамейке снова наступила напряженная тишина; время как бы замедлилось, остановилось, и стало слышно, как хрипло, задушенно, с перерывами дышит Семен Баландин, которого уже не держала спина — он упал боком на серые доски забора. Бледный, с трясущимися губами, обмякший, как пустой мешок, Семен Баландин из-под смеженных ресниц с суеверной надеждой и тайным неверием глядел на деньги. Когда Ванечка Юдин еще раз пересчитал монеты, он судорожно глотнул воздух, закашлялся и уронил голову на грудь: это был обморок.

— Тридцать четыре копейки не хватает! — торопливо сказал Ванечка Юдин. — А ну давай, народ, шукай скорей тридцать четыре монеты, как бы Семен богу душу не отдал!.. Витюх, гони двадцатник, а у меня пятнадцатюшка имеется...

Было около половины девятого, солнце уже перевалило через молодой осокорь на обском яру, река на глазах делалась сиреневой и прозрачной, словно ее подсвечивали со дна; по улице две девчонки несли на загорбках молодую траву — они, наверное, собирались кормить шkodливых коз, которые в стаде пастись не умели.

Девочки завернули в переулочек, сделалось совсем тихо и пустынно, но через несколько секунд из того же переулочка, где скрылись девочки, выкатилось один за другим десять солнц разного размера — четыре больших, четыре средних размеров, два солнца были маленькими. Это ехали на велосипедах пять человек: двое взрослых, двое мальчишек десяти-одиннадцати лет и девочка лет семи-восьми.

— Цыпыловы! — шепнул Витька Малых. — Цыпыловы в лес поехали!

Велосипедные солнца медленно катились по длинной улице.

2

Магазинные двери открывались наружу, как в пожарном депо, в помещении пахло свежим пшеничным хлебом, мышами, слежавшимся ситцем, хозяйственным мылом и рогожей; здесь светились во всю стену два больших окна, стояли неструганные сосновые полки, висела табличка: «Покупатели, будьте взаимно вежливы с продавцом», а у хмурой, всегда строгой продавщицы Поли было сурово-иконное, фанатичное лицо. Обнаженные по локоть руки продавщицы не брали товар, а хватали, не клали хлеб на весы, а швыряли, не снимали товар с весов, а злобно сдергивали. Глаза у продавщицы Поли были постно опущены.

Первой в очереди стояла толстая и важная жена рамщика шпалозавода Варфоломеева — при часах на сдобной руке; за ней с мечтательным видом выжидала свой черед солдатка Ляпунова в пестром мужском свитере; за спиной Ляпуновой топились бабы попроще, всего человек десять, включая двух девчушек, держащих мелкие деньги в потных кулаках. Очереди было на полчаса, а то и больше.

— Не топчите! — шепнул Ванечка Юдин. — Иди тихой ногой... Это Поля уважает!

Остановившись в хвосте очереди, четверо приятелей начали ловить взгляд продавщицы Поли подхалимскими, трусливыми и молящими глазами; даже звероподобный Устин Шемяка кривил губы, задыхающийся Семен Баландин глядел на продавщицу со страхом, Витька Малых и Ванечка Юдин улыбались просторно, наперегонки, словно устроили соревнование — кто лучше улыбнется. Улыбка Ванечки Юдина была льстивой и подобострастной, а Витька улыбался продавщице так радостно, как ранним утром улыбался взошедшему солнцу, белым черемухам, голубым елям на взлобке яра.

— Полкило конфет-подушечек, триста грамм мырмеладу, полкило соевых, — поматывая толстым пальцем, важным голосом говорила жена рамщика Варфоломеева и косилась на соседок, чтобы видеть, какое впечатление производит на них. — Пожалуйста, не забудьте, Поля,

чтобы мырмелад шел на вес целенький... Мой не любит, если половинки!

Потом гордая Варфоломеиха стала брать развесную халву, манную крупу, геркулес в пачках, сахар-песок и муку. На фанатичном лице продавщицы Поли ненавистно розовели скулы, губы вытянулись в ниточку; она бренчала и стучала всем, чем можно стучать и бренчать, а на важную Варфоломеиху за все время ни разу не посмотрела.

— Терпи, народ! — успокаивающе зашептал Ванечка Юдин. — Видали, как она на меня зыркнула? Значит, беспремен отпустит...

Водка в сельповском магазине продавалась только после десяти часов, очередь стояла мертво, толстая Варфоломеиха все держала указующе поднятым жирный палец, и Семен Баландин, судорожно всхлипнув, вытянув длинную и тонкую шею навстречу продавщице Поле, умоляюще попросил:

— Поль, а Поль, отпусти! Поль, а Поль!

Помещение магазина было полупустым, высоким, женщины, сердито наблюдающие за гордой и важной Варфоломеихой, мертво молчали, и болезненный голос Семена звучал в магазине так громко, словно он кричал:

— Поль, Поль, пожалей!

Не обращая внимания на Баландина, точно не слыша, не видя его, продавщица вернулась к прилавку и, не изменив выражения лица — глаза постно опущены, скулы крутые, подбородок спокойный, — закричала так громко и визгливо, что зазвенело в ушах:

— Ходют тут всякие!.. Нет того, чтобы мне благодарность принесть за то, что магазин на полчаса раньше открываю, так они еще водку просят до сроку! Они еще через прилавки лезут к материальным ценностям!.. Вот счас всех вытурю, закрою магазин да пойду досыпать... Здоровье у меня подорванное, жирного цельный день не ем, один чай пью... А тут ходют всякие! А тут сами не знают, кого брать: то ей крупу, то ей мырмеладу, то еще каку холеру!

Вот так кричала продавщица Поля, надувая до красноты жилистое горло, трясясь от злости. Одновременно с этим она привычным движением выхватила из-под прилавка бутылку с зеленой наклейкой, размахнувшись ей, как гранатой, бросила ее на грудь Ванечки Юдина, а второй рукой выдрала у него из пальцев бумажные деньги с завернутой в них мелочью.



— Сойдите с моих глаз, пьяницы! — надрывалась Поля. — Это дело для меня может судом кончиться, но глядеть на вас мне от сердца противно, а тут еще сумки животом к прилавку прижимают, культурность свою показывают да по четыре веса берут, чтобы я хворобой изошла...

Она все кричала и кричала, хотя четверо приятелей на цыпочках уже выбирались из магазина боком-боком да поскорее-поскорее, так как с продавщицей Полей шутить не приходилось — на поселке она была большая сила. Работала Поля в Чила-Юле лет уже пятнадцать, на воровстве и махинациях никогда поймана не была, магазин у нее почти круглые сутки бывал открытым, но жизнь человека становилась плохой, если на него сердилась продавщица Поля: во-первых, хорошего товару тебе не видать как своих ушей, во-вторых, настоишься в очередях так, что с лица почернеешь, в-третьих, потеряешь в поселке авторитет...

— Ходят тут всякие! Водки им надо, мырмелад им подавай, а сами не знают, каку им холеру надо... У меня на это дело сердца не хватат, я от этого скоро на больничный сойду — жрите тогда свой мырмелад, только где вы его укупите...

Четверо приятелей на цыпочках вышли из магазина, в молчаливой суете двинулись быстрым шагом к обскому яру, на самом взлобке которого — на тридцатиметровой крутизне, над сиреновой утренней водой — росла подкова веселых молодых елок. Земля под ними была такая чистая и желтая, словно ее раза три на день прометали тщательно метлой, подкова елок выпуклостью изгиба была обращена к деревне, и поэтому за ней можно было прятаться, как за плотной оградой.

Молчаливые приятели торопливо сели на теплую землю, образовав маленький кружок, начали блестящими глазами смотреть на то, как Ванечка Юдин осторожными, бережными движениями достает из глубокого кармана лыжных штанов бутылку водки. Он, Ванечка Юдин, вообще весь был спортивный: лыжные брюки, лыжная куртка, футбольные бутсы, а под курткой майка с надписью «Урожай».

— Вот она, родимая, вот она, хорошая!

Ванечка поставил бутылку в центр круга, потеряв руку об руку, кивком головы дал команду вынимать из карманов закуску, и четверо приятелей стали доста-

вать и класть возле бутылки всякую еду. Витька Малых положил большую луковицу и два бутерброда с толстыми кусками сала, сам Ванечка вынул кусок тощей колбасы и две шанежки, Устин Шемяка достал три смятых яйца, тряпочку с солью и стрелчатый лук, свернутый в три раза, чтобы не высовывался из кармана. Семен Баландин из карманов ничего доставать не стал.

— Не торопись, не торопись, народ! — сладострастно приговаривал Ванечка Юдин, вытирая травой грязный стакан и ежесекундно разглядывая на свет зеленое стекло. — Устинушка, ты бы не валил яйца-то на хлеб! ...А ты, Витюх, сальцо-то порежь. Семен, ты себя не беспокой, заботу себе не давай, в сознание себя держи... Да куда ты, Витюх, хлеб-то тычешь? Сюды, сюды давай...

Слышно было, как поплескивает у берегов вода, кричат в небе чайки, что-то свистит в горле у Семена Баландина, который опять обморочно дремал. На щеках Устина Шемяки костром разгорался яркий румянец, шрам-снежинка на подбородке, наоборот, бледнел, мускулы под рубахой ходили ходуном, а Витька Малых даже сидя умудрялся приплясывать, пританцовывать и, щелкая тонкими пальцами, пел: «...как проснусь, то сразу море у меня в ушах шумит...»

— Устин, открывай! — наконец скомандовал Ванечка Юдин. — Давай, давай, душа горит...

Схватив бутылку лапищей, Устин Шемяка сорвал зубами пробку, выплунув ее на землю, бережно передал бутылку Ванечке:

— Наливай, зараза!

Ванечка на секунду благоговейно замер... Он всегда разливал водку, среди пьющих мужиков славился тем, что умел разливать на глаз любое количество спиртного с такой точностью, что промеры спичкой показывали абсолютную равность, и пьющие уважительно шептали: «Глаз-алмаз». Был случай, когда Ванечка разлил три бутылки «Столичной» в одиннадцать стаканов так, что в последней бутылке не осталось ни капельки, а стаканы содержали ровно по сто тридцать шесть граммов спиртного.

— Зачинаю!

Ванечка начал священнодействовать. Он ногтем прочертил на бутылке только ему видимую черту, зачем-то встряхнув и взболтав водку, обвел приятелей

значительным, важным, надменным взглядом. Он уже было наклонил бутылку к стакану, чтобы наливать, но Витька Малых задержал его руку:

— Ты ровно не разливай, Ванюшк! — сказал он. — Ты мне чуть плесни, а Семену поболее набухай...

— Хрена ему! — злобно закричал Устин Шемяка и погрозил Витьке волосатым кулаком. — Я на свои кровные каждого поить не хочу... Хрена ему, пьянуге несчастному!

Семен Баландин этого вопля не услышал: привалившись к плечу Витьки спиной, закрыв глаза и свистя горлом, он находился в полуобмороке, в полузабытьи; пористое, вздутое водянистой подушкой лицо Семена с прозрачными мешками под глазами, с чернотой обуглившихся губ и дрожащей кожей было таким страшным, что Витька, махнув рукой, потупился.

— Ты бы не кричал, Устин! — после небольшой паузы рассудительно сказал Ванечка Юдин. — Ты бы не орал, ежели в этом деле ни бельмеса не понимаешь... — Он поставил бутылку на землю, покачал головой. — Семен может запросто помереть, если ему дозы не дать... Небось помнишь парикмахера Сашку? Отчего он перекинулся? Вот то-то же!.. Сашка оттого перекинулся, что дура баба ему опохмелиться не дала! — Ванечка осуждающе пожал плечами, посмотрел на сиреневую руку. — Ушной врач так и говорил: «Дай, говорит, дура баба, Сашке опохмелку, он, говорит, меня бы попреж под бобрик стриг»... Так что ты дура, Устин!

Четырех приятелей обнимала подкова веселых от солнца молодых елок, над ними сияло яркое и тоже молодое небо, под ними тихо-тихо текла великая сибирская река Обь, вздымающаяся к небу, как море; шел по реке буксирный пароход «Литва», на деревянных баржах вращали крыльями ветряки-насосы, пароход деловито бил по воде плицами и шипел паром; ходил под яром по песку пожилой человек в красных плавках на загорелом теле — то приседал, то пружинисто вскакивал, то падал грудью на землю. Это делал утреннюю зарядку директор шпалозавода Савин.

— Семен Василич, держи! — великодушно сказал Ванечка. — Грамм сто семьдесят тебе набухал...

Однако Семен Баландин и на этот раз не услышал — сидел неподвижный, бледный, как смерть, и Витьке Малых пришлось пошевелить плечом, чтобы он пришел в себя. Почувствовав толчок, Баландин выпрямился, мед-



ленно повернулся к Ванечке Юдину и вдруг испуганно и нервно расширил мутные глаза — увидел водку. Глядя на бутылку, он делал мелкие глотательные движения, стиснув губы, вздрагивал так, словно его колотила лихорадка.

— Похмелись, Семен Василич!

Еще раз вздрогнув, Баландин неожиданно для всех вскочил, прикрыв рот ладонью, бросился в гущу молодых елок, извиваясь и стелая, начал блевать на землю; он три дня ничего не ел, только пил, и сейчас Семену рвотой выворачивало внутренности, из желудка поднималась ядовитая желчь, пузырилась на губах, дыхание прерывалось, и все это было так тяжело, что приятели Баландина, отвернувшись от него, стали глядеть на утреннюю реку.

— Ну, чего, Семен Василич, проблевался? — деловито спросил Ванечка, когда судорожные звуки чуточку ослабли. — Приложись... Разом полегчает!

Еще через минуту Семен Баландин повернулся лицом к приятелям, наклонив голову и плечи, пошел на Ванечку и стакан с водкой таким шагом, точно его подталкивали в спину острым штыком; в обморочных глазах Семена светилась яростная решимость, подбородок задрался, руки были по-солдатски прижаты к бокам.

— Ставь на землю! — хрипло попросил Семен и осторожно лег грудью на землю. — Поближе ставь!

На землю Семен Баландин лег потому, что не мог держать стакан в руках — так они тряслись. Нацелившись, он схватил край стакана зубами, закрыв глаза, сгорбав худую спину и затаив дыхание, начал пить водку так, как теленок в первый раз сосет мать. И опять все это продолжалось мучительно долго, и трое снова отвернулись от товарища — Витка Малых с жалостью и состраданием, Ванечка Юдин с расчетливой целью не помешать человеку «принять дозу», а Устин Шемяка со злобой к алкоголику Баландину.

— Прошла? — заботливо спросил Ванечка. — Гляди, Семен, не дай ей обратным ходом пойтить! Это для тебя хуже беды...

Распластанно лежа на земле, Семен еще несколько томительных мгновений боролся с собственным организмом, потом все услышали такой протяжный и долгий вздох, какой издает расседланная лошадь; вздрогнув в последний раз, Семен оторвал грудь от земли, хватая воздух широко открытым ртом, сел прямо.

— Ну вот! — удовлетворенно сказал Ванечка. — Полный ажур! А что могло получиться? Да вот что — бряк, и нет человека! Ну, тут милиция, доктора... Кто водку разливал? Ванечка Юдин. Так! Позвать сюда товарища следователя! Тот прямо ко мне: «Ты как так водку разливал, что человека до смерти довел?» Я, конечно, молчу...

Произнося эти слова, Ванечка наливал стакан для Устина Шемяки, приставляя ноготь к стеклу, выверял правильность разлива, поглядывая на остатки, соразмерял их с налитым, и вид у него опять был важный, величественный, недоступный.

— Держи!

Устин Шемяка стакан с водкой взял не сразу, а сначала выбрал из снеди самый крупный кусок Витькиного сала, положив на него заранее облупленное яйцо, обернул все это тонким ломтем хлеба, еще немного подумав, наложил сверху половину молодой луковицы. Только после этого Устин, не глядя, принял стакан из рук Ванечки и сказал недовольно:

— Чего жалею, так это пятьдесят три монеты... Ведь ты мне налил-то мало!

Поднеся к носу стакан, он жадно вдохнул запах водки, улыбнувшись всей кожей нежного лица, начал мелкими, дробными глотками цедить спиртное в красногубый рот. Крупный кадык на его короткой шее двигался мерно, горло оставалось гладким и нежным, хотя время от времени по коже пробегала сладострастная волна. Допив стакан до конца, Устин жалеючи вздохнул, облилиз губы и громко сказал:

— Брошу я с вами гужеваться! Не для того ломаются на шпалозаводе, чтобы алкоголиков отпаивать...

Витька Малых протяжно вздохнул. Водку он на вкус и запах терпеть не мог, пригубливая стакан, всякий раз чувствовал отвращение, а закусывал неохотно потому, что сытно поел за ранним завтраком с женой Анкой. Зато Витька Малых любил сидеть на земле, слушать, как бранятся Ванечка и Устин, наблюдать, как оживает Семен; ему нравилось ходить с ними по улицам, доставать деньги, слушать приятелей, когда они напьются, мирить их, когда поругаются, а потом провожать заботливо домой. На это у Витьки уходило целое воскресенье, ему никогда не бывало скучно, и он уже со вторника ждал, когда же придет воскресное утро.

— Держи, Витюх!

Восемьдесят граммов водки Витька Малых выпил спокойно, проглотив горькую жидкость, плюнул на землю и неохотно закусил крохотным куском сала, а когда все эти скучные процедуры были выполнены, принялся с любопытством наблюдать, как пьет водку Ванечка Юдин.

— Дай бог не по последней! — озабоченно проговорил Ванечка, потер руки и шутливо перекрестился стаканом. — Желаю вам болезней, напастей, холеры, голода, мора и смерти... избежать!

Прохохотавшись, Ванечка озабоченно выпил, закусив всем, что лежало на земле, начал деловито вытирать травой пустую бутылку, а когда она сделалась прозрачной и голубой, опустил ее в бездонные карманы лыжных штанов, предварительно посмотрев на горлышко — не выщерблено ли?

— Двенадцать копеек... — напевно проговорил Ванечка. Лиха беда начало!

Теперь, когда главное дело было закончено, четверо приятелей молча погрузились в собственные переживания. Отделившись друг от друга, уже ничем не спаянные, они внимательно прислушивались и приглядывались к самим себе... Первым, конечно, начал заметно пьянеть Семен Баландин — настоящий алкоголик, пропитая душа. Минут через пять-семь после того как был им выпит почти полный стакан водки, Семен мягко выпрямился, встряхнувшись, с таким видом поглядел на реку и небо, деревья и землю, словно только теперь обнаружил их присутствие. Одновременно с этим он обирающимися движениями пальцев стряхивал с одежды пыль, хвоинки, комочки земли. Опухшее лицо Баландина понемногу теряло блеск.

— Прекрасная погода! — окрепшим голосом произнес он. — Видимо, и на будущее прогнозы благоприятны...

Остальные приятели водку переживали тоже каждый по-своему. Витька Малых от восьмидесяти граммов еще немножко ускорился в движениях и любопытстве к миру; Ванечка Юдин сделался еще более озабоченным и хлопотливым: считающе прищуривал левый глаз, безостановочно потирал руку об руку, собирал на лбу думающие морщины; у Устина Шемяки зло дергались огромные негритянские губы, опасно алела девичья кожа лица.

— Молчал бы про погоду-то! — презрительно сказал Устин Баландину. — Что ты, пьянюга, можешь в погоде



понимать, когда всю жизнь в начальниках обретался? Вот уж кого из всех силов терпеть не терплю, кто сам начальник, а погоду ему подавай...

— Молчи, дура! — немедленно ответил Ванечка Юдин. — Чего ты можешь в начальстве понимать, ежели сам никогда в руководстве не ходил? Вот за что тебя не уважаю, так за то, что говоришь, а сам не знаешь, про что говоришь!

Как и Устин Шемяка, хлопотливо-заботливый Ванечка Юдин говорил на диалекте жителей среднего течения Оби, все еще употреблял старинные слова; он никогда в мирное время не выезжал из Чила-Юла, кончил в школе всего пять классов, за всю жизнь прочел три книги — роман В. Шишкова «Угрюм-река», «Иван Иванович» А. Коптяевой и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, — а газеты читал только в годы войны. Лицо у Ванечки было типично обское — чуточку узкоглазое, загорелое, с жидкой растительностью, так как коренные обские жители издавна мешались кровями с безбородыми аборигенами-остяками; однако на голове у Ванечки росли густые, кудрявые и такие черные волосы, что думалось о его далеких предках с теплой Украины.

— Вообще, я хуже тебя человека не видал! — сердито сказал Ванечка звероподобному Устину Шемяке. — Во-первых сказать, жаден, как поп, во-вторых выразиться, с лица страшон, ровно какой цыган, в-третьих обсказать, водку четвертями заглатываешь... И еще с нами гужеваться не желаешь! Да мы на тебя — тьфу!

Вот и началось веселое, забавное, любопытное, то самое, чего давно ждал Витька Малых, — смешной разговор, общение, беседа, ругань. Поэтому Витька радостно повернулся к Семену Баландину, посмотрев на его оживающее лицо, увидел, как распрямились глубокие складки на лице, делалась все более прямой спина, руки все тщательнее обирали соринки с одежды и стряхивали пыль. Ожидая от Семена Баландина справедливых, умиротворяющих слов, Витька Малых ласково смотрел на его лысеющий покатый лоб, очень добрые губы, заглядывал просительно в ореховые глаза. Он любил Семена Баландина, всем рассказывал, какой это чудесный человек, и всегда добавлял, что ходит с приятелями по поселку только из-за того, что не может бросить Баландина, когда тот сильно пьянеет и становится беспомощным, как ребенок. Сейчас Витька нежно улыбался Ба-

ландину, вопросительно глядел на него, и Семен сказал специально для Витьки:

— А все-таки погода хорошая!

День на самом деле образовывался приличный. Солнце подскочило еще на вершок над горизонтом, лучи выпрямлялись, становились прозрачнее, над рекой кончалось безостановочное кружение белых чаек, насытившихся рыбешкой; за ельником шли девчата, смеялись чему-то, вспоминали какого-то Вальку Ступина и от этого смеялись все громче и все тревожнее. Когда девчата прошли, веселые елки осторожно раздвинулись, и сквозь синие ветви проглянула макушка головы и палка бабки Клани Шестерни. Глядя в землю, старая старуха затрясла головой, словно заклевала зерно, звонко засмеявшись, радостно сказала:

— Вон вы где обретаетесь, миляги! Ну я пошла!

Бабка мгновенно скрылась в шелестящем ельнике, закудаhtала, уже невидимая, и Витька Малых навзрыд хохотал: появление Клани Шестерни, ее кудахтанье, торопливый уход, привычная фраза — все говорило о том, что воскресная жизнь четырех приятелей началась и продолжалась нормально, обычно, правильно и что у Витьки Малых все еще впереди... Шатание по деревне, доставание денег, перешептывание, ссоры, примирения, пьяные разговоры и само пьянство...

### 3

Медленно, осторожно, как бы принохиваясь, приглядываясь, четверо снова двигались по длинной чила-юльской улице: у Ванечки Юдина оттопыривался карман с пустой бутылкой, Устин Шемяка оглядывался хищно, Семен Баландин по-прежнему удивленно смотрел на мир, а Витька Малых, замыкая шествие, продолжал петь про моряка, который приехал на побывку. Четверка пока еще шла по улице бесцельно, Ванечка Юдин только глубокомысленно морщил лоб, что-то соображая, но все равно в кошачьих движениях приятелей ощущалась подспудная осмысленность, в отрешенной задумчивости читалась предопределенность действий, в осторожном шаге — вкрадчивость.

Четверо приятелей, как выражался Устин Шемяка, «шакалили», то есть искали возможность еще раз выпить... В уютных, веселых от солнца, спокойных по-воскресному домах скрывались рубли и тройки, таилась

самогонка, старела до кондиции хмельная брага, остывали на льду погребов заранее купленные бутылки водки. Поселок Чила-Юл походил на крепость, которую четверке надо было взять — где длительной осадой, где хитростью и коварством, где измором и угрозами. Поселок Чила-Юл был богат, как всякий поселок, где жили рабочие шпалозавода, получающие ежемесячно по двести-триста рублей, держащие коров и свиней, большие огороды, умеющие рыбачить и охотиться; люди в поселке не любили считать деньги, охотно их тратили, хотя зарабатывали нелегким, а иногда и опасным трудом. Жители рабочего поселка Чила-Юл были по-сибирски щедры и размашисты; если гуляли, то гуляли широко, если одаривали, то щедро.

Приятели шли теперь так: впереди шествовал Ванечка Юдин с озабоченными морщинами на лбу, за ним грозно двигался Устин Шемяка, на шаг отставал от него удивляющийся миру Семен Баландин, а еще шагов на пять позади всех напевал про моряка Витька Малых, и это было такое расположение четверки, какое можно было наблюдать каждое воскресенье после первой бутылки водки.

Поселок Чила-Юл уже проснулся. Почти во всех дворах дымились летние печурки, бегали по улицам ребятишки, перекликались через заборы женщины, старики на скамейках вели уже довольно оживленный разговор, а во дворе у рамщика Василия Сопрунова все семейство уже сидело за дощатым, врытым в землю столом.

Мимо двора Сопруновых четверка прошла тихо, безмолвно, с опущенными в землю глазами; когда дом их за высоким забором остался позади, Ванечка Юдин, захихикав, сказал:

— Василь-то Егорович-то — бухгалтер! Его-то баба каждый раз в орсовском магазине концерву берет, что называется «Сиг»... Три банки берет, чтоб каждому по полбанки... А вместо чая они какаву... Значит, стакан, в него — три ложки какавы да три ложки сахара... И давай пить!

Устин Шемяка злобно усмехнулся.

— Не брешь! — сказал он. — Об прошлое воскресенье Сопруниха концерву «Мелкий частичк» брала! Это тебе как?

— А не как!.. Почто бы она стала брать «Мелкий частичк», когда Василь-то Егорыч с четверга бонами зай-



мался и, значит, дома был. А ему «Мелкий частик» и не кажи — ему «Сига» давай!

— Опять же не бреши! В четверг Василь Егорыч на погрузке был.

Четверо остановились, сгрудившись в кружок, стали глядеть друг на друга вспоминая и задумчиво, словно что-то потеряли; в молчании прошла, наверное, минута, потом Ванечка проговорил хлопотливо:

— Как же это Василь Егорыч в четверг был на погрузке, ежели сто восьмую баржу кончили в среду вечером? Вот это ты мне беспремен растолкуй, Устин!

— А чего тут толковать! — обозлился Устин. — Ты ежели ум пропил, то молчи... В четверг сто восьмую кончали!

— Как это в четверг, ежели премия?

— Кака еще премия?

— А за досрочную погрузку! — обрадованно запищал Ванечка. — Сто восьмая судострой брала, а Савин на рейд пришел, на часы позыркал и говорит: «Ежели вечером кончите — всем премия выйдет!»

— У тебя ум за разум заходит, дура! Будь у меня под рукой срезка, я бы тебя огреб...

Устин Шемяка действительно начал оглядываться по сторонам, однако ничего не нашел и грозно осердил зубы.

— Сто восьмую закончили в два часа ночи, ребята! — ласково улыбаясь, сказал Витька Малых. — Поэтому вы обои правые... Если смотреть с одной стороны, то вроде в среду, если с другой — то в четверг... А за премии Ванечка прав! Я сам пять семьдесят получил...

— Так где же они? — шепотом спросил Устин.

— Эти пять семьдесят пропиты! — считающе проговорил Ванечка Юдин. — Сегодня рупь — это рупь, в то воскресенье Витюха трешку вынес — это четыре... Ну, рупь Анке пошел... Ты вот лучше скажи сам, Устин, где твои два трояка? Ты ведь тоже за сто восьмую премию огреб...

После этих слов четверо перестали глядеть друг на друга, опутив головы, долго рассматривали носки своих пыльных сапог, шарили по земле глазами с таким видом, словно искали пропажу, а когда молчать сделалось нелегко, Устин Шемяка медленно поднял руку, сложив пальцы кукишем, поднес их к носу Ванечки Юдина.

— А вот этого ты не видал, пьяница несчастный?! У меня небось семья! Детишки образование получают... Не все пропивам, как некоторые...

Семен Баландин молчал. Он оторопело глядел на поселок Чила-Юл, выражение лица у него снова было такое, точно Семен недавно проснулся и обнаружил, что находится в незнакомом месте. Над поселковыми домами, оказывается, тысячесвечовой лампой горело солнце, возле околицы строились пять брусчатых домов, подле конторы шпалозавода стоял новенький «газик», чистый, уютный и веселый поселок обнимала река. Глаза Семена с заузившимися зрачками были широко открыты, плечи удивленно приподняты, а стоял он на тротуаре так робко, отстраненно, словно не знал, что такое тротуар.

— Так! — шептал он сухими, потрескавшимися губами. — Вот так!

Когда совмещение миров закончилось и Семен Баландин снова ощутил себя стоящим на простом деревянном тротуаре, плечи у него ссутулились, глаза погасли. Он болезненно сморщился, но спросил довольно громко:

— А почему мы стоим? Ты нас куда ведешь, Юдин?

Всего три года назад Семен Баландин был директором Чила-Юльского шпалозавода. Тогда он именовался Семеном Васильевичем, ездил на «газике», сидел в просторном кабинете подле стального сейфа, подписывал бумаги и был любим рабочими за доброту, знание дела, простоту и ясный ум. Теперь же спившийся Баландин только несколько утренних минут, следующих за первым опохмелением, походил на прежнего директора.

— Итак, какой у тебя план, Юдин? — переспросил Семен Баландин и поскреб грязными ногтями рукав заношенного пиджака.

Трое молча глядели на Баландина, и в их глазах читалась почтительность к Семену Васильевичу, уважение к его образованию, прошлому высокому положению, а главное, к тому, что сейчас перед ними стоял почти тот самый человек, который несколько лет назад был главным в поселке. И в том, как Семен разговаривал с Ванечкой Юдиным, и в его голосе, и в приподнятой голове, и в слове «план» было прежнее положение Баландина, его прошлая, хорошая жизнь.

— Я достану трояк! — почтительно выступив вперед, сказал Витька Малых. — Прошлую субботу у моей Анки занимали трешку Колотовкины, так обещали через неделю отдать...

— Что ж, пошли к Колотовкиным!

Они пошли быстро — узкими и тайными переулками, в тени заборов и деревьев, согнувшись и стараясь

не шуметь, чтобы не мозолить глаза жителям поселка в такое раннее, трезвое время; минут за десять они добрались до большого дома Колотовкиных, подкравшись к нему, схоронились за палисадником, затаились в тени черемух, как ночные тати; у всех четверых возбужденно блестели глаза, ноздри раздувались, по коже лица струился похмельный, тяжелый пот.

— Давай, Витюх! — прошептал Ванечка Юдин. — Ежели Данила и тетка Марeya будут вместе, долг не проси... Ты тетку Марейо отдельно отзови, да — на ушко ей, на ушко...

— Знаю, знаю...

Витька Малых воровато проник сквозь зеленую калитку, остерегаясь большого лохматого кобеля, молча рвущегося с цепи, прошел по песчаной дорожке к высокому резному крыльцу. Свежее и молодое лицо Витьки выражало истинное удовольствие, двигался он на цыпочках, втягивая голову в плечи. Он был похож на мальчишку, который играет в индейца, крадущегося по тропе войны.

Войдя в просторные сени, Витька нарочно затопал сапогами, так как стучать в дверь в нарымских краях было не принято. Потом он ввалился в темную горницу, посреде которой за столом сидело все семейство Колотовкиных.

— Желаем здравствовать, хозяева! — вежливо поздоровался Витька и вытер о половичок чистые и сухие подошвы сапог. — Приятного вам аппетита, Данила Петрович, Мария Стратоновна, Лизавета Даниловна и все прочие!

Колотов кинская горница была неоштукатуренной, но стены были сплошь оклеены газетами «Красная звезда», которые выписывал Андрюшка Колотовкин, год назад демобилизованный из армии. Он сейчас вместе со всеми сидел за столом, вежливо поглядывая на гостя, хлебал суп. Ради воскресенья Андрюшка был наряжен в тугую солдатский китель, хромовые офицерские сапоги, на груди у него блестела медаль и туманились разные значки.

— Здоров, Андрюшка! — отдельно поздоровался с ним Витька и широко улыбнулся. — А не жарко тебе при кителе-то? Не сопрешь?

Забайкалец Витька Малых старательно осваивал нарымский говор, знал уже много здешних слов и даже умел произносить их напевно-слитно, как это делали местные жители; разговаривая, Витька старался



делать такое лицо, которое бы тоже ничего не выражало.

— Не сопрешь в ките-то, Андрюшка? — повторил он.

Семейство Колотовкиных сидело за столом молча, основательно и серьезно; сам Данила Петрович занимал головную часть стола, по левую руку от него сидела жена, по правую — престарелый отец, за ним — дочь Елизавета, работающая преподавательницей немецкого языка; потом располагался Андрюшка; стол венчала теща Данилы Петровича старуха Рыбалова. Все Колотовкины смотрели на гостя вежливо, но молчали, и привыкший к этому Витька тоже молчал, безмятежно улыбался.

— Надо бы посадить Витюху-то за стол, — после двух-трех минут молчания сказал Данила Петрович, внимательно оглядывая собственную ложку. — Я так смекаю, что его надо бы промеж Андрейкой и тешшой пристроить. А как он пристроится, то ему надо бы ухити-то налить...

Хозяин дома медленно повернулся к Витьке, померцав ресницами, продолжил:

— Ты бы присел, Витюк, за стол-то! Анка-то, баба-то твоя, рыбы-то не варит... У ей рыбы-то нету! У твоей Анки-то! Во-первых сказать, сам ты не рыбалишь, во-вторых сказать, никто вам рыбу-то не продаст, как народ еще опасатся, что рыбинспектору соопчите. В-третьих сказать, рыбу-то, ее ведь надо уметь сготовить... Ты, мать, приглашай Витюху-то к столу! Ты, Андрейка, то-жесть свое слово скажи!

Неторопливо проговорив все это, Данила Петрович склонился над миской, зачерпнув ложкой уху, понес ее к громадным зубам. А его жена Мария Стратоновна напевно произнесла:

— Ой, да ты откушай с нами, Витюшк! Лизавета, ты чего сидишь? Кто будет табурет гостю подавать?

— Садись, Витька! — сказал Андрюшка, отдуваясь от жары. — Уха-то стерляжья!

Витька улыбнулся.

— Я напитый да наетый! — по-местному сказал он. — Кроме того, у вас своя беседа, свой разговор. Когда еще будет новое воскресенье, чтобы всем собраться... Спасибо, Данил Петрович! — Витька поклонился и вежливо добавил: — Мне бы вот только словечком перемолвиться с теткой Марией Стратоновной...

Пока он произносил эти слова, семейство Колотовкиных продолжало спокойно завтракать — почти одновременно опускались в тарелки ложки, медленно поднимались вверх, замирали возле губ, опрокидывались, опять опускались; темп еды был медленный, но ровный, и еда поступала в размеренно жующие рты с постоянностью неторопливого конвейера. Так длилось минуты три, потом Данила Петрович, глядя в полупустую тарелку, сказал:

— Я смекаю, что Семен-то Васильевич-то скоро должен от водки сгореть. У него уже организм пишшу не принимает, а без пишши человек от водки горит... Это все одно, что фитиль без карасина...— Данила Петрович зачерпнул уху, задумчиво остановил ложку возле самых губ.— Ежельше карасин идет по фитилю, то он, фитиль, карасином горит. А ежельше фитиль без карасина, он сам сгорат!.. А Марею отчего не позвать на полсловечка? Небось не оголодат за это время... Марея, а Марея?

— Но?

— Ты перекинься с Витюхой-то полсловечком, ежельше он куда торопится... Поди, не оголодашь?

— Да ничего, Петрович!

— Но так поговори с человеком-то!

Мария Стратоновна бережно положила ложку возле тарелки, подумав, перенесла кусок пшеничного хлеба с правой стороны на левую, еще раз подумав, напевно произнесла:

— Ванечку Юдина тожесть жалко... Во-первых сказать, баян наново разбил, во-вторых добавить, ползарплаты пропиват, в-третьих сказать...

— Мама! — сердито перебила ее учительница немецкого языка Елизавета Даниловна.— Не держите, пожалуйста, человека у порога! Или приглашайте к столу, или...

— А ты бы не встревала! — решительно поднял голову Данила Петрович.— Каждый будет встречать в материнский разговор, так это что? Это изгал. С этим делом мы далеко не уедем, Лизавета... Но ты, мать, пойди все ж таки, пошопчися с Витюхой-то!

В темных сенях Мария Стратоновна молча и быстро выкопошила из-под передника завязанный на два узла носовой платок, поминутно оглядываясь на двери, быстро сунула Витьке три рубля.

— Ты ток молчи, Витюх, ты ток Петровичу не пол-словечка!

— Да что я дурак, что ли, тетка Мария! Спасибо вам и до свиданьичка!

На дворе Витька Малых опять опасливо посторонился задыхающегося от злобы кобеля, радостный и приплясывающий, скорым шагом обогнул большой палисадник колотовкинского дома и пошел навстречу приятелям таким счастливым шагом, что даже Устин Шемяка сразу все понял, обрадовался. Но сказал совсем другое:

— А я уже думал, что Данила тебя по двору водит, нажитое показывает... Вот уж кого терпеть не терплю, так это Данилу!

Семен Баландин голову все еще держал довольно высоко, но кожа на лице снова начинала поблескивать, глаза западали, губы серели. Зато Ванечка Юдин был весь ласковый, задумчивый и мирный.

— Вот что интересно, народ! — философски-медленно проговорил он. — Почто это так получатся, что утром тройки легче добываются, чем к вечеру?.. Может, оттого, что утренний народ добрее вечернего, или еще отчего?.. Вот этого я никак не могу понять...

С глубокомысленным лицом, со смятой трешкой в кулаке Ванечка пошел впереди приятелей, а они двинулись за ним не сразу — тоже, наверное, размышляли о том, что тройки утром достаются легче, чем вечером. Торопиться им теперь было некуда: деньги есть, магазин еще открыт, впереди почти весь день.

Вскоре приятели остановились, потолкавшись и помолчав, подошли к забору, за которым сочно чавкали топоры, повизгивала продольная пила, со сладким стоном впивался в сухую кедровую доску рубанок — это рубил пристройку к дому рабочий шпалозавода Сопрыкин, а два его приятеля — собригадники Устина Шемяки — помогали... Сейчас сам Федор Сопрыкин сидел верхом на смолистом бревне, внимательно прицеливаясь, осторожно рубил замысловатый замок.

— Бог помощь! — сказал Устин Шемяка, приваливаясь грудью к забору. — Сруб-то седни кончите?

— Надо бы кончить, — ответил Сопрыкин и воткнул топор в бревно. — Если седни не кончим — это нам укор! Всего-то и осталось что два венца!

Помощники Сопрыкина тоже остановились, один поднес к глазам рубанок, чтобы убедиться, что железка



стоит правильно, второй положил рядом с собой пилу. Потом оба внимательно посмотрели на Устину, на Ванечку Юдина и Семена Баландина, а на Витьку Малых как-то не обратили внимания.

— Тройной замок — оно хорошо! — сказал Устин. — Только долго...

— А чего нам торопиться? — подумав, ответил Сопрыкин. — Какой замок ни руби, к сентябрю поспеем...

Он поплевал на руки, взявшись за топор, долго высматривал, куда нанести удар, и Устин Шемяка тоже прищурился, тоже глядел в то место, куда должно было упасть острое лезвие, а когда удар рассчитанно, точно упал на нужное место, Устин коротка передохнул.

— Славный топорышко! — сказал он. — Это который Пашкин, что ли?

Сопрыкин не ответил — выцеливал новое место. И пила с рубанком тоже подали голоса. Пахло сосновой смолой, молодой стружкой, сырыми опилками.

4

Опять короткий и толстый ноготь Ванечки Юдина отмеривал миллиметры на граненом стакане, опять отупело лежал на земле Семен Баландин, опять Устин Шемяка ревниво следил за виртуозными пальцами Ванечки, опять Баландин выпил на пятьдесят граммов водки больше, чем другие, и опять он давился водкой, снова бегал в кусты не в силах сдержать рвоту — все было обычным.

Когда вторая бутылка была выпита, четверо приятелей, повернувшись лицами к реке, легли на животы, и это тоже было обычным — они всегда после второй бутылки отдыхали, повертывались лицами к реке и ложились на животы.

Внизу, под яром, мелодично поплескивала Обь, подтачивая высокий глинистый берег. Четверо приятелей лежали на такой возвышенной точке земли, с которой мир открывался воздушно, широко; только на высоком берегу громадной реки у человека возникает ощущение крылатости, безграничности мира, возникает тяга к полету. С высокого яра реки хочется взмыть плавной дугой, медленно и сладостно взмахивая крыльями; пусть остаются слева и справа зеленые верети, пусть проплывают под грудью голубые озера, частоколы сосняков и кедрачей, пусть впитывается в глаза речная сиреневость...

Притихнув, не двигаясь, лежали на теплой земле четверо, глядели на обское левобережье, шурили глаза на солнце, дышали, думали... Смутно улыбался собственным мыслям Семен Баландин, пощипывая грязными пальцами верхнюю губу, не спускал глаз с противоположного берега Оби, где остро желтела полоска ослепительного, как лезвие ножа, песка; притих Устин Шемяка, мечтательно напевал сквозь зубы Витька Малых, а Ванечка Юдин все вздыхал и вздыхал.

— На рыбаловку бы съездить... — не выдержав, сказал он. — Сетчишки у меня есть, обласишка на дворе лежит...

На реке появился пассажирский пароход «Козьма Минин» — большой, сияющий, сверху донизу облитый веселой музыкой; ходили по верхней палубе нарядные пассажиры, сверкали красным цветом спасательные круги, наклоненную трубу венчал лихой дымок, а по верхнему мостику расхаживал белоснежный, с позолотой капитан. Репродукторы на палубе «Козьмы Минина» — вот совпадение-то, вот чудо-чудное! — пели голосом Людмилы Зыкиной Витькину песню про моряка: «...Каждой руку жмет он и глядит в глаза, а одна смеется: «Целовать нельзя...»

— Поплы-ыы-л! — протянул Витька. — Поп-лы-ы-л!

Когда пароход исчез за сияющей излучиной Оби и снова стало тихо и грустно, когда музыка затихла, а взбаламученная носом парохода волна, добравшись до берега, с шелестом накатилась на песок, Ванечка Юдин решительно сказал:

— Значится, еду на рыбаловку! Вот первого августа завязываю, маненько себе отдых даю — и на рыбаловку!.. Тока меня и видели!

Накатившись на берег с шуршанием, вода тут же с плеском отхлынула назад, помедлив и как бы собравшись с духом, снова угрожающе двинулась на коричневый песок, но на второй раз у нее сил забраться на возвышение не хватило — только подступила к песку, только жадно лизнула кромку...

— Ты три года завязываешь! — с усмешкой сказал Устин Шемяка.

Он хотел что-то еще добавить, но только махнул рукой и перевернулся на спину. Ситцевую рубашку в горошек Устин уже снял, голубая майка туго обтягивала его волосатое тело, грудь выпирала горой, живот запа-

дал; лежал он тихо, черный и беспомощный, как навозный жук.

— Сопьешься ты с кругу, Ванечка! И я тоже сопьюсь... — насмешливо сказал он, глядя в небо.

Набрав в широкую грудь как можно больше воздуха, Устин Шемяка не дышал так долго, что Витьке Малых тоже не хватило воздуха: он старательно подражал Устину.

— Ты зря каркаешь, Устин! — продышавшись, сказал Витька. — Вот Ванечка завязывал же на Первомай... Тридцатого не пил, первого не пил, второго не пил...

Витькины слова падали в тишину бесшумно, как овальные камни в спокойное озеро... Скрылся окончательно за крутой излучиной белоснежный пароход «Козьма Минин», утихомирилась вода. За стеной молодых веселых елок понемножку оживала позавтракавшая деревня: прошли, разговаривая и смеясь, несколько знакомых грузчиков с рейда, хлопотливо пробежали девочки, пересвистывались тальниковыми свистками мальчишки, важный голос областного диктора объяснял, сколько подкормлено хлебов в колхозах и совхозах области; диктор говорил так раскатисто, что все слова казались состоящими из буквы «р».

— Не надо ссориться, товарищи! — негромко сказал Семен Баландин. — Ссоры никогда не приводят к установлению истины.

Круто взмыли с прибрежного песка две белоснежные чайки, бесшумно начали подниматься ввысь на белоснежных крыльях. Белые, с веретенообразными телами, с огромным размахом крыльев птицы поднимались все выше и выше и были так спокойны, точно покидали землю навсегда.

— Полете-е-е-ли! — тихо протянул Витька Малых.

Семен Баландин снял драную засаленную кепку, огрызком гребешка расчесал волосы, открыв солнцу высокий незагорелый лоб. Приподнявшись на локте, он долго смотрел туда, куда ушел пароход, где расплавились в небе чайки. Одутловатое, водянистое лицо его немного разгладилось, мешки под глазами уменьшились, на губах появилась славная, грустная улыбка.

— Человек — странное существо, — негромко сказал он. — Что определяет его судьбу? Кто может это понять? Вот послушайте историю, которая произошла много лет



назад, когда я работал главным инженером Осиновского завода. Тогда я был молод, только женился на Лизе и был самым счастливым человеком на свете...— Он усмехнулся.— Да, не верится, что я когда-то был счастлив, что у меня была жена, семья... Порой мне кажется, что это было в какой-то другой жизни, а может, это был не я? Или это теперь не я?.. Я хочу рассказать вам историю о серой мыши. Может, я уже и рассказывал ее... Она все время почему-то у меня в голове торчит... Вот и сейчас я о ней вспомнил... А может, и не было этого вовсе, а я сам когда-то придумал!.. с той поры столько выпито водки, что реальность путается с фантазией...

#### Рассказ Семена Баландина

— Так вот. Я работал главным инженером Осиновского завода, когда в поселок к нам приехал Борис Зеленин. Не успел этот Зеленин приехать в поселок, как явился ко мне участковый милиционер предупредить, чтобы я не брал его на работу. Какой-нибудь месяц в поселке, а уже милиции успел надоесть: там избил кого-то, там подрался с геологами, здесь разбил витринное стекло, а там, понимаете ли, облил с головы до ног грязью девчонку в шелковом платье... Оказывается, была у него судимость за хулиганство, но он вышел — и опять за свое. Меня почему-то заинтересовал этот Зеленин, и я попросил секретаршу направить его ко мне, как только он придет в контору... И что же?.. Является. Косая сажень в плечах, голубые глаза. Характеристику с Кетского шпалозавода подает, где сказано, что имеет среднеё образование, что выдавал на-гора по две с половиной нормы... «Простите, Зеленин,— спрашиваю я его,— нельзя ли узнать причину вашего ухода из коллектива Кетского шпалозавода?» — «Пожалуйста,— отвечает.— Я ушел оттуда после драки с мастером...» — «А не изволите ли объяснить, чем была вызвана драка?» — «А мне морда мастера не нравилась!» Забавно! «И вы хотите работать на нашем заводе?» — «Не только хочу, но и буду — у вас трех рамщиков не хватает, а найти хорошего рамщика не так просто...» Ну и нахал! «А если вам мое лицо не понравится, тоже полезете в драку?» — «Да я сейчас дал бы вам в морду, если бы деньги не кончились. А я деньги люблю!» — «Значит, только деньги и любите?» Ухмыляется: «Давай-ка волюнку не тяни,

Баландин, а принимай или пошли меня куда подальше, где кочуют туманы!» А мне, дорогие друзья, действительно позарез нужны рамщики. И, дорогие мои друзья, я принимаю его на работу, и Борис Зеленин начинает свою трудовую деятельность... Длинно расписывать его художества я не буду, так как главное — в финале... Коротко все это выглядит так: только за три первые недели Борис Зеленин затеял две крупные драки с парнями, а в начале четвертой недели учинил в клубе такой дебош, что участковый пришел ко мне домой рано утром и сообщил с торжеством, что Зеленин сидит в отделении и уж теперь-то для суда материала достаточно. Однако милиционер со мной советуется, так как во вчерашнем номере районной газеты в списке лучших рамщиков района Борис Зеленин числится первым... «Что будем делать? — вежливо спрашивает участковый. — Все ли воспитательные меры исчерпаны?» А я сижу и читаю сорок восемь листов протоколов... Боже ты мой! Чего здесь только нет! «Сажайте, — говорю, — к чертовой матери!» А сам тоскую: ведь такого работника отдаю под суд! «Зайдите, — говорю, — с ним ко мне еще разок... Чем черт не шутит!» ...И вот происходит чудо! Настоящее чудо, друзья мои, ибо ничем иным, кроме чуда, не объяснишь такой крутой загиб человеческой натуры, который привел Бориса к исцелению... Часа через два приходят они ко мне, усаживаются, молчат. «Ну что, Зеленин, — говорю, — довоевался? Опять в тюрьму?» А он молчит. Сидит печально на стуле, глядит на меня исподлобья, и лицо у него бледное. Естественно, я говорю: «Струсили, Зеленин? Испугались, когда запахло тюрьмой?! А ведь предупреждали же вас...» Молчит. Кривится, но глаз с меня не сводит. И вдруг тихо просит: «Не сажайте меня! Слово даю, что ничего плохого никогда обо мне не услышите! Не буду больше драться и хулиганить!» Мы с участковым переглядываемся, ничего понять не можем; верить ему, не верить?... А он опять: «Не буду я больше!» — «Почему мы вам должны верить?» — «Из-за мышки...» — «Что?.. Из-за какой мышки?..» — «Серенькая мышь, она сегодня под утро в камере из норки вылезла...» — «Слушайте, Зеленин, не морочьте нам голову! Какая мышь? Откуда вылезла? При чем тут мышь?» — «Серенькая... — говорит, — маленькая, видно, как под кожей сердце бьется...» — «Вы что, убили эту мышь?» — «Нет, — отвечает, — убежала в нору, а хвост тонкий, членистый,

как у ящерицы... И сквозь кожу видно, как сердце бьется...» — «Ну и что, Зеленин? Какая связь между мышью и вашим поведением?» Молчит. Переглянулись мы с участковым, видим, с человеком что-то творится, какая-то перемена в нем... «Последний раз, Зеленин... Больше веры не будет...» И что вы думаете, друзья мои? Проходит месяц, другой, третий, Борис работает, в драки не лезет, никого не задирает, не обижает. Что вы на это скажете, друзья мои? Обыкновенная серая мышь! Вылезла из норки, поднялась на задние лапы, дрожит, хвост членистый, как у ящерицы, под кожей видно, как бьется сердце... Чертовщина какая-то, а не дает мне покоя. Была бы у нас водка, друзья мои, предложил бы я тост за маленькую серую мышь... Человеку знать не дано, когда и где она вылезет из норки... Стоит на задних лапах, нюхает воздух, хвост членистый, под кожей видно, как бьется сердце...

В безветрии неподвижно лежала река, пересекала ее молчаливая лодка, на левой стороне поселка в синих кедрачах начала отсчитывать кому-то длинные годы жизни кукушка. Колыхалось над теплой землей волнистое марево, остроконечные ели вонзались в прозрачное небо, из уличного радиоприемника лился голос все той же Людмилы Зыкиной... Бывший директор шпалозавода Семен Баландин, охватив колени руками, глядел на Заобье, а трое лежали — тихие, молчаливые, немые. Витька Малых, скорчившись, ковырял пальцем ямочку в дернине; ему было нехорошо, тревожно, хотелось уйти домой, но он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Сейчас деньги трудно достать, ребята! — прошептал Витька. — А в одиннадцать Поля закроет магазин... Сейчас уж половина...

По солнцу тоже было половина одиннадцатого: именно в это время оно повисало лучами на кроне старого осокоря, что стоял на кромке яра, именно в это время река из сиреневой начинала делаться желтой, а у берегов просветлялась настолько, что прибрежная полоса, казалось, расширялась за счет донного песка.

Именно в половине одиннадцатого деревня окончательно приходила в себя после длинной предвоскресной ночи. Уже по всей улице разносились мужские и женские голоса, где-то подхрипывала гармошка, звенели велосипеды, на которых катались деревенские ребяташки. Голос Зыкиной исполнял уже четвертую песню, и от



него в воздухе разливалась вечерняя грусть, хотя слова песни были обыкновенными.

— У меня есть рупь! — не открывая глаз, сказал Устин Шемяка. — Ничего не поделаешь: приходится каждого пьяницу поить... Уж така наша доля горемычна!

Устин сунул руку в карман брюк, не копошась пальцами, вынул новую, чистенькую, хрустящую бумажку. И это было сделано так ловко, что можно было понять — рубль давно ждал пальцев хозяина.

— Гони и ты, Ванечка, рупь! — насмешливо потребовал Устин. — Ты седни у Брандычихи два рубля с копейками брал взаймы... — Он на секунду открыл глаза. — Брандычиха про это дело говорила Груньке Столяровой, а Грунька у моей гадости ложку перца брала, так я сам слышал, как она в сенцах мою бабу упреждала... Ты, говорит, свово-то седни держи, Ванечка-то, говорит, с ранья у Брандычихи два рубли с копейками брал...

Витька Малых беззлобно рассмеялся, когда Ванечка Юдин, застигнутый врасплох, беспрекословно вынул из кармана смятый и грязный рубль и, хлопотливо присоединяя его к первому, быстро затараторил:

— А больше у меня нету! Рупь пятнадцать копеек я уже давал, а те сорок три копейки, что у меня еще были, пришлось бабе отдать, как хлеба на обед нету... Да чего ты лыбишься, Устин, да чего ты перекашиваешься, когда я у Брандычихи-то на сахар брал... Вчерась моя баба-то ей говорила: «Хорошо бы до зарплаты рубля два одолжить!» А я этот разговор услышал да вот утресь и пришел к Брандычихе. Раз обещала моей бабе, говорю, два рубля, так давай их сюда, я по бабиному слову к тебе пришедши, но ты, Брандычиха, дай мне не два рубли, а дай два с копейками, как сахару тоже нету... И что же это означат? Это то означат, что восьмидесяти семи копеек не хватат... Ах, ах, где же их брать?

Ванечка Юдин не глядел на Семена Баландина, озабоченный, обращался только к Устину и Витьке, но бывший директор шпалозавода густо покраснел... Придя в себя окончательно, сделавшись на короткое время прежним человеком, Семен Баландин страдал от того, что пьет на чужие деньги, и вот сейчас сидел съездившись, туго отвернув голову.

— Достанешь, Ванечка, восемьдесят семь копеек! — по-прежнему насмешливо сказал Устин. — Вот чего это

у тебя в правом кармане брякат, когда перевертываешься с живота на спину?

— Ключи!

Устин весело захохотал.

— Ключи? А ну, еще раз перекайся-ка с брюха на спину... Нет, ты перекайся-ка, перекайся-ка... Не хочешь?

— Ну, есть у меня полтина,— после паузы сказал Ванечка.— Так все равно тридцати семи копеек не хватат!

— Добавлю тридцать семь копеек!— ответил Устин.— Почто мне тридцать семь копеек не добавить, ежели ты, гадость, полтину кладешь!

Снова весело и незлобиво рассмеявшись, Витька Малых резво поднялся с теплой земли. Ему было хорошо и счастливо оттого, что Ванечка и Устин поладили, что нашлись восемьдесят семь копеек, что Семен Баландин, справившись со смущением, опять грустно глядел в сторону Заобья. Витька Малых был счастлив тем, что остался позади страх от рассказа о маленькой серой мыши, что с лица Семена сошла смертная бледность и что Устин Шемяка уже доходил до той стадии опьянения, когда казался не таким звероподобным, как обычно. Все было хорошо в этом солнечном мире, и Витька Малых протянул руку к Ванечке.

— Давай деньги!— смеясь от радости, потребовал Витька.— Я живой ногой в магазин сбегаю...

Крепко зажав деньги в кулаке, подпернув штаны, Витька уже было приготовился бежать в сельповский магазин, как услышал тонкий призывный свист Ванечки Юдина, а потом заметил и другое — из синих елок показалась наклоненная макушка и суковатая палка бабки Клани Шестерни. На этот раз старуха появилась не одна, вслед за ней ветви раздвинула могучая рука жены Устина Шемяки, известной скандалистки и матерщинницы тетки Нели. Она была могуча и дородна, все лицо у нее было усажено волосатыми бородавками, на жирной шее висели громадные бусы, похожие на кандалные цепи.

— Вот они, соколики, вот они, болезные!— радостно запищала бабка Клania Шестерня, тыча палкой в сторону приятелей.— Вот они где обретаются, Нелечка, вот какой разворот дают себе... Ты их сведи на нет, касатушка!

— Здорово, здорово, мужики!— басом сказала тет-

ка Неля.— Вот ты, Семен Василич, драстуй, вот ты, Ванечка-гадость, драстуй, вот ты, Витька-подлюга, драстуй! Все драстуйте!

Жена Устина стояла подбоченившись, бусы на ее шее побрякивали, широко расставленные ноги были увиты толстыми синими венами.

— А ну, подь-ка сюда, Витька-подлюга!— сказала мужским басом тетка Неля.— Чего это у тебя в кулаке зажато? Покажь, гадость, чего ты за спину прячешь?

— Витька, тикай!— звонко закричал Ванечка.— Тикай, Витька!

Не доверяя собственному крику, Ванечка кенгуриными скачками бросился к Витьке, разделив своим худеньким телом его и тетку Нелю, толкнул парня в спину, и это было сделано своевременно, так как толстуха с неожиданным проворством вдруг прыгнула вслед за ними, стремясь поймать Витьку за руку, но, на счастье четверых, промахнулась, пробежав по инерции дальше, запнулась о незаметно протянутую ногу мужа. Некрасиво задрав юбку, тетка Неля растянулась на земле.

— Оп-ля!— радостно воскликнул Устин Шемяка.— Держись за землю, гадость, не то упадешь!

Он злорадно захохотал и хохотал до тех пор, пока жена не поднялась с земли и, отряхнувшись, не пошла на мужа такой медленной и деловитой походкой, какой следует за своей литовкой усталый косарь: он не отрывает подошв от земли, глядит в одну точку, глаза у него разрушительные, так, как вжимающая сталь за один взмах кладет на землю тысячи живых стеблей. Толстые ноги тетки Нели, как ноги косаря на росе, оставляли два глубоких следа на травянистой дернине.

— Остановись!— сквозь зубы сказал ей Устин.— Я тебя счас изуродую... Я тверезый...

Сделав еще два-три шага, тетка Неля остановилась — с перекошенным лицом, с гудящими от злости руками, с пустыми глазницами; в груди у нее kloкотало и хрипело, зубы скрипели, точно меж ними перемалывался речной песок. Они — муж и жена — стояли друг против друга и были похожи, как брат и сестра. Все-все у них было одинаковое: злобное выражение глаз, мускулистые руки, широко расставленные ноги. И слово «гадость» они произносили одинаково — на коротком продыхании, словно бы мельком, как бы приговорочкой.

— Ну, погодим до вечера!— сказала тетка Неля.— Погодим!



В первом часу дня, когда солнце, войдя в зенит, палило немилосердно и тупо, когда река казалась по цвету такой же, как белесое марево над ней, когда над Обью вдруг строгим клином пролетели неожиданные журавли — куда, почему, неизвестно! — когда деревенский народ управлялся с хозяйством, сидел по домам, четверо приятелей энергичным шагом двигались по деревянному тротуару.

Дремали на скамейках молчаливые старики, оживала река — сновали по ней катера и лодки, добрых полчаса шел от одного конца излучины к другому небольшой буксирный пароход «Севастополь», пересекали блестящий плес легкие осинового облаки, и люди в них казались сидящими прямо в воде: не было видно бортов.

Деревня неторопливо готовилась к обеду — опять пылали среди дворов невидимым пламенем уличные печурки, ходили женщины. Громкоговоритель на конторе шпалозавода рассказывал голосом московского диктора о вьетнамской войне, на крыльце конторы сидели несколько рабочих и, тихо беседуя, курили.

По выражению лиц четверых приятелей, по их шагу и стремительным спинам было видно, что пыльная дорога и деревянные тротуары ведут их к ясной цели; решительные, углубленные в свое, не замечающие внешнего мира, они были пьяны каждый по-своему, каждый на свой лад... Воодушевленно светились глаза Семена Баландина, изменившегося уже так резко, что было трудно узнать в нем того человека, который голосом нищего выпрашивал бутылку водки у продавщицы Поли. Сейчас Семен Баландин был не только прямой, но и вызывающе надменный. Перестали дрожать руки, а кожа на его щеках лихорадочно горела... Ванечка Юдин, наоборот, как бы распухал в лице, сосредоточенная складка меж бровями расправлялась, глаза тускнели, важно и вздорно напружинивался подбородок, выпячивалась узкая грудь... Замедливался и понемногу терял хищное выражение лица Устин Шемяка, он становился вялым, мускулы под ситцевой рубашкой опадали, руки неприкаянно болтались... Ярче июльского солнца сиял Витька Малых, выпивший все-таки около трехсот граммов и опьяневший так, что выделявал ногами по тротуару веселые кренделя. Витька теперь уже не замыкал шествие, как два часа назад, а шел сразу за Ванечкой.

Скоро приятели начали понемногу замедлять шаг. Ванечка озабоченно обернулся, поднеся палец к губам, предупреждающе прошипел: «Тсс!» Когда сделалось тихо, стали слышны слова песни: «В жизни раз бываа-ает восемнадцать лет...» Дом, в котором пели, был могуч и велик, сложен из толстых кедровых бревен, сочащихся до сих пор янтарной смолой. На улицу выходили четыре просторных окна, они были распахнуты настежь так широко, чтобы вся улица могла слышать песню и видеть, что происходит внутри дома.

— Заметят!— шепотом сказал Ванечка.— Опять зачнут изгиляться! Небось окна нарочно пооткрывали...

— Сволочи!...— прошипел Устин.— Сроду пройти не дадут...

В могучем доме жил рамщик шпалозавода Варфоломеев, тот самый, жена которого утром стояла в очереди. В доме Варфоломеева каждое воскресенье собирались гости — играли в лото и карты, хором пели песни, а вечером вместе с хозяевами отправлялись в кино или шли глядеть, как играют в футбол местные команды.

— Эх, огородами тоже не обойдешь!— вздохнул Ванечка Юдин, втягивая голову в плечи и сгибаясь.— Давай, народ, шагай по-тихому! Да не греми ты сапожниками, Устин!

Тревожно переглядываясь, четверка тесной кучей двинулась к заветной цели серединой улицы, и, конечно, произошло то, чего все ожидали: песня оборвалась, веселый рамщик Варфоломеев неторопко вышел на крыльцо, а гости, налезая друг на друга и толкаясь, высунулись в окна, заранее хохоча, готовились к веселому представлению, которым их угощал хозяин всякий раз, когда удавалось перехватить знаменитую на весь поселок четверку забулдыг-пьяниц.

— Драсьте, Семен Василич!— раскатисто закричал с крыльца рамщик Варфоломеев.— С трудовым праздничком воскресенья вас, Семен Василич!

Руки Варфоломеев засунул в карманы отглаженных светлых брюк и весело, сыто шурился на солнце.

— Драствуйте, вся остальная честна компания!— радостно гремел рамщик Варфоломеев, спускаясь с крыльца и неторопливо преграждая путь четверке.— Как живете, как работаете, как руководите? У тебя, Семен Василич, може, каки замечания к нам имеются, може, каки указания поступят... Но я тебе заране ска-

жу, Семен Василич, что мы отдыхам! Отдыхам, мы, Семен Василич!

Четверка молчала, глядела в землю, не двигалась. Затаил дыхание Семен Баландин, шумно дышал раздувшимися ноздрями Ванечка Юдин, с непонятной улыбкой разглядывал рамщика Устин Шемяка, болезненно морщился, переживая за Баландина, Витька Малых.

— Отдыхам мы седни, Семен Василич! — наслаждался Варфоломеев и смотрел на гостей игриво. — Люди мы простые, Семен Василич, и отдыхам по-простому... Никто, как Ванечка Юдин, по пятнадцать суток не получают, никто смирну жену не колотит.

Решившись наконец обойти Варфоломеева, четверка двинулась дальше по длинной и пыльной деревенской улице. У бывшего директора шпалозавода Баландина крупно вздрагивала прямая, высоко поднятая голова, Ванечка Юдин возбужденно дрожал и щерил мелкие зубы, Устин тускло усмехался, Витька Малых все глядел да глядел в прямую спину Баландина.

Двигались четверо приятелей медленно, примерно в метре друг от друга, как бы опасаясь расстаться, но и не желая касаться локтями. Палило солнце, поддувал жаркий ветер, река Обь казалась почему-то зеленой. Катеришко «Синица» клевал носом рябой плес, хотя крупной волны не было, но он уж так был устроен, этот катеришко «Синица», что все качался с носа на корму.

— Не могу! Не хочу! — вдруг зашептал Семен Баландин. — Скорее! Скорее! Ну скорее же!

А заветный дом был уже рядом. Краснела четырехскатная крыша, в палисаднике росли крупная малина, смородина, северные низкие яблони, дикий виноград; двор, словно ковром, зарос аккуратно подстриженной травой, скамеечки у ворот не было, а серая овчарка на гостей не лаяла. Громадная собака была добродушно-весела, узнав четверых приятелей, сначала ткнулась влажным носом в руку Семена Баландина, потом повиляла хвостом Устину Шемяке и зубасто улыбнулась Витьке Малых, но почему-то не обратила никакого внимания на Ванечку Юдина.

— Здорово, Джек! — ласково сказал собаке Витька Малых. — Дома хозяйка?

В ответ на эти слова Джек поднял радостную морду, осклабившись, трижды пролаял, что означало: хозяйка дома, сейчас выйдет на крыльцо, будет рада гостям.



Действительно, в тенистых сенях послышалось скрипение пола, задрожав, забренчала дужка ведра.

— Ах, это вы? — раздался насмешливый хриплый голос, и на крыльцо мужской походкой вышла маленькая женщина с закушенной папиросой в зубах. — Здорово, мужички!

Директор Чила-Юльской средней школы Серафима Матвеевна Садовская была знаменита тем, что никогда и нигде, кроме классных комнат, никто не видел ее без папиросы в зубах. Шла ли Серафима Матвеевна по улице, сидела ли в задних рядах клуба, заседала ли на сессии поселкового Совета, ругалась ли со школьниками в коридоре школы, таскала ли воду для поливки огорода, стояла ли в очереди за хлебом — у нее изо рта всегда торчала закушенная желтыми зубами папироса «Беломор-канал». Но еще большую известность Серафима Матвеевна приобрела стремлением накормить каждого человека, переступавшего порог ее дома. Гость еще только здоровался, еще только искал глазами вешалку, а из соседней комнаты уже торопливо выходила на зов Серафимы Матвеевны ее мать Елизавета Яковлевна, оглядев гостя с головы до ног, приказывала ему идти в столовую, где остывал грибной суп или переставивала положенный срок нежная рыба.

Зная обо всем этом, четверо приятелей опасливо сгрудились возле крыльца, и, когда учительница уже повертывалась, чтобы закричать матери: «Накрывай на стол!» — Семен Баландин умоляюще загородился от нее вытянутыми руками.

— Мы не будем есть, Матвеевна! Нам... нам опять надо три рубля...

Заглянув в глаза Семена, учительница переместила папиросу из одного угла рта в другой. Минуту она молчала, потом проговорила, усмехнувшись:

— Ну да! Сегодня же воскресенье...

У Садовской было волевое лицо с двумя складками у губ, большие немигающие глаза, мужской разлет бровей; закушенная папироса придавала ей начальственную, интеллигентность, но руки были черные, крестьянские. Она сама таскала воду на огород, колола дрова, возила тачкой назем на грядки, ухаживала за коровой Люськой, хотя во всем этом необходимости не было: зарабатывала директор школы достаточно, молоко в поселке было дешевое, печь можно было топить сухой, как порох, срезкой, а не колоть березовые чурки.

— Опять три рубля! — помолчав, сказала учительница и опустила на ступеньку крыльца. — Опять три рубля!

Бог знает как хорошо было в дворе Серафимы Матвеевны Садовской! Зеленый ковер подстриженной травы бахромой обрамлял неяркие северные цветы, посередине горела яркая клумба, было так чисто, словно двор каждый день мели, и он казался на самом деле покрытым ковром. На крыльце славно и тихо сиделось, спокойно думалось, мирно курилось...

— Опять три рубля! — повторила Садовская, поднимая отяжелевшую голову. — Когда это кончится, мужики?

Она снова замолкла, опустила голову и приобрела от этого такой вид, словно ушла со двора собственного дома, хотя по-прежнему сидела на ступеньке крыльца. Ее молчание, ее отсутствие длилось минуты две, потом седоголовая учительница вздохнула и сказала тихо:

— Позавчера, мужики, мой Володька впервые пришел домой пьяненьким.

Она медленно оглядела четверых приятелей — одного за другим — и, крепко закусив папиросу, сказала неожиданно жестко:

— Не дам я вам сегодня трешку, мужики. Старая я дура! Мне нужно было сына увидеть пьяным, чтобы подумать об этих трешках, которые вам даю каждое воскресенье... Не дам!

Молча, не глядя в глаза учительнице, Семен Баландин повернулся, чтобы идти к калитке.

— Что ж, Семен Васильевич, — с горечью сказала Серафима Матвеевна, глядя в его сутулую спину. — Дальше пойдете? Я не дам, так другие дадут? Где рубль, где стаканчик... Так, что ли, Семен Васильевич?

Семен Баландин стоял ссутулившись, глядя в землю.

— Опомнись, Семен Васильевич! — страстно сказала учительница и в тоске стиснула на груди руки. — Опомнись, посмотри вокруг себя!

Да, хорошо было вокруг! Зеленый цвет сеяной травы был так пронзителен и густ, что резал глаза, но бахрома северных цветов успокаивала и смягчала эту яркость...

— Поздно уже меня воспитывать, Серафима Матвеевна... — угрюмо сказал Баландин.

— Поздно?! — учительница вскочила со ступеньки. — Хочешь сказать, что раньше надо было воспитывать? Мало с тобой на заводе возились? Мало предупреждали?

Она вдруг остановилась, глядя на Баландина, и чем дольше она глядела на него, тем больше жалости и печали появлялось в ее только что воинственном лице. Помолчав, она тяжело вздохнула:

— Теперь-то уж тебе самому не справиться... Слабый ты, всегда был слабым... Теперь уж тебе лечиться надо...

Семен Баландин тяжело пошел к калитке. Приятели двинулись за ним.

А старая женщина с папиросой в зубах все смотрела со страхом и болью вслед Семену Баландину — бывшему директору Чила-Юльского шпалозавода, бывшему своему другу...

6

В половине третьего приятели опять целеустремленно двигались по длинной улице, хотя всего час назад, выйдя от Серафимы Матвеевны, Витька Малых покаянно думал: «Больше не пойду шакалить!», Устин Шемяка собирался разводиться с женой Нелей, Ванечка Юдин принял решение на полгода уехать рыбачить, а Семен Баландин улыбался с тихой надеждой: «Полечусь и буду здоров!»

С тех пор прошло только шестьдесят минут, а они уже успели достать три рубля у бакенщика Семенова, быстро пропили их, и вот уже опять вышли на охоту, так как после полудня темп жизни четверых приятелей всегда резко возрастал. В их поведении уже не было утренней созерцательности и неторопливости, обожженные солнцем и водкой лица обострились, движения приобрели судорожность, глаза горели в заплывших веках неуголенно и зло.

Приятели приближались к трем самым опасным домам поселка, в которых жили братья Кандауровы. Три брата работали на шпалозаводе рамщиками и были такими дружными, что все у них было одинаковое: дома, одежда, зарплата, судьба. В тот момент, когда приятели приближались к их домам, братья с одинаково серьезными лицами сидели на зеленой скамейке и разговаривали.



Остановившись за двести метров до кандауровских домов, четверо вопросительно поглядели друг на друга, не проговорив ни слова, осторожным шагом перешли улицу. Здесь они молча посмотрели на Витьку Малых, парень ласково улыбнулся и, перескочив через забор, пошел меж грядками чужого огорода. А приятели замерли в ожидании — не залает ли собака, не выбежит ли на крыльцо злая женщина, не заметит ли их, выйдя до ветру, сам хозяин большого огорода. Однако Витька благополучно прошел от городьбы до городьбы, и сразу же после этого стали преодолевать пространство остальные.

Зорко поглядев по сторонам, согнувшись, с ожесточенным лицом бежал меж грядками Ванечка Юдин, сделавшись вдруг таким ловким, умелым, опасным, что в нем сразу можно было узнать бывшего фронтовика; бежал Ванечка сложным зигзагом, провел перебежку так, что использовал все скрытые места — густую грядку мака, горох на тычках, высокую коноплю, посеянную на утеху ребятишкам. Оказавшись на другой стороне огорода, Ванечка Юдин распрямился и одернул спортивную майку, как гимнастерку.

Устин Шемяка двигался по огороду с ленивой медвежьей грацией. Лицо у него теперь было красное и блестящее, глаза поглубели, в них уже не было прежнего тупого, жестокого выражения.

Последним двинулся Семен Баландин. Он тяжело и неловко перелез через городьбу, будучи уже изрядно пьяным, все норовил упасть в крапиву, но чудом удержался на ногах, а когда пошел меж грядками, то заложил руки за спину, подняв голову, надменно прищурился. Он шел по огороду барской походкой, вызываясь насвистывать «Тучи над городом встали», а приятели, ожидая его, смотрели на Семена умоляющими глазами — боялись, что выдаст себя. Однако и Семена Баландина никто не заметил, и он перелез через второй забор, покачнувшись, спросил:

— Где тут дом Медведева?

— Да вон он, вон!

Они находились в коротком и широком переулке, расположенном перпендикулярно Оби и поэтому как бы соединяющем реку с высокой тайгой, которая начиналась сразу за пряслами огородов — входила в деревню лобастым мысом, над которым сейчас висело белое кружевное облако, похожее на кокошник.

— Цыпыловы! — восторженно охнул Витька Малых. — Посторонись, Семен Васильевич!

Во всю ширину и длину переулка по зеленой травушке-муравушке катились десять солнц; четыре солнца были большими, четыре — поменьше, и два солнца были совсем маленькими. Солнца медленно вращались, ослепляя, млели в серединечке, и глядеть на них было больно, и приходилось отворачиваться, отступать под натиском десяти солнц, так как им было все-таки тесно в широком и коротком переулке, покрытом зеленой травушкой-муравушкой. Это возвращалось с прогулки семейство крановщика Бориса Цыпылова. На двух взрослых велосипедах ехали сам Борис и его жена Лена, на велосипедах поменьше катили сыновья Генка и Сережка, на маленьком двухколесном велосипедишке поспешала за ними сестра Наташка.

Широкий переулок был тесен Цыпыловым, хотя они ехали гуськом. На Борисе были светлая тенниска и белые шорты, так же была одета его жена, мальчишки щеголяли в красном, а Наташа имела на бедрах только узенькие полоски плавок. Все они были такие загорелые, что вспоминался плакат «Отдыхайте на Южном берегу Крыма!». Велосипеды под Цыпыловыми не скрипели, не скрежетали цепями, трава под колесами была ровной и мягкой, и почему-то казалось, что десять медленных солнц скатились с верхотинки тайги, оттуда, где белел кружевной кокошник.

Спрятавшись за поседевшие от жары тальники, четверо, не мигая, смотрели на Цыпыловых. У Витьки Малых было точно такое лицо, с каким глядел он на чаек и белый пароход, когда говорил протяжное: «Поле-е-е-те-ли!», «Поплы-ы-ли!» И когда Цыпыловы проехали мимо тальников, Витька протянул:

— Поеха-а-а-ли-и-ии!

Тупо и бессмысленно, потеряв собственное выражение лица, глядел на велосипедистов Устин Шемяка. Он видел, что Цыпыловы появились из белого и зеленого, чувствовал, что кружение спиц ослепляет, но реального объяснения происходящему дать не мог, так как понятия «отдыхают», «катаются», «развлекаются» были для него такими же туманными, как слово «гемоглобин» в справке, которую он недавно принес с медицинской комиссии. И по мере того, как велосипедисты приближались, на лице Устина Шемяки окончательно затвердевала одна мысль, одно выражение.

— У Цыпылова в кране четверть спирта,— сказал Устин, когда велосипедисты проехали.— Чего-то там промывать... Второй год стоит нетронутая!

И в этом для него излилось все то яркое, праздничное, счастливое и свободное, что катилось по травушке-муравушке десятью слепящими солнцами.

Волновался, нервничал, полыхал болезненным румянцем Ванечка Юдин — невольно для себя ссутуливался, втягивал голову в плечи, светлые глаза Ванечки стекленели, проникались бутылочным цветом, приобретали неживой блеск, словно он засыпал с открытыми ресницами. Когда Цыпыловы проезжали мимо тальников, рука Ванечки сделала в пустоте резкое хватательное движение, но тут же обвисла.

Семену Баландину казалось, что он едет на новеньком бесшумном велосипеде... У него были длинные загорелые ноги, обутые в кеды, плечи мягко обнимала тенниска, позади ехала женщина, пахнувшая солнцем; пальцами ног он давил на тугие и сладостные педали, на руле велосипеда сам собой дребезжал звонок.

Потом Семен Баландин увидел себя сидящим в низком и удобном кресле с газетой в руках. Читать газету!.. Медленно развернуть шелестящие страницы, вдохнуть запах типографской краски! Газету можно свернуть пополам, можно сделать из нее узкую полоску, можно положить перед собой на стол... Едут куда-то премьер-министры; нападающие, обыграв защитников, забивают гол; через подмосковное шоссе переходит дикий лось... Семен Баландин крепко зажмурился, опустив голову, старался прогнать видение белого газетного листа, ощущение прохладности от бумаги...

Когда Цыпыловы проехали — перестало веять теплом от кружения велосипедных спиц,— Баландин встряхнул головой, открыл глаза.

— Пошли к Медведеву! — сказал он.— Скорее пошли к Медведеву!

Дом рамщика шпалозавода Медведева походил на скворечник. Был он высоким и узким, удлинняя строение, на крыше торчали две антенны, окна были маленькими, подслеповатыми, словно хозяин не любил яркого света; огорода при доме не имелось, и на том месте, где он должен быть, паслась комолая корова с громким боталом на шее. Жилище рамщика располагалось несколь-



ко в стороне от улицы, видимо, нарочно было повернуто окнами на несуществующий огород, и по этой причине дом стоял как бы отдельно от деревни, но вместе с тем возвышался над другими домами своей колокольной высотой.

— Давай, давай, Семен Василич! — шепнул пересохшими губами Устин Шемяка. — Чего зазря-то стоять?

Скоро они уже поднимались на высокое крыльцо. Крыльцо и сени были совсем глухие, толстостенные, здесь было так глухо и темно, что приходилось чиркать спичку, искать друг друга в темноте растопыренными руками.

— Осторожней, народ, осторожней!

Посередке высокой горницы стоял чудовищно громадный кедровый стол, обставленный полдюжиной титанических табуреток, слева высился самодельный посудный шкаф с маленькими окошечками на створках, похожими на глазки в тюремной двери, три стены опоясывали кедровые скамейки двадцатисантиметровой толщины. В горнице было еще глуше, чем в сенях, тишина здесь звенела и обволакивала лицо паутиной мертвого безмолвия, возникало такое чувство, словно человек спустился в глубокий колодец.

И таким же приглушенным, подземельным был человек, сидящий за столом. У него была толстая, тяжелая голова, глаза за увеличивающими стеклами очков были велики и тоже толсты. Негромко ответив на приветствие неожиданных гостей, Прохор Медведев отложил в сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки.

— Теперь вы сделайте так, граждане, — подумав, сказал он. — Потрите ноги об тряпку да садитесь-ка на лавку, чтобы я вас всех мог видеть. А ты, Семен Василич, садись подле меня... Вы садись, садись на лавку, пьяный народ! Бог стоячего человека только в церкви любит...

Рамщик Медведев внимательно оглядел гостей большими дальнзоркими глазами, поразмыслив, свернул газету на восемь долек, прогладил ее по сгибам и положил по левую руку от себя, так как очки лежали на правой стороне. После этого он с легкой улыбкой постукал ногтями по глухой кедровой столешнице, еще раз поразмыслив, задумчиво сказал:

— Я тебе завсегда рад, Семен Василич. Ты у меня — желанный гость. Вот и садись на хороше место, займай стул по чину, а остальной народ пусть на лавочке обре-

тается... Вот такое дело, граждане-товарищи! Я тебе, Семен Василич, еще больше скажу... На улке дождь, грязь, молонья, ты ко мне иди! Обишко все вокруг себе облила, рыбешки нет, зверь в далечину подался — ты ко мне иди! Шпалозавод сгорел, в народишке мор, война поближе — ты ко мне иди!..

В глухой, темной комнате, на фоне титанической мебели стояли на тонких ножках дорогой радиоприемник «Рига» и лучший из лучших телевизор «Темп-6»; оба агрегата были прикрыты тонкими кружевными салфетками, на салфетках стояли вазы со свежими цветами, а прямо перед глазами рамщика Медведева, между очками и газетой, проливал тихую музыку «Маяка» транзисторный радиоприемник «Спидола», протертый до блеска фланелевой тряпочкой, которая лежала за радиоприемником и для удобства пользования, чтобы не махрилась, была обшита темной каймой.

— Ты завсегда ко мне заходи, Семен Василич,— задумчиво продолжал рамщик, прислушиваясь к сладкой музыке из транзистора.— Я тебя водочкой завсегда угошу, хороший ты человек, но пошто, спрошу тебя, должен я вот этих нахлебников поить на свои кровные?.. Вот ты мне на это ответь, мил друг Семен Василич!

Произнося эти медленные, задумчивые слова, рамщик Медведев поднялся с места, выпрямился, и сделалось видно, как он до смешного непропорционален: при большой, толстой голове у него было щедедушное, маленькое тело, тонкие ноги, узенькие бедра и отдельные от всего этого руки, которые, как и голова, могли принадлежать только телу другого человека — такие они были большие и сильные. Эти руки заросли темными вьющимися волосами, мускулы на них не перекачивались, не двигались, а лежали каменными буграми, металлическими литыми извивами; свои удивительные руки щедедушный рамщик держал по-обезьяньи широко.

— Ежели ты мне не отвечаешь, Семен Василич, пошто я должен этих нахлебников поить, то я тебе сам на это отвечу,— продолжал рамщик Медведев, подходя к шкафу с тюремными глазками.— Я их по той причине пою, Семен Василич, что они с тобой всю пьяную дорогу обретаются и на тебя, Семен Василич, своего рубля не жалеют, как ты завсегда без денег...

Он замолчал. Солнечные лучи в горницу проникали осторожно, упав на некрашенный пол и неоштукатурен-

ные стены, приглушались до оранжевости; толстые кедровые стены не пропускали ни звука, высокий потолок, вместо того чтобы делать комнату просторнее, окончательно впитывал в себя остатки пространства. В этой беззвучной, глухой тишине подземелья рамщик Медведев неслышными пальцами открыл неслышную дверцу кедрового шкафа, достал хрустальный графин, тоже неслышный и с неслышной пробкой, и понес его к столу.

— Варвара, а Варвара! — не повышая голоса, позвал Медведев. — Надо бы закуску сгоношить, Варвара.

В боковой комнате слышались приглушенные шаги, зашуршала материя, и в горнице появилась сестра хозяина — высокая женщина в длинном монашеском платье и черном, глухом платке. Она молча подошла к гостям, сложив пальцы лодочкой, почтительно и с приятной улыбкой подала каждому руку, а Семену Баландину поклонилась в пояс, но руку подать не решилась.

— Спасибо, что зашли, Семен Васильевич! Не забываете нас.

Жена рамщика Медведева погибла в годы войны, детей у них не было, и вот уже около двадцати пяти лет Прохор Емельянович жил с сестрой. Они были дружны и согласны, сестра работала медсестрой в поселковой больнице, дом Медведевых считался одним из хлебосольнейших в поселке. Рамщик зарабатывал около четырехсот рублей в месяц, сестра получала шестьдесят и пенсию за мужа, погибшего на фронте.

— Ты накрывай на стол-то, накрывай, Варвара!

Рамщик Медведев неслышно поставил на стол графин с водкой, заняв свое царственное место, положил руки на столешницу.

Стена над его головой была самой светлой и веселой: ее от лавки до потолка заклеили Почетными грамотами. Девяносто три грамоты висело на стене, начиная от грамоты Президиума Верховного Совета СССР и кончая грамотой поселкового Совета, — вот каким знаменитым рамщиком был щупленький и большеголовый Прохор Медведев.

Его слава была так велика, а положение было таким прочным, что на старости лет рамщик позволил себе роскошь сделаться открыто и вызывающе религиозным, хотя не верил в бога и редко думал о нем. Раз в три месяца он отправлялся за пятьдесят километров в То-



гурскую церковь, где шикарным жестом разбрасывал пятерки и тройки, а потом, во время службы, стоял впереди всех богомольных старух. А вечером с бутылкой дорогого коньяка шел к попу отцу Никите и до поздней ночи вел с ним тайные и медленные беседы.

Иконы занимали всю левую стену горницы.

— Вот такие-то дела, Семен Василич! — тихо сказал знаменитый рамщик. — Новому директору Савину шибко не потрафило, что я его не полюбил... Нет, не полюбил! Мужик он, конечно, работающий, умный, непьющий, но я его не полюбил, бог знает почему... То ли глаз мне его не нравится, то ли директорска баба сильно в кости тонка, то ли директорски очки мне душу воротят? А может, мне то не нравится, что он каждое утро купатся да физкультуру делает?.. Конечно, каждому подольше жить охота, но ты при мне, при Медведеве, рукам не маши, в трусах по песку не бегай, свою бабу при всем народе в ушко не целуй... Да ты слышишь ли меня, Семен Василич?

Семен Баландин, оказывается, ничего не слышал и не видел. Что-то бормоча и пошевеливая пальцами беспомощно висящих вдоль тела рук, он смотрел в пол бессмысленными глазами, опухнув лицом, потел так сильно, что брови казались лохматыми от влаги. Для понимающего человека было ясно, что Семен Баландин вступал в ту стадию опьянения, когда внешние раздражители действуют отрицательно.

Рамщик Прохор Емельянович Медведев, повидавший на своем веку немало пьяниц, легонько вздохнул.

— Ты не ставь разносолов-то, Варвара! — сказал он. — Давай что скорее...

После этого Медведев поднялся, подойдя к Баландину, протянул ему хрустальный графин и красивый фужер.

— Сам наливай, Семен Василич!

Баландин выпрямился, встряхнув головой, посмотрел на графин с водкой испуганно и отчужденно, потом медленно-медленно, страстно и тупо потянулся к водке. В его фигуре, выражении лица, тусклом блеске глаз не было ничего осмысленного, человеческого, и походил он на отупевшее от жажды животное, которому подносят к морде воду. Семен Баландин вдруг схватил графин, прижал его к впалой груди.

— Есть! — хрипло проговорил Семен. — Есть!

У него опять дрожали руки, его так трясло, колотило,

что он не мог, как и утром, взять в пальцы фужер. Поэтому он поставил его на стол, бормоча и колыхаясь, обморочно бледнея, сначала налил полфужера, затем, попридержав горлышко графина, дробно стучащее по краю посуды, по-мальчишески тонко вздохнул, потупился и добавил еще на палец толщины; потом Семен попытался унять руку, самопроизвольно наклоняющую графин к фужеру, но не справился с желанием и добавил еще на палец. Остановился Семен тогда, когда тонкий фужер до краев наполнился водкой.

— Ну хватит! — шепнул Семен. — Хватит!

Нервно пошевеливались под передником руки сестры Медведева, сидел лицом к стенке Витька Малых, морщился Устин Шемяка, презрительно усмехался Ванечка Юдин, рамщик разглядывал толстые ногти на своих пальцах... Потом раздалось прерывистое бульканье, страдальческий вздох, звук горловой спазмы, и наступила тишина, длинная, страдальческая, выжидательная и обнадеживающая.

— Готово! — насмешливо сказал в тишине Ванечка Юдин. — Изволили выпить...

Семен Баландин несколько раз бессмысленно мотнул головой, сделал знакомые, обирающие движения пальцами по бортам грязного пиджака, затем как бы взорвался — сел на табуретке прямо, глаза заблестали, мускулы налились оставшимися в теле силами, прямая спина напряглась, и заносчиво задрался маленький, безвольный подбородок.

— Ты Савина в моих глазах не порочь, дорогой Емельяныч! — грозно сказал Семен Баландин и по-детски погрозил рамщику грязным пальцем. — Ты меня хочешь поссорить с ним, но тебе это не удастся... Не удастся, Емельяныч, хотя я тебя люблю и уважаю... но ты меня с Савиным не поссоришь... — Он покачнулся на табурете. — Савин — человек тоже хороший... А тебе я уж говорил, Емельяныч, что ты самый хороший человек на все-е-е-й земле.

Он качался из стороны в сторону устойчиво, как маятник.

— Ванька, ты чего улыбаешься? Не веришь, что Емельяныч хороший человек?.. Так я тебе докажу! Емельяныч, дай я тебя поцелую... Ты просто не знаешь, Емельяныч, как я тебя люблю и уважаю. Ты мне брат, Емельяныч. Не веришь? Дай я тебя поцелую... Только раз поцелую — и все...

Еще несколько раз покачавшись маятником, Семен упал грудью на стол, застонав от удара об острое дерево, забормотал приглушенно:

— Я всех уважаю, и меня все уважают... Ты дурак, Ванька, если не веришь... Ты ду-у-рак!.. Все дураки, кто не верит... А во что не верит? В серую мышь. Маленькая такая, хвост тоненький, сквозь кожу видно, как сердце бьется... бьется... сквозь кожу видно...

И захрипел перехваченным горлом, полууснул, ушел в полузабытье, в полуобморок...

— Пьяницы, они хорошие люди! — важно сказал рамщик Медведев. — Вот ты на Семена погляди, сестра, как он защищает Савина, хотя тот севши на его место... Ах, беда, какой славный человек гибнет!.. Нет, сестра, не здря, не здря граф Лев Николаич Толстой, говорят, тоже любили пьяниц, как вот я их люблю... Однако, родна ты моя сестра, меж пьянюгами тоже встречается шибко паскудный народишко...

Рамщик угрожающе медленно повернулся к кедровой лавке, пробежав по лицам троих, задержал пронизывающий взгляд на Ванечке Юдине, смерил глазами его с головы до ног, прищурившись остренько, сказал холодно:

— Вот это как получатся, Иван, что тверезый ты человек славный, добрый, а как насосеешься водки, то злей тебя в поселке нет? А вот Устинушка наоборот: в трезвости он зол, а в пьяности — добрей его мужика нет... Это как так получатся, что ты в пьяном безобразии жену бьешь смертным боем, а Устина при его пьяном облиции жена сама колотит? Вот ты мне это объясни...

Это рамщик Медведев заметил правильно. Выпив очередную порцию водки, Ванечка Юдин действительно весь наливался тупой и бессмысленной ненавистью к миру, а злой как цепной пес в трезвости Устин Шемяка сидел на лавке с блаженно-красным и добрым лицом.

— Ну коли ты мне по-хорошему не отвечаешь, гражданин товарищ Ивашка Юдин, — продолжал рамщик, — то покедова Семен Василич дремлет, я такое дело объявляю: тебе, гражданин товарищ Юдин, водки больше нет, а всем остальным — хоша залейся!.. А ты, сестра, не стой. Ты, сестра, присядь, где желашь... Нам сейчас Устинушка Шемяка зачнет рассказывать, как на областно совещание передового народу езживал... Ты давай-



ка, Устинушка, призакуси, чем бог послал да обскажи, как дело-то было...

Устин Шемяка пошевелинулся, застенчиво улыбнувшись, сказал неуверенно:

— Да чего там рассказывать-то. Во-первых сказать, все знают, во-вторых объяснить, ты здря, Емельяныч, на Ванечку-то взъелся... Он вот молчит, не перебивает...

— Нет, уж ты рассказывай, Устинушка! Ты уж потешь народ, добрый молодец!.. Я вот даже радиво выщелкну, чтоб тебя послушать... Начинай с богом, Устинушка!

#### Рассказ Устина Шемяки

— Про это дело ежели рассказывать, то надо по-подробне рассказывать, чтобы склад был, а ежели склада не будет, то лучшее и не рассказывать... Так что сидеть вам надо спокойно, перебивать меня не следоват, я и сам собьюси, когда на город переезживать стану... Ну, ежели по порядку соопчать, то это еще в тот год было, когда из рамщиков я само первым стахановцем был, меньше сто сорока процентов нормы не давал, с Доски почету не слезал, каждый месяц да квартал мне — премия! Когда сто рублей старыми, когда — двести, а когда и все пятьсот... Одним словом, давно это было, еще при старых деньгах, когда мы с Петрой Анисимовым, Кешкой Мурзиным да Аникитой Трифоновым на совещанье передового народу в область поехали. Я еще тогда ни разу в городе-то не был, как на фронт меня не брали, что я рамщик... Главне этой специальности в войну только одна специальность была — пилоправ!.. Ну, в город мы едем сразу опосля майских гулянок, пароход называется «Пролетарий», мы — каждый при каюте, матрац под тобой мягкий, полосатый, ровно зверь зебра, на пароходу два буфета, в один всех запускают, в другой — только нас, стахановцев.... Теперь вопрос заострям так, что на каждой пристани еще народ присаживается. Скажем, в Кривошеине гляжу: Степша Волков! «Здорово, парнишша, ты это откуда и куда, чего на пароход громоздишься при бостоновом костюме?» — «Тоже, — отвечат, — премию лажу получить, я счас на лесопункте механиком, мне зарплата — три тысячи пятьсот! Пошли-ка, парнишша, в буфет, мы за это дело разговор поймем...» Ладно! Хорошо! В область бежим пароходишком быстро, а народ все подваливат да подва-

ливат! Обратно гляжу: Виталька Веденеев из Молчанова, назад глаз ворочу: Ивашка Балин из Парбигу... Ну, просто шею извертел — так знакомого народу шибко!.. Быстро ли, медленно, но приезжаю в областной город, с пароходу сгружаюсь — мать честна! Тут тебе духовой оркестр, тут тебе плакат «Привет стахановцам!..». Тут тебе прямо на берегу барышня сидит и командировочну деньгу дает. Я, к примеру, на стары деньги триста восемьдесят получил — рупь к рублю! Теперь надо за город объяснить... Дома, конечно, пребольшуши, транвай по рельсу бежит, названивает, в магазинах — коверкот! А в гостинице — абажур... Сам он, значит, круглый, розовый или зеленый, внутри проволока, кругом кисть! В самой гостинице три этажа, а на первом этаже — ресторан с музыкой. Даешь мужику, который меж столами бегает, двадцатку, говоришь: «Катюшу!» — получаешь «Катюшу!» Ну, тут вам правду сказать, мы и начали при командировочных деньгах куражиться, разгул душе давать!.. Скажем, я за «Катюшу» двадцатку выброшу, Петра Анисимов, Кешка Мурзин, Аникита Трифонов, Степша Волков обратно же выбросят... Ну, вот тут ребята из Тогура, где церковь, претензию к нам имеют... Один, скажем, подходит, губу набок свертывает и так говорит: «Вы бы,— говорит,— чила-юльские, себе отдых дали, совесть поимели, как и окромя вас есть народ. Мы,— говорит,— всего три раза «Каким ты был, таким ты и остался...» сполнили, а вы,— говорит,— «Катюшей» по второму кругу идете... Как так? Может, вы,— спрашивает,— по тридцатке мужику бросаете?» Я ему и говорю: «Да нет, Марк, двадцатку!» Ну, тут Степша Волков возьми да и захохочи. Все сразу к нему: «Что? Как? Почему?» А он и говорит: «Да вот энтот, что на длинной трубе играют,— это мой свояк! Я ведь на городской теперь женат!» — «Как на городской, когда ты это успел, Степша, ну-к, расскажи!» Тут все тогурские — человек пять — к нам за стол валят... Да!.. Вот, значит, тогурские к нам за стол валом валят, и мы решение принимаем такое, чтобы «Катюшу» вперемежку с «Каким ты был, таким ты и остался» сполнять. Ну, конечно, Степшу слушаю, а он ничего, он молчит, а потом и скажи: «Хватит в этом ресторане пить. Айдайте,— говорит,— в другой — в сам ресторан «Север». Ладно! Переходим в ресторан «Север», садимся за самы лучшие столы, водку заказываю, начинаю пить без торопливости, и опять то «Катюшу», то «Каким ты был,

таким ты и остался» нажваривам... Ну, все хорошо было бы, если бы не Марк Колотовкин. Этот, как захмелелся пошибче, так сразу взял моду кричать: «Мы кетски, мы тогурски, мы лучшее всех!» Он, конечно, мужик фронтовой, грудь у него вся в орденах, но к нам милиционер раз подходит, два подходит, а на третий раз говорит: «Так и в отделение можно угодить, граждане! Пообстереглись бы!» А Марку это одна сласть! «Кого,— говорит,— в отделение? Меня? Ах ты, кила милицесская, ах ты, тылова крыса!» — «Кто кила милицесска? Младший лейтенант милиции? При исполнении служебных обязанностей? Да за это ведь срок!» Ну и берут нас всех, голубчиков, за грудки, из «Северу»-ресторану выводят на простор и ладят вести подальше, а Марк просто надрываются: «Ах гады, ах предатели, ах тыловы крысы!» Он так до тех пор вопит, пока нас всех, миленичков, в большой автобус не содют и не везут в обтрезвитель. Едем, значит, мы, а Аникита Трифонов мне шепчет: «Прячь деньгу в сапог!» Конечно, я, сразу разумшись, остальные двести семьдесят рублей заместо стельки кладу — и кум королю! А в обтрезвителе, братцы, порядок, строгость! Каждому — отдельна койка, простыни, пододьяльник, две подушки, байково одеяло, каждому от головы пирамидон выдают. Ладно! Хорошо! Утром нас чин чином побудили, каждому расписаться в книге велели, а потом говорят: «С каждого семьдесят рублей!» Вот тут-то, братцы, самый смех и есть. А почему? Да потому, что мы отвечаем: «А у нас денег нету!» — «Как так нету? Вы же вчера командировочны получали?» — «А вот так и нету, что мы их пропили». — «Это по триста рублей-то?» Ну а мы свое: «Нам триста рублей — тьфу! Мы поболе вашего получам, мы деньги не считам». Успех?.. При деньгах один Марк оказался, он их в сапог-то не спрятал, как всю дорогу орал: «Тыловы крысы!» Он, Марк-то, с утра тихий стал, все смущатся да извиняются, семьдесят целковых без словечка отдал и смиренный такой пошел с нами на совещанье...

Устин Шемяка застенчиво улыбнулся, не зная, куда спрятать большие черные руки, незаметно засунул их под столешницу.

— Ты дальше, дальше сказывай,— проговорил Медведев.— Про то скажи, как на совещанье пришли...

— Как пришли? Обыкновенно пришли...

— Ты подробность дай, Устинушка, подробность дай!

— Ну, дальше так было...— медленно произнес



Устин.— Приходим, это, мы на совещанье, хотим зайти, это, где сидеть, а нам: «Вы куда? Кто такие?..»

— Ты не останавливайся, ты дальше иди...

— «Кто такие?..» — печально повторил Устин.— Ну, мы и отвечаем: «Стахановцы!» — «Как ваши фамилии?» Ну, мы и говорим: так и так наши фамилии... А они...

— Вот это интересно, что они-то?

— Они и говорят: «Вот это кто!» Вы, говорят, теперь широко известные. О вас, говорят, утром сообщение было, что в милицию попали...

— Ну...

— Ну и не пустили...

Рамщик улыбнулся, расцепил руки.

— Теперь скажи, а на совещании-то в это время кто на трибуне выступат?

— Ты на трибуне, — ответил Устин. — Ты обретаешься на трибуне, Прохор Емельяныч! Это я в дверь видел.

Рамщик Медведев откинулся на спинку стула, хохоча, широко разинул рот, но смех его был вкрадчив, негромок, как бы осторожен. Смеялся он все-таки долго, минуты две, потом сделался серьезным, нахмутив брови, сказал только для сестры:

— Вот ты видишь, какой он есть, твой брат Прохор! А ты вчера: «Не буду пельмени лепить!»

И опять повернулся к Устину, спросил строго:

— Ну а что я с трибуны говорю?

— Этого я не могу сказать, Прохор Емельянович!

— Правильно! — обрадовался рамщик. — Что я говорил, этого ты услышать не мог, коль за дверью стоял! Ах ты господи, Семен Василич просыпается...

Однако Медведев ошибся, так как Семен Баландин только немного поднял голову, сделал попытку открыть глаза, но не смог — опять уронил голову на мягкие руки.

Минуту было тихо, потом рамщик сказал:

— Слабый он человек, Семен-то Василич! Я бы на его месте-то да при его-то грамоте — министр! А вот сейчас я умный, а он дурак!.. Характера у него нет, у Семена-то Василича! А у меня — характер... Я правильно говорю, сестра?

Сестра рамщика ничего не ответила, а только посмотрела на брата большими блестящими глазами.

После медведевского щедрого угощения, после хорошей и крепкой водки знаменитого рамщика четверо приятелей, достигнув той стадии опьянения, когда, как в народе говорят, хмельному и сине море по колено, никого и ничего на свете не боялись. Молчаливые и вздрюченные, с вызовом шли они по поселку. Свесил голову на грудь и покачивался пьяный Семен Баландин, опять потерявший ощущение места и времени, опухший, как вурдалак, страшный мертвенной белизной незагорелого лица; блаженным и радостным был Устин Шемяка, скрежетал зубами в необъяснимой злобе ко всему человечеству тщедушный Ванечка Юдин.

Поздно отобедавший, славно отдохнувший, по-воскресному свободный поселок Чила-Юл следил за четверкой десятками глаз — любопытными и укоризненными, хохочущими и печальными, осуждающими и завистливыми, неприязненными и ободряющими, сердитыми и подначивающими. Вслед приятелям мудро улыбались довольные послеобеденной жизнью старики, сравнивающие глядели на них пожилые женщины, отстраняюще — молодки, с испуганным любопытством осматривали их девчата, непонятно прищуривались мужчины средних лет, посмеивалась легкомысленная молодежь. Некоторые чилаюльцы смешливо здоровались с приятелями, другие — присвистывали, третьи звонко щелкали пальцами себя по тугому горлу, а шпалозаводской бухгалтер Власов, заметив приближающуюся четверку, вышел в одной майке на крыльцо своего нового дома, скрестив руки на груди, усмехнулся саркастически.

— Здорово бывали! — насмешливо сказал он пьяным, когда они поравнялись с ним. — Вань, а Вань, тебе помнится, какой завтра день? А понедельник, гражданин хороший... Будет предельно плохо, если утром не вернешь трешку...

Четверка остановилась... Ванечка Юдин на самом деле занимал под хлеб три рубля у Власова, клялся и божился вернуть не позже понедельника и забыл, конечно, об этой трешке, выпустил ее из виду, как и многие другие трешки, которые одалживала ему сердобольная деревня. Сейчас он вспомнил о деньгах, увидев бухгалтера Власова, и как-то вдруг, без всякой подготовки неистово заорал:

— Вор! Ворюга! Вор, ворюга!

Детские щеки Ванечки покрылись красными пятнами, грязные пальцы сжались в кулаки, глаза выкатились из орбит.

— Жулик! — сладостно орал на всю улицу Ванечка Юдин. — Народ грабишь, подлюга! Кто Гришке Перегудову шесть рублей недоплатил? Кто товар у Поли с-под прилавка берет? Ворюга! Гад! Подлость!

Покачивая головой в такт Ванечиным крикам, бухгалтер Власов неторопливо вышел из калитки, стараясь не пропустить ни одного бранного слова, слушающе выставил в Ванечкину сторону волосатое ухо, присев на скамейку, сладостно почмокал губами. Вслед за этим торопливо перешли улицу два мужика, что сидели на лавочке у противоположного дома, задержалась в стремительном беге по поселку баба-сплетница Сузгиниха, специально пришагал на шум старик Протасов с марлевыми тампонами в ушах, прикатили на велосипедах трое мальчишек, не слезая с седел, поставили ноги на тротуар. Подошел кособокий мужик Ульев и деловито сел на траву, чтобы было вольготнее.

— Каждый бухгалтер — вор и жулик! — кричал Ванечка. — Все гады! Все подлюги! Все ворюги! А ты, Власов, хуже всех... Вор! Гадость! Подлюга! Я тебя в упор не вижу! Я тебя через колено ломаю... Вор! Жулик! Подлюга!

Хохотали и свистели мальчишки, кособокий мужик Ульев согласно кивал, из окон соседних домов выглядывали любопытные старухи в белых платочках, на скамейках, густо обсаженных отдыхающими стариками, царило оживление; на крылечки всех соседних домов высыпали женщины... Только братья Кандауровы по-прежнему отдыхающе сидели на своей зеленой скамейке, положив большие руки на колени, беседовали с таким видом, словно ничего не слышали.

— Тебя надоть сничтожить, Власов! — кричал Ванечка Юдин. — Тебя надоть с двухстволки, тебя надоть... Вор! Жулик! Гадость!

Продолжая неспешно разговаривать, братья лениво поднялись, тяжелым шагом могучих людей пошли навстречу крикам Ванечки Юдина.

Братья Кандауровы были высокими, черноволосыми, с крутыми подбородками и квадратными ушами, а руки у них были такие же длинные и толстые, как у рамщика Медведева. В молодости братья Кандауровы наводили страх на деревню сплоченностью, мужеством в



драке, привычкой, даже обливаясь кровью, никогда не отступать; сами братья драку никогда не начинали, но, если их принуждали драться, били жестоко. В годы войны братья Кандауровы были знаменитым танковым экипажем, прогремели на всю страну, а вернувшись с фронта, принесли на троих двенадцать орденов и множество медалей. Все они работали рамщиками, славились рассудительностью и трезвостью, справедливостью, много лет подряд были членами партийного бюро завода и депутатами райсовета.

Братья шли к пьяным спокойно, касаясь друг друга плечами, одинаково глядели на кричащего Ванечку Юдина, переговаривались вполголоса. Ванечка заметил их поздно, когда братья уже выстроились за его спиной, когда Витька Малых и Устин Шемяка, бросившись к разбушевавшемуся приятелю, схватили его за руки.

— А, братовья! — восторженно закричал Ванечка. — Братовья Кандауровы! Вот по кому плачет срезка! — Он обморочно закатил глаза, на губах запузырилась сумасшедшая пена. — Чего глядите, гады? Не вы одне, гады, раны имеете. И у других есть!

С неожиданной пьяной силой Ванечка вырвался из рук Устина и Витьки, отскочив в сторону, рванул на груди спортивную майку с буквами «Урожай». Слабая материя поддалась так легко и охотно, словно давно ждала этого; с треском разъехавшись от горла до пупа, майка обнажила чудовищный, невозможный шрам на животе Ванечки Юдина: казалось, что желудок вынули, а вместо него возле самого позвоночника бугрилась клочковатая кожа, похожая на свежеразрезанное коровье вымя.

— Гляди, гады, каки раны у других имеются! — кричал Ванечка. — Гляди, как народ воевал!

Сидел на травушке-муравушке наслаждающийся ссорой мужик Ульев, топтался старик Протасов с ватой в ушах, пригорюнившись, стояли две женщины в платочках, заглушил мотоцикл только что подъехавший на шум парень в кожаной куртке и мотоциклетных очках на лбу, толпились мальчишки, спокойно наблюдали за происходящим красивые, здоровые, по-городскому одетые жены братьев Кандауровых.

— Гляди, народ, что Ванечка Юдин с фронту привез!

Глядели на изуродованного человека притихающее

солнце, по-вечернему шелестящие тополя, красные рябины, мягкоцветные черемухи; заглядывали на смертельные раны река Обь, желторожие подсолнухи, дома, небо, белое облако; глядели и три брата Кандауровых, изуродованные лица которых были такими же, как Ванечкин живот. Они, братья, горели в танке, носящем имя «Смерть Гитлеру»; на теле братьев не было живого участка кожи, как и на лицах со сгоревшими веками без ресниц. Спокойно, безмятежно глядели братья на Ванечкину рану, и Ванечка понемногу затихал — перестал кричать, сделал попытку запахнуться в разодранную до пупа майку с отдельными буквами «о» и «ж», протрезвленно встряхнул головой.

— Не вы одне воевали! — тихо проговорил он. — Не вы одне в орденах да медалях!

Вот что говорил Ванечка Юдин, чтобы оправдаться перед братьями Кандауровыми, с которыми вместе учился, дружил, вместе пошел в армию; ехали они в одной теплушке, вместе писали письма домой, вместе вспоминали родную Обь — все было одинаковым в их судьбе, пока война не развела по разным подразделениям: Ванечку зачислила в пехоту, братьев — в танковые войска. А после войны еще одно разделение — сержанты Кандауровы вернулись на шпалозавод, а уволенный из армии старший лейтенант Юдин пошел скитаться по мелким начальственным должностям: был председателем ДОСААФа, артели «8 Марта», заведующим клубом, уполномоченным по сбору лекарственных растений, заведующим магазином, а сейчас работал в спортивном обществе «Урожай».

Тихо было на улице. Славно было. Солнце уж при село заметно к горизонту, лучи потеряли резкость, приглушились, и теперь было еще заметнее, чем утром, какая хорошая деревня этот поселок Чила-Юл. Ласково и мило светились окна домов, чистота улицы под мягким солнцем казалась комнатной, деревья пошевеливали свежей листвой, река катилась бесшумно, мирно, по равнинному.

— Поднадень, Ванечка, другу майку! — раздался в толпе тихий и робкий голос. — Я вот принесла...

Из толпы осторожно вышла женщина с маленьким птичьим лицом, подталкиваемая в спину суковатой палкой бабки Клани Шестерни, приблизилась к Ванечке Юдину, протянула ему застиранную майку с надписью «Урожай». Это была жена Ванечки, счетоводша шпало-

завода Вера Ивановна. Отдав мужу майку, она снова скрылась в толпе, незаметная и серая, как соловыха, согнутая и уже старая-старая, хотя ей не было и пятидесяти.

— Поднаденься, Ванечка! — сказал из толпы старик Протасов. — Поднаденься, чтобы брюхо-то не застудить...

— Прокричался, Ванечка? — негромко спросил старший из Кандауровых, брат Иван. — Надорвал, поди, горло-то!

Пьяные молчали. Давно привалился к забору и подремывал Семен Баландин, сидел отдыхая на свежей траве Устин Шемяка, улыбался растерянно испуганный и бледный Витька Малых. На крыше шпалозаводской конторы радиодинамик пел про Волгу, на которой есть утес, смеялись на огородах женщины, собирающие к ужину белобокие огурцы, в отдалении скрипел колодезный журавль.

— Наше терпенье кончатся! — прежним тоном сказал старший брат Иван. — Ты, конечно, человек раненый, геройский, Ванечка, но тебе надо укорот дать. Семена Василича будем в больницу класть, Устина мы, конечно, из бригады сволим, ежели будет продолжать, а с тобой что?.. Как на тебя управу найти, если ты от району работаешь?

Голос Ивана Кандаурова был тих, заботлив, серые глаза в меру жестковаты и в меру печальны, обожженное лицо казалось особенно страшным оттого, что было спокойно.

Братья по-прежнему стояли тесно, загораживая весь тротуар, касались плечами друг друга, а пьяные, слушая неторопливую речь Ивана, понемногу повертывались к Семену Баландину с таким упрямством и необходимостью, как повертывается к солнцу желтый подсолнух.

— Семен Василич, а Семен Василич! — громко позвал Устин. — Очнись, Семен Василич!

Снижающееся солнце било в опухшее, водянистое лицо Семена Баландина, высветляя громадные мешки под глазами, растрескавшиеся до крови сухие губы, щербатый рот. Приплюснутый к забору, раздавленный собственной тяжестью, Семен все-таки оторвал голову от лацкана грязного пиджака, поглядев на братьев стеклянными глазами, заученным, механическим голосом спросил:



— Ты меня уважал, Иван, когда я был директором? Нет, ты мне прямо скажи, уважал? Ты меня уважал?

— Уважал.

Семен Баландин выпрямился, найдя мутными глазами сидящего на земле мужика Ульева, торжественно показал на него пальцем.

— А ты, Ульев, меня уважал?

— Шибко уважал, Семен Васильевич! — ответил Ульев, продолжая сидеть. — Мы от тебя, кроме пользы, ничего не видели...

— А что ты мне сказал, Ульев, когда я к тебе на первомайскую гулянку отказался прийти?

— Зазнался, говорю, Семен Васильевич.

— Во! Правильно!

Оторвав спину от забора, Семен Баландин опасно покачнулся, начал падать, но не упал, а побежал вперед и повис на плече Ивана Кандаурова. По инерции Семен прилег щекой на грудь Ивана, удержав равновесие, оттолкнулся от Ивана руками и снизу вверх заглянул в страшное лицо бывшего танкиста.

— Хорошие ребята меня приглашали, чтобы поделиться радостью, — сказал Семен, — а вот такие, как Ульев, из подхалимажа... А откажешь ему, на всю деревню крик: «Баландин не уважает рабочего человека!»

Семен Баландин еще раз опасно покачнулся, задержав падение на плече Витьки Малых, пронзительно посмотрел на приятелей и так зачмокал губами, точно сдувал муху с подбородка.

— Ты зачем меня приглашал, Ульев? — тоненьким голосом спросил Баландин. — Тебе чего от меня надо было? Ты отвечай! Чего тебе от меня надо было?

Ульев поднялся с земли, отряхнул с брюк сухие травинки, стал боком отходить в сторону.

— Стой, Ульев! — тонко крикнул Семен Баландин. — Ты зачем меня в гости приглашал? Чего тебе от меня надо было?.. Не отвечаешь?! Тогда дай мне трешку, Ульев! Сейчас дай трешку, когда я не директор шпалозавода!.. Дай трешку! Дай!

Радиоприемник на конторской крыше сообщал о том, что Черное море — самое синее в мире, по улице катили на велосипедах с десятков мальчишек, на западной стороне неба загорелось красным светофорным светом маленькое неподвижное облако, и кожаный парень на мотоцикле мчался к нему с девчонкой на заднем сиденье. Девчонка обхватила парня за талию трепетными рука-

ми, ее длинные волосы не успевали за мотоциклом и казались соединенными с клубами каштановой пыли.

— Давай и мне трешку! — выпучив глаза, истерично заорал Ванечка Юдин. — Давай и мне трешку, Ульев! Рази не я играл тебе на баяне? Кто тебе играл на музыке, гада сопливая? Гони и мне трешку, раз сидишь, как в кино, и на нас глядишь... Давай деньги!

Не обращая внимания на визжащего Ванечку Юдина, Иван Кандауров неторопливо повернулся к братьям и тихо сказал, кивая на Баландина:

— Вот до чего человек дошел, не то что здоровье, а и совесть у него водка отняла... Вся деревня виновата, а он сам правый... Все перед ним в ответе... — Он грустно покачал головой. — Так-то оно, конечно, полегче...

Толпа понемногу расходилась. С треском и ревом клаксона унесся на мотоцикле «Ява» парень в кожаной куртке; пошли, семеня ногами под длинными юбками, словно плывя по тротуару, две печальные женщины; рассеивались по переулкам ребятишки, старики на скамейках снова занялись молчанием, перевариванием пищи, своим собственным стариковским разговором. На улице стало пусто, и только мужик Ульев по-прежнему сидел на траве.

8

И снова по поселку Чила-Юл шла четверка пьяных приятелей. Они двигались в том направлении, куда концентрическими лучами сходилась сейчас вся воскресная поселковая жизнь, — к большому деревянному клубу. Здесь приближался семичасовой сеанс, жужжал киноаппарат, киномеханик Гришка Мерлян уже покуривал на перилах, рядом на футбольной и волейбольной площадках ухали мячи, на клубных лавочках сидели старики, гуляли по тротуарам парами девчата, ездили вокруг клуба на велосипедах мальчишки. Возле клуба было шумно и весело, под лучами приглушенного солнца сверкали разноцветные одежды, празднично зеленело футбольное поле, уже висел над домами прозрачный месяц.

Отделенная от всего воскресного мира, похожая на людей, возвращающихся из плена, приближалась пьяная четверка к нарядному и веселому многолюдью клуба. У приятелей были такие бледные лица, словно не существовало на земле солнца, кожа была так суха и

припорошена пылью, точно на земле не было воды, одежда была такой серой, словно над землей никогда не выгибалась разноцветной дугой радуга. Грязным с головы до ног был нище одетый Семен Баландин, потеряла разноцветье клетчатая ковбойка Устина Шемяки, в волосах опьяневшего Витьки Малых путались желтые хвоинки, оброс за день рыжей жидкой щетиной Ванечка Юдин. Серо-темные, качающиеся, они казались движущимся мрачным пятном на чистом и светлом разноцветье воскресного поселка.

С жалостью и ужасом глядел клубный народ на бывшего директора шпалозавода Семена Васильевича Баландина — самого грязного, опустившегося и несчастного из знаменитой четверки. Когда он подошел к веселому клубу, два старика на крашеной скамейке переглянулись, покачав головами, и неторопливо обменялись впечатлениями:

— Семену бы Васильичу надоть бы в баню сходить! — неторопливо заметил рыжебородый дед и положил подбородок на палку. — Вот ежели ты возьмешь, Флегонтыч, купца, то он через баню себя блюл...

— Твоя правда, Макарыч, — согласился второй старик, костистый и совершенно лысый. — Баня ему не помешат, но и воздух нужен. Через это ему бы надоть в тайгу податься!

Насмешливо, зло и неприязненно смотрел клубный народ на блаженно-красного, счастливого собой и опьянением, всем миром и друзьями Устина Шемяку, которому поселок не прощал того, что сильный, здоровый мужик, как говорили в поселке, «смушал на пьянство» Семена Баландина, Ванечку Юдина и совсем молодого Витьку Малых.

С состраданием и виной перед его фронтовым прошлым смотрел поселковый народ на Ванечку Юдина, о пьянстве которого говорили давно устоявшейся, привычной фразой: «Ванечка-то, он ведь на войне спорченный».

Равнодушно глядел клубный народ на чужака забайкальца Витьку Малых, которому ничего не приписывалось, за которым ни вины, ни добра не числилось, а упоминался он всегда только в связи с Семеном Баландиным, да и то мельком.

Пристально и по-деревенски дотошно глядел клубный народ на четверых приятелей, но уже можно было заметить, что глаза наблюдателей постепенно сходятся



на Ванечке Юдине, так как именно он возле поселкового клуба проявлял особую активность: фыркал и нетерпеливо переступал ногами, кривил нижнюю губу, выпячивал грудь.

Отлично зная, что за этим последует, старики на скамеечке прерывали беседу, мальчишки останавливали велосипеды, не занятые волейболом и футболом парни подходили поближе, а киномеханик Гришка Мерлян переместился на более удобное для наблюдений место.

Ванечка Юдин продолжал наливаясь злобой. Вот он ненавидяще поглядел на футболистов, вот злобным зверьком ощерился на волейбольного судью, вот хищно наклонился вперед, как бы собираясь прыгнуть на ближнего к нему парня, а пальцами сделал такое движение, словно выпускал когти. Потом Ванечка сорвался с места, подбежал к волейболисту, подающему мяч, схватил его за руку.

— Ты откуда подаешь, гадость?! — визгливо закричал Ванечка. — Было же говорено, что надоть отходить два метра от черты! А ты чего делаешь, кила бычачья?! Ты чего делаешь?.. А это кто играт? Это кто играт, я вас спрашиваю?!

Всплеснув руками и тут же забыв о подающем, Ванечка шатаясь подошел к высокому белоголовому парню, издевательски улыбаясь, начал поигрывать отставленной в сторону ногой.

— А тебе кто позволил выйти на площадку? — тихо спросил Ванечка и начальственно-важно огляделся по сторонам. — Я рази тебя не дисви... Я рази тебя не дискви... Я рази тебя не прогнал с площадки? — выпучив глаза, заорал Ванечка. — Я рази не запретил тебе, гадость, ходить на площадку, как ты спортил волейбольный мяч?! А ну, подь ко мне! Второй раз повторяю: подь ко мне... Да не ты, не ты! А вот ты, Сметанин, подь ко мне...

Ванечка Юдин еще раз начальственно и насупленно посмотрел по сторонам, саркастически улыбнувшись, неторопливо вынул из кармана грязный блокнот и огрызок карандаша.

— Такие будут распоряжения, Сметанин! — сквозь зубы процедил Ванечка. — Во-первых, ты, Сметанин, с капитанов свольняшься, во-вторых, вон тот Неганов, который мяч спортил, от игры отстранятся на полгода, в-третьих, сымай сетку... Седни игры не будет! Лишаю

вас игры, как вы не сполняете вышестоящие приказы спортивного руководства... Давай, давай, сымай сетку!.. Кроме того, ты завтра подойди ко мне, Сметанин... Подойди ко мне утречком — я с тобой по отдельности разберусь!

Поигрывающий отставленной ногой, жесткогубый, с выкаченными глазами, Ванечка Юдин сейчас не был смешон. В глазах Ванечки блестели все фронтовые орден и медали, выглядывала из них вся его послевоенная мелкона начальственная жизнь, сверкал огонь до сих пор не погасшей жажды командовать, приказывать, увольнять.

— Пошли, Ванечка! — тихо сказал Витька Малых, страдая за товарища.

Но Ванечка Юдин не услышал приятеля. Он еще раз саркастически улыбнулся, поглядев на Сметанина как на пустое место, сам пошел к волейбольной сетке, чтобы снять ее, и в том, как он шел, как двигался и как нес плечи, тоже не было ничего смешного, ничего легкого.

Ванечке Юдину оставалось всего несколько шагов до волейбольной сетки, когда от футболистов отделилась спокойная фигура в длинных трусах. У приближающегося человека были незагорелые рыжие ноги, обутые в разноцветные бутсы, на голове проглядывала сеточка, надетая для того, чтобы не путались волосы, на футболке белели буквы: «Динамо».

— Морщиков! — испуганно вскрикнул Витька Малых. — Тикаем, Ванечка!

Участковый инспектор милиции старший лейтенант Морщиков, играющий в поселковой команде центральным защитником, был таким неторопливым и вальяжным человеком, так берег свои футбольные силы, что до сетки дойти не изволил: остановившись на краю футбольного поля, он поднял руки и показал Ванечке десять растопыренных пальцев.

— Десять суток! — обмирая, охнул Витька. — Тикаем, тикаем, Ванечка!

Юдин сник так быстро, как сникает человек, если его, швырнув наземь, придавливают коленом. Он болезненно сморщился, выронив из пальцев блокнот и карандаш, попятился, прикрываясь Витькой Малых, ибо милиционер глядел на Ванечку так, точно еще не решил, возвращаться ли на место центрального защитника или надевать форму, висящую на стойке правых ворот. Когда

же Витька и Ванечка допятились до Семена и Устина, милиционер помахал им рукой: «Вон с площадки!»

Четверо пьяных медленно отступали, все пятились и пятились, и Семен Баландин не спускал глаз с вратаря, который стоял у ворот, привалившись спиной к штанге. Это был крановщик Борис Цыпылов — опять весь белый, горячий от закатного солнца. Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!.. Поиграет в футбол, примет в клубной кочегарке душ, пойдет домой на длинных, легких ногах. Перешагнув порог, поцелует жену, детей, поеживаясь от счастья, усталости и здоровья, ляжет в кровать. Чистые простыни! Пододеяльник! Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!

— От клуба не надо бы уходить! — озабоченно шепнул Устин Шемяка, когда приятели благополучно выбрались из клубной ограды. — Якименко сегодня шибко гулят... У его сын из армии возвернувшись...

В доме рамщика Якименко действительно праздновали весь вчерашний вечер и сегодняшней день, сменилось за это время четыре очереди гостей, но к семи часам вечера гулянка уже совсем распалась — сын Васька шастал в кедрачах с Шуркой Петровой, жена Якименко так ухайдакалась с гостями, что непробудно спала, гости разошлись, а Георгий Якименко, оставшийся в одиночестве, принес отцовскую радость клубному крыльцу, буфету и шампанскому, которое очень любил.

Теперь он стоял возле клубного буфета, не протрезвившись еще, лучась радостью здорового и благополучного человека, курил привезенную Васькой из Германии заграничную сигарету и просыпал пепел на черный выходной костюм.

— Я уж не говорю за то, что Васька — кругом классный специалист! — рассказывал Якименко хитрованному старику Пуныгину. — Я уж на то вниманья не обращаю, что он от генерала три благодарности имеет, а я за то хочу тебе, Гаврилыч, сказать, что сын у меня к родителям уважительный. Факт, Гаврилыч, такой... Как это мы зачали гулять, так он, Васька, сразу: «Вы, говорит, папа, и вы, говорит, мама, себя по неправильности ставите, как на обычны места сели... Вы, говорит, в этом доме самы главны! Вам, говорит, надоть поперед всех сидеть...» Вот те палец на отруб, что так и говорит! Хошь у кого спроси...



В этом месте рассказа рамщик Георгий Якименко, конечно, восторженно хлопнул ладонью по плечу старика Пуныгина, старик Пуныгин, конечно, от тяжелой руки рамщика покачнулся, но ничего супротивного не сказал, и Георгий Якименко продолжал бы и дальше свой восторженный рассказ, если бы сбоку не послышался знакомый голос Устина Шемяки.

— Здоров, Жора!— восторженно закричал Устин Шемяка и тоже звонко шлепнул рамщика по широкому плечу.— Здорово, черт собачий! Чего ж это ты от народа утаиваешь, Жорка, что Васька-то весь в медалях из армии пришедший?! Ах ты, Жорка, черт собачий! Дай я тебя поцелую!

И так хорошо сияло доброе лицо Устина, такими искренними были его глаза и радость за Жору Якименко, что рамщик сразу понял: пришел тот человек, которого он, Якименко, ждал со вчерашнего вечера. Устин Шемяка не станет морщиться и недоверчиво покачивать головой, как хитрый дед Пуныгин, Устин Шемяка не будет жеманно отказываться от выпивки, как солидные гости, Устин разделит с рамщиком каждую капельку его счастья и радости.

— Устинушка, родна кровинушка!— в рифму заорал обрадованный рамщик.— Да где ж ты был, где ж ты пропадал, ласточка моя! Ой да ты Устинушка, родна кровинушка! Да ведь мы с тобой, Устинушка, ровно братья... Уж сколь мы с тобой лесу переворочали, сколь мы бревен на себе перетаскали! Виринея, ну, где ты есть, Виринея, когда мой самолутший друг пришел?

Рамщик Якименко разметал в стороны очередь возле буфета, до пояса просунувшись в окошко, заорал в красноещекое лицо буфетчицы Виринеи Колотовкиной:

— Шанпанского нам, любушка, шанпанского!

Выдравшись из окошка обратно, рамщик взасос поцеловал Устина Шемяку, хохоча и приплясывая, кинулся обнимать старика Пуныгина.

— И дружков своих сюда подавай, Устинушка, родна кровинушка!— кричал рамщик.— Весь поселок сюда давай! Виринея, дышло те в горлышко! Шанпанского... Ха-ха-ха! Рамщик Георгий Петрович Якименко гулят! Сын у него вернулся из армии!.. Васька вернулся!.. А ну подходи, который там народ... Батюшки! Да и сам Семен Василич тут! Мать родненька, да это мой родной племяшка Ванечка, сестры моей родной сын!..

Держись, народ, Гошка Якименко гулят!.. Виринея, шампанского!.. Семен Василич, дай я тебя поцелую. Да ты и сам не знашь, какой ты есть человек, Семен Василич!.. Виринея, три плитки шиколада!.. Жорка Якименко гулят!

Солнце понемножечку спускалось к луговым озерам и веретям, бежали по сорам фиолетовые тени, предзакатно розовела Обь, и мерно постукивал мотором катер на зеркально-гладкой воде. На поляне было уже сумрачно, над землей струился прохладный воздух, висели уже над Заобьем две крупные звезды, а луна, набрав силу, сверкала холодно, словно льдинка. На потемневшей поляне валялись пустые бутылки от шампанского, станиольные обертки от шоколада, пустые консервные банки...

Минут десять назад ушел домой вдруг отчего-то заскучавший Георгий Якименко, и на поляне оставались только четверо приятелей. Валялся на захламленной земле Семен Баландин, подремывал с открытыми глазами Ванечка Юдин, радостно и тупо улыбался Устин Шемяка, а Витька Малых время от времени задирает голову, обнажая белые, молодые зубы, громко хохотал. От шампанского, которое Витька пил жадно, как сидро, лицо у него порозовело, движения замедлились, и не было уже в парне ничего от того утреннего Витьки Малых, который лучился радостью, вихляясь из стороны в сторону, пел песню про моряка, что едет на побывку.

Устин Шемяка сладостно улыбался. Он сидел, по-восточному скрестив ноги, покачивался из стороны в сторону, как на молитве; лицо пьяного сладко морщилось, глаза тонули в чувственных морщинах, мускулистая фигура сделалась вялой, бескостной. Из могучего мужика сейчас можно было вить веревки и плести лапти, завязывать его узлом, волочить за собой на уздечке. Сейчас Устин Шемяка никаких перемен состояния не хотел: ни разговоров, ни песен, ни водки, ни движений, ни сна, ни бодрости.

Ванечка Юдин сидел с открытыми остановившимися глазами, совершенно слепыми и по-мертвому остекленевшими, хотя со стороны можно было подумать, что Ванечка видит закатывающееся солнце, сиреневую, как утром, реку и серых по-вечернему чаек.

— Ой, братцы, умру!— медленно захохотав, сказал Витька Малых.— Ну до чего смешно!

Смех его волной пронесся над ельником и поляной, заглухнув в траве, эхом побродил под яром; было тихо, жаловалась иволга за деревенскими огородами, молчал воскресный шпалозавод, пошипливала паром локомотивная электростанция.

— Я просто от смеха помираю!— пожаловался Витька Малых, прикрывая хохочущий рот ладонью.— Ой, чего я вспомнил... Вы от смеха на землю ляжете, братцы!

У пьяного Витьки были детские интонации, нижняя губа капризно оттопыривалась, глаза сияли, а щеки щипал пьяный румянец; смеясь, парень отклонился назад, всплеснув руками, завлекаяще повторил:

— Ой, что я вспомнил, братцы! Устинушка, Ванечка, Семен Васильевич... Семен Васильевич, да ты слышишь ли меня?

Оторвался и упал в воду с яра большой кусок ослизшей глины, услышав всплеск, зорко глянула на реку ближняя к яру чайка, помедлив, на всякий случай спланировала туда.

— А я все равно расскажу!

Витька вскочил, встав на колени, расширившимися глазами обвел приятелей — полуобморочного Семена Баландина, закаменевшего Ванечку Юдина, улыбающегося Устина Шемяку.

— А я все равно расскажу!— повторил Витька и снова нежно засмеялся.— Я возьму да и расскажу... Ой, братцы, что я вам расскажу!..

Описав два плавных круга, чайка поплыла вверх и вверх, словно ее поднимали на невидимой ниточке.

#### Рассказ Витьки Малых

— Ой, братцы, я вам такое расскажу, что вы со смеху помрете... Я не то чтобы пьяный, но голова у меня кружится, а ты, Устинушка, моя кровинушка, не сиди как турок — я уже от хохоту помираю... Ну, дело было на родине, в Забайкалье. Как-то раз ко мне приходит Федька Галицын. Черный такой, из полубурятов, здороваётся, просит попить. Ну я ему даю ковшик воды из речки Ингоды... Ох и вкусная же вода, братцы! Ну Федька Галицын выпивает ковш воды, садится на мою кровать — я тогда при мамке и папке жил — и гово-



рит: «Витька, а Витька, айда-ка на танцы, там все наши бабы будут, если хочешь, я тебя с Веркой Тереньевой познакомлю, она на тебя глаз кладет!» Ладно! Надеваю я вельветовые штаны, белую рубаху, надрючиваю туфли. Приходим в горсад, музыка играет, Федька меня с ходу к трем бабам подводит. Одна баба — его симпатия, то есть Женечка, вторая — кто, неизвестно, третья — Верка Тереньева... Ростом с меня, здесь — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во! «Чего вы, — говорит, — Витенька, на танцы не ходите? Если не умеете, я вас — мигом!» Я говорю: «Ладно!» А тут Федька шепчет: «Давай с Веркой от третьей лишней откалывайся! Потанцуем маленько и пойдем ко мне в общежитку. Я сегодня один — все на линию уехали!» Федька на железной дороге работал, бригадиром, рельсы менял... Ладно! Мы с Веркой от той бабы, которая не знаю кто, откалываемся, гуляем по горсаду, она меня, как зайдём в тень, обнимает да целует. Она за меня замуж хотела! Это сейчас мне двадцать два, а тогда и двадцати не было, я из себя был ничего — молодой, волос у меня был кудрявый... Ладно! Верка, она так: здесь у нее — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во, но мне она не сильно нравилась. У нее верхняя губа толще нижней, когда целуется, мне воздуху не хватает... Ладно! Значит, она обнимается, целуется, я терплю, чтобы не обидеть, — она баба хорошая, а тут и Федька: «А не прогуляться ли нам?» Верка, конечно, спрашивает, куда гулять, и Федька прямо режет: «Возьмем, — говорит, — чего-нибудь выпить да и пойдем ко мне в общежитку!» Ну, Верка, конечно, сразу за меня цепляться, лакированными туфлями — цок-цок! Значит, ей со мной хоть на край света, а Федькина Женька — ни в какую! То да се — идти не хочет... Тут Верка ее в сторону отводит, на нее сердится, а Федька — мне: «Ты не теряйся, Витька! Ты чего краснеешь?» Ну, тут подходят Верка с Женькой, говорят: «Согласны!» Ладно! Идем мы, значит, в общежитку, идем, значит, через вокзал, так как водку только и можно достать как на вокзале... Ну, приходим на вокзал. Федька — в буфет, а мы — на перрон. Я это дело люблю. Один поезд туда, другой сюда, а тут — нате вам! — приходит экспресс Владивосток — Москва. Ресторан в нем, через окно видать, что у буфетчицы на голове кружева. Ладно! «Вы, — говорю, — бабы, стойте на месте, я бананы куплю!» Я эти бананы сильнее других фруктов люблю — ах и сладки, ох и

мягки! Ладно! Иду я в вагон-ресторан, покупаю два килограмма бананов, спускаюсь с подножки, а тут драка... Что такое? Почему? Один мильтон свистит в свисток, двое бегут слева, четвертый — майор — сверху по мраморным ступенькам спускается... Дальше гляжу: ужас! Еще дальше гляжу: мать честная! Один пассажир при пижаме кровью обливается, три пассажира — эти без пижам — на него набегают... Что такое? Почему? Он один, вас трое, милиционеры еще бегут, а майор неторопливо спускается... Ладно! Вижу: один — без пижамы — обратно размахивается и трах по сопатке того, что в пижаме. «Вор! Поездной вор!» Ладно! Хватаю того, что без пижамы, за руку, спокойно говорю: «Чего ты его по сопатке хлещешь, когда она уже разбитая?» Тут слышу: меня — хрясть по голове! Оглядываюсь: это второй, который тоже без пижамы, да еще и орет: «Собобщник! Где милиция?» Ладно! Подбегают. Разом три мильтона, майор с мрамора спускается и говорит: «Садите-ка всех их в вагон, на месте преступления разберемся...» Ха-ха-ха! Значит, девки наши стоят, ничего понять не могут, а потом Верка — вот за что я ее уважать стал! — ка-а-а-к бросится к нам, ка-а-а-а-к схватит милиционера за руку: «Не троньте его! Витенька чистый, как стекло!» Ха-ха-ха! Руки мне назади шнурком вяжут, я со смеху помираю, но кричу: «Да я же читинский, на Большой Бульварной родился... Чего вы меня волочете, когда я только к поезду подошел?» А майору не до смеха: «Разберемся, на какой ты улице родился!» Ха-ха-ха! Ну, дальше вы вообще от смехотки концы отдадите!.. Два милиционера заталкивают меня в купе, третий приводит проводницу и на меня: «Он?» А она... ой, не могу, ой, дайте просмеяться... Ха-ха-ха! Проводница-то и говорит: «Он!» И начинается такая потеха, что я совсем обезживотел... Везут меня до Хилка, а мне завтра к восьми на работу, а ключ от экскаватора у меня в кармане... Вот умора, братцы! Ха-ха-ха! Ну, отчего я такой пьяный, что луна-то... Их ведь две, братцы, вот смех-то! Одна — слева, другая — справа... Ну, отчего я такой пьяный! Да, не молчите вы, ребята!.. Мне одному скучно, мне одному холодно...

Витька Малых упал грудью на землю, вздрагивая и пьяно икая, потом постепенно затих, косо и неловко положив голову на траву. Ресницы у Витьки смежились,



синеватое глазное яблоко увлажнилось, и это сделало его совсем похожим на сонную птицу.

— И почему это так всегда получается,— прошептал он,— что я сбоку припека... В какое дело не вмешуюсь — и мне хуже, и другим плохо... Майор-то мне в Хилке и говорит: «Мы этого поездного вора давно приметили, а когда тебя увидели, решили: сообщник!» И чего это я всегда сбоку припека?

В тишине и молчании прошло минут десять. По-прежнему каменно сидел Ванечка Юдин. Не двигался, чтобы не пролить радости опьянения, Устин Шемяка. Медленно, как бы по частям возвращался в мир солнцезаката Семен Баландин, обморочно-бледный, опухший, тоненько стонал: невыносимо болела звенящая, как бы стиснутая пыточными обручами голова, пустой желудок — Семен Баландин три дня не ел — терзали острые спазмы, в ушах гудело, трещало, выло, как при настройке радиоприемника, над глазами время от времени вспыхивали колющие острые молнии, больные, как укол тонкой раскаленной иглой.

Поддерживая немощное тело руками, уронив голову на грудь, Семен Баландин исподлобья глядел на то, как славно и тихо опускается на землю лунная ночь. Солнце уже пряталось за сизую дымку, устав за длинный жаркий день, накрывалось ею, как пуховым одеялом, все краски мира походили на размытую акварель, и, наверное, от этого чудилось, что в теплом воздухе пел тоненький и грустный пастуший рожок, хотя в безмолвии по-прежнему существовало два звука: все еще стонала иволга да поплескивала под яром розовая обская вода.

— Утопиться бы! — медленно сказал Семен Баландин. — Утопиться бы!

В его голосе звучала тоска по теплой вечерней воде, извечному плавному ходу реки на север, покою берегов, блаженству вечного движения, бесчувственности, беззаботности, сладости всегдашнего неба над зелеными холмиками кладбища... Как хорошо дереву, воде, розовому горизонту... На речном дне покачивались водоросли, ходили сытые и сонные рыбы, донный нежный песок отражал розовость тихой воды. Вечность, медленные движения, покой...

Молодые сине-розовые ели как бы сами собой раздвинулись, показалась седая макушка бабки Клани Шестерни, но дальше бабка не продвинулась — остановилась, пропуская вперед жену Устина Шемяки тетку



Нелю и серенькую, бессловесную счетоводшу Веру Ивановну Юдину. Женщины двигались бесшумно, их появление казалось таким же естественным и необходимым сейчас, как закат солнца, прозрачный свет луны над рекой, тонкий звон комариных крыльев; их появление было таким естественным и необходимым, что Витька Малых печально улыбнулся, Семен Баландин вздохнул, а Ванечка Юдин и Устин Шемяка глядели на жен совершенно спокойно.

Дальнейшее произошло в тишине и неторопливости. Тетка Неля положила одну ручищу на плечо мужа, второй схватила его за волосы и потянула вверх таким движением, словно выдергивала из земли крупную редиску, и пьяный Устин начал медленно приподниматься, как бы вырастая, как бы возникая из ничего. Тетка Неля подняла его лицо до уровня своего лица, повернув к себе, встряхнула, точно полный мешок перед тем, как завязать его.

— Нажрался до отвала, гада? — неторопливым шепотом спросила она мужа и наотмашь ударила его ладонью по щеке. — Нажрался, гада, а огород не огорожен, картошка из погреба не достата...

Она во второй раз хлопыстнула мужа, не отпуская, вытерла ладонь о свое согнутое колено.

— Нажрался, гада, сверх крышишки, а дрова не колоты, огород неполитый, корове ботало не достато!.. На тебе! На тебе!

Замедленно улыбаясь, помолодев, покрасивев, тетка Неля заскорюзлой железной ладонью била мужа по нежной розовой щеке.

Загубленная пьянством мужа молодость — на тебе! Припадочный сын, зачатый в пьяную ночь, — на тебе! Тысячи пропитых рублей, бабье одиночество в холодной кровати, дом без хозяина, дети без отца, насмешки соседок, позор и поношение — на тебе, на тебе, на тебе!

— На тебе! На тебе, гада такая!

Теперь уже три звука существовали в вечерней тишине: стон иволги, плеск обской волны, звонкие удары по живому телу... По-прежнему призывно глядел на темную реку несчастный Семен Баландин; страдая и боязливо втягивая голову в плечи, смотрел на избиение Витька Малых, а очнувшийся Ванечка Юдин хохотал.

— Давай, тетка Неля! Валяй, тетка Неля! — кричал Ванечка. — Жги, тетка Нель, жги!

Но дело уже шло к концу. Широко расставляя ноги, тетка Неля двинулась к ельнику, волоча за собой обмякшего мужа. И только тогда обнаружилось, что на поляне нет жены Ванечки — так она незаметно исчезла. А сам Ванечка Юдин, оказывается, уже стоял на ногах, ощерившись, глядел в ту сторону, куда ушли Устин с женой, и выражение лица Ванечки было такое, точно он продолжал кричать: «Жги его, Неля, жги его!»

Маленький, хилый Ванечка Юдин казался неожиданно крупным на фоне неба, левобережья и прозрачной луны. Лицо Ванечки было покрыто мелкими морщинами, кожа на скулах натянулась, нервно шевелил увядшую кожу шеи острый кадык. Ванечка покачивался, скрипел зубами.

— Нечего сидеть! — крикнул он сдавленным голосом. — Надо дальше иттить... Подымайся, Семен! Витька, гадость, тоже вставай... Чего расселся, губастик чертов!

## 10

Солнце только что спряталось за синюю дымку, голубые задумчивые тени лежали на гладкой дороге, по ночному мычали доенные коровы, бегали по тротуарам обрадованные вечерней прохладой собаки. Поселок отужинал и посмотрел кино, отыграл в футбол и волейбол, отсидел на лавочках; понемногу пустело на улицах, исчезали последние человеческие звуки, во всем, что видел глаз, уже жил длинный рабочий понедельник, о котором не думали только молодые.

Накинув подружкам на плечи свои пиджаки, прогуливали возлюбленных парни, тесно сблизив головы, сидели на свободных от стариков и старух лавочках; те, что постарше, уводили девчат за околицу деревни — целоваться и шептать на ухо ночные слова. Мотоциклисты с девушками на заднем сиденье давно унеслись в луга и верети; шли в обнимку со своими девчонками волейболисты и футболисты в майках с надписью: «Урожай».

В пьяной тройке снова произошла перестановка: впереди, как утром, энергично шагал Ванечка Юдин, за ним — Семен Баландин, он сейчас почти не покачивался, но двигался зыбко, неуверенно, словно ощупывая подошвами каждый сантиметр деревянного тротуара. Витька Малых побледнел, осунулся, то и дело ежилась, точно ему было холодно. Замыкая пьяную тройку, Вить-

ка заботливо приглядывал за Семеном Баландиным, хотя сам волочил ноги, по-старчески шаркал подошвами.

Приятели шли в никуда, шли только потому, что надо было двигаться... Давно закрылся магазин, в домах гасли огни, считанные минуты оставались до конца работы клубного буфета... Тройка шла как бы на ощупь. Они вяло прошли от ельника до сельповского магазина, обреченно постояв возле закрытых дверей, двинулись дальше. Теперь их мог выручить только счастливый случай. Иногда случалось, что в одном из домов горел огонек позднего застолья, иногда на пути пьяных встречался тоже пьяный односельчанин, не допивший спиртные домашние припасы, иногда...

Счастливый случай на этот раз явился в облике мужчины средних лет явно не чила-юльского происхождения. Мужчина прогуливался между крохотной поселковой гостиницей, называемой заезжей, и сельповским магазином. Счастливый Случай Благоприятный к Пьяным держал в руке тальниковый прутик, беззаботно помахивая им, наслаждался деревенской тишиной, теплым вечером, молодой луной. По внешнему виду мужчина был из командированных, которые на шпалозавод приезжали часто: что-нибудь проверить или расследовать, изучать какой-нибудь вопрос, чем-нибудь помогать. Счастливый Случай был облачен в хороший костюм, туфли отражали последние блики заката, в галстук затаенно поблескивала булавка.

— Рубль идет! — шепнул Ванечка. — Стойте на месте!

Продолжая злобно скалить зубы, Ванечка журавлиными ногами подошел к незнакомому мужчине, низко поклонившись, вдруг кокетливо улыбнулся и сделал ручкой так, как делают кавалеры в полонезе.

— Драствуйте! — ласково сказал Ванечка. — Прощайте меня великодушно, товарищ командировочный, но терпезу нет, когда я такое дело вижу...

Ванечка потянулся к высоко вознесенному над ним лицу незнакомца, поежившись как бы от страха, показал пальцем на дымящуюся в полных губах мужчины папиросу:

— Я, дорогой товарищ, из областного центра, апрелем в больнице лежал, как раненный на фронте, так врач сказал: «Вы, товарищ раненый, еще пить-то пейте, но вот это дело ни-ни! Курить, — говорит, — много вреднее, чем пить!» Прощайте великодушно, товарищ коман-



дировочный, только мое фамилие Иван Спиридоныч Юдин. Будем знакомы!

Ванечка торопливо сунул темную ладошку в большую руку незнакомого мужчины, который повел себя неожиданно странно: не слушая Ванечку, он поверх его головы вопросительно вглядывался в неясную фигуру Семена Баландина, полузакрытого Витькой Малых.

— А ваше фамилие как будет?— развязно спросил Ванечка Юдин и мелко расхохотался.— Два колечка на руке носите... Одно, что женатый, второ — что холостой! Ох, знаем мы этих командировочных! Им баба не попадай!

Высокий незнакомец по-прежнему, тревожно вытянув шею и приподнявшись на носки, вглядывался в серую фигуру Баландина.

— Баландин!— тихо окликнул он.— Семен!

Было темно и глухо. Постояв еще немножко в напряженной позе, мужчина разочарованно опустил на пятки и, спрятав в карман ту руку, которую пожимал Ванечка Юдин, веселым басом спросил:

— Так что вам надо, товарищ?

— Рупь!— ласково ответил Ванечка.— Дайте рупь раненому фронтовику, как за народ пролившему кровь... Гоните рупь, гражданин из областного центра!

— Держи!— весело сказал мужчина и двумя пальцами подал Ванечке металлический кружок.— А теперь марш-марш, герой!

Еще раз кинув взгляд в сторону Семена Баландина, мужчина недоуменно пожал плечами, резко повернувшись, пошел в заезжую, так как хорошо погулял по широкой и короткой чила-юльской улице. Длинные и крепкие ноги уверенно уносили от пьяных сильные прямые плечи, гордо посаженную голову с седыми висками, ясную улыбку на полных губах.

— В клуб!— скомандовал оживший Ванечка.— Скорей бежим в клуб...

Возле буфетного окошечка стояли трое мужчин в брезентовых спецовках и пожилая женщина с кожаной сумкой; она уже укладывала в сумку каменные пирожки, а мужчины — рабочие рейда — ожидали очереди.

Ванечка Юдин с торопливой злобностью влетел на крыльцо, остановившись, зачем-то попятился назад, словно ему был нужен разбег. После этого Ванечка сде-

лал обратное движение, то есть подался на полшага вперед, стиснув зубы, поочередно оглядел троих рабочих... Из клуба доносился вальс «Амурские волны», доски крыльца мерно подрагивали, ярко светилось окно буфета, похожее на окно квадратного прожектора.

— Дайте двадцать три копейки! — съезживаясь, крикнул Ванечка Юдин. — Дайте двадцать три копейки!

Маленький, хилый, израненный человек сейчас был страшен. Сквозь щелочки опухших век светились злобные глаза, налился кровью шрам возле уха, тело трепетало, извивалось, зубы — мелкие и острые — были оскалены, а туловище так наклонено вперед, словно Ванечка был готов с урчанием и визгом впиться в ногу ближайшего мужчины.

— Дайте двадцать три копейки! — дрожа, повторил Ванечка. — Дайте, дайте!

В молчании получив деньги, Ванечка купил черную бутылку плодово-ягодного вина и медленно сошел с крыльца, прижимая бутылку и стакан к несуществующему животу. Он двигался боком, оглядываясь, как двигался бы крохотный, но отважный зверек, не только избежавший смертельной опасности, но и уносящий в нору кусок шкуры врага. Дрожащий Ванечка спустился с крыльца, продолжая двигаться боком, завернул за угол клуба, чтобы оказаться в тени, в одиночестве, в радостном безлюдье.

— Идите за мной! Не стойте, идите!

Продолжая мелко дрожать, Ванечка сорвал зубами с горлышка металлическую пробку, наклонив бутылку правой рукой к стакану, стоя начал наливать. Он тяжело дышал, по лбу стекала толстая и прямая струйка пота. Налив полный стакан, Ванечка снова бережно и хищно прижал бутылку к пустоте желудка, ощерившись, хрипло крикнул:

— Давай, Сенька, принимай!

Семен Баландин пошел к стакану падающими, поскальзывающимися шагами, руки и ноги у него не дрожали, а ломались в суставах, как перешибленные, рот западал, зрачков не было — все глаза казались зрачком, утонувшим между толстыми, тяжелыми веками.

— Ты знаешь, кто тебе дал рубль? — хихикнув, спросил Семен. — Борис Прокудин. Мы с ним вместе учились...

— Пей! — заорал Ванечка. — Пей, через колено ломанный!

Стакан с плодово-ягодным вином Семен Баландин держал на уровне пояса. В тишине было слышно, как стекло постукивает о нижнюю пуговицу пиджака, потом рука начала медленно вздыматься, и о стакан застучала следующая пуговица, потом еще одна, и так до тех пор, пока стакан не прижался мягко к обросшему щетиной подбородку Семена. И наконец донышко стакана медленно задралось. Пил Семен мучительно долго, стеная и задыхаясь, судорожно втягивая пустой живот. И когда донышко стакана сверкнуло пустотой, Баландин медленно начал падать спиной на Витьку, который успокоенно шепнул:

— Ничего, ничего, Семен Васильевич!

После этого Витька Малых привычно уложил Семена Баландина на захлававшую траву, повернув его вверх лицом, чтобы не задохнулся, отрицательно покачал головой, когда Ванечка протянул ему полный стакан плодово-ягодного.

— Я больше не буду! — озабоченно сказал Витька. — Мне хватит, Ванечка! Ты гляди, что с Семеном Васильевичем-то делается...

И как раз в этот момент на западной оконечности небосклона погасла последняя светлая точка дня, похожая на раскаленный, остывающий пятак. Он сначала был желто-белым, затем все краснел и краснел, потом края подернулись синеющим холодом, а уж затем холод растворил в себе все красное и оранжевое. Поночному сделалось на улицах поселка, отданного во власть прозрачного месяца.

— Ну, видел, кила поросычья, как деньги достают? — выпив полный стакан плодово-ягодного вина, вызывающе произнес Ванечка Юдин. — Видел, как с народом надо обращаться?! А ну, садись, я тебе буду случай рассказывать, какой со мной был, когда я еще такую соплю, как ты, пополам перешибал одним мизинцем... Садись, мать твою так, когда тебе старший начальник приказывает... Садись!

Было удивительно, что самый маленький, хилый и тщедушный из четверых приятелей пьянел медленнее всех, до сих пор сохранял ощущение реальности и даже чуточку трезвел, когда выпивал очередную порцию спиртного. Однако все это было так, и Ванечка Юдин, скомандовав Витьке Малых садиться, вдруг прошелся перед ним и лежащим на спине Семеном Баландиным цепкой кривоногой походкой.



— Ну вот слушай, кила коровья, кого я тебе стану рассказывать,— грозно сказал Ванечка.— Слушай, гада ползучий, да сиди тихо, ровно тебя тут и нету... Я это терпеть не люблю, когда меня всяка прокудина на ровном месте перебивает!

#### Рассказ Ванечки Юдина

— Случай этот самый произошел почти что на самом кончике войны, когда в точности произошел, этого тебе знать не надо, как ты в сурьезном деле разбираешься так же хреново, как баба в рыбаловке. Мы, сказать тебе, сопля ты зеленая, тогда не то что в обороне стояли или наступление вели, а так себе — середка наполовинку, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик... Я тогда старшим лейтенантом был, френч у меня полковничий, на боку два пистолета — один вальтером прозывается... Значится, стоим мы не то в обороне, не то еще в какой холере, но только мне комбат утром по телефону звонит, я трубку левой рукой беру, четко отвечаю: «Чулым» слушат, товарищ комбат, какие будут ваши распоряжения, товарищ «Кеть»?» Это я оттого так выражаюсь, что наш полк много обского народу имел — комбат и тот был колпашевский, так мы все родны реки себе забрали. Я, к примеру, «Чулым», комбат, как ты сам, гадость, понимаешь, «Кеть», комроты три, к примеру, «Ягодная»... Ну ты это тоже, через колено ломанный, понимать не можешь... «Чулым» слушат, товарищ комбат!» Это я ему через телефонну трубку говорю, а он мне сразу укорот дает. Ты, грит, не слушай, а поглядай по сторонам, не ори, грит, зазря по телефону, как немцы у тебя под носом. Ты хоть, грит, и геройский человек, что за восемь месяцев прошедши от сержанта до старшего лейтенанта, но ты, грит, у меня арест или чего еще похужее схлопочешь! Вот так комбат беседу со мной ведет, а мне это в приятность, это мне в радость — я сам был сурьезный, строгий, так и чужу строгость любил... Этого, говорю, товарищ комбат, больше не повторится, стреляйте, говорю, меня из того вальтера, который я вам достал, если, говорю, такое повторенье будет место иметь. Простите, говорю, виноват, говорю, ваше замечанье принимаю, говорю... Он на это дело в трубку, видать, улыбнется. Ладно, грит, стрелять я тебя из вальтера не буду,

тебе, наоборот, за него спасибо. Сам полковник Студеникин такого вальтера, грит, не имеет... Вот так мы разговор с майором, что из Колпашева, ведем, обоим улыбаемся, а потом он на приказанья переходит. Ну-к, грит, подбери мне пяток обских ребят. Я, грит, с ними с ходу — в небольшую разведку. Надо, грит, немцев за вымя пошшупать, чего это они молчат, голосу не подают, словно их и нету, мать их за ногу! Я отвечаю, как надо, по уставу: «Есть,— говорю,— товарищ майор, сполнить ваше распоряжение! Только,— говорю,— мне ребят нечего подбирать, как они,— говорю,— счас возле меня сидят и спорятся, кому остатний раз бычка курить. С куревом,— говорю,— так плохо, товарищ майор, что надо бы хужей, да некуда. У меня пулеметчики с утра не курены...» Он грит: «Знаю! Сделаю! А кого ты со мной пошлешь, Юдин?» — «Как кого? Да Федьку Мурзина, да Петьку Колотовкина, да Генку Шабалина, да Анатолюку Трифонова, да Олега Третьякова! Все,— говорю,— товарищ майор, наши, чила-юльские, один другого охотник да рыбак лучшее, все,— говорю,— в орденах, как кедр в шишках!» Он говорит: «Это мне подходит! Хороший ты собрал контингент, Юдин!» Вот так он мне говорит, а я ему: «Будет сполнено!» После этого телефонну трубку швырк и тихонечко к тем ребятам подгрещаюсь, которы из-за бычка спорятся. Ка-а-а-к гаркну: «Смирна! Пятки вместе, носки врозь!» Ну они взвились, н-н-у-у они подскочили, ровно их крутым кипятком ошпарили! Однакоть стоят ровно, на меня геройским глазом зырят, сыколики, пятки вместе, носки врозь, а я перед ними хожу, тоже весь бренчу орденами да медалями. Вот что, говорю, орлы-птицы, дело скучное, не разбери-поймешь: то ли мы в обороне стоим, то ли наступленье ведем. Не разбери, говорю, поймешь, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик. Они, само собой, молчат, дисциплину блюдут, но по зыркалкам вижу: заговорят в строю. Вольно, говорю, вопросы имеются, не стесняйся, боевой народ, не боись своего командира — спрашивай. Ну, Анатолюка Трифонов и спрашивает: «А чего ты смекнул, товарищ старший лейтенант?» — «А то,— отвечаю,— что в разведку вас подошлю. Сам,— говорю,— не пойду, как у меня наблюденья и командованья много, а вот майор из Колпашева, тот с вами пойдет». Они, само собой, говорят: «Ура!». «Да здравствует старший лейтенант

Иван Юдин!» — говорят. И тут как раз прибегают колпашевский майор, и я, конечно, своему боевому народу даю дисциплину: «Пятки вместе, носки врозь!» А он: «Давай закуривай, ребята!» И вынает из кармана золотой парсигар — во такой! На-а! Значит, вынает парсигар и мне: «Закуривай,— грит,— Юдин, это тебе за то, что ты мне геройский народ собрал!» — «Спасибо,— отвечаю,— благодарю!.. Это же,— говорю,— довоенны «Пушки»!» Ладно! Он повдоль строю идет, народ осматривает, кого надо, проверят. Шустрый такой, веселый, одно слово, городской, колпашевский... А я «Пушку» курю — ну тебе как весело!.. Опосля того майор команду дает: «За мной,— грит,— по одному! Выходим,— грит,— к дороге Котбутс-Финстервальде...» Вот ты тако слово можешь выговорить — «Котбутс-Финстервальде?» Да ты и не старайся, дура богова, ты тако слово не то что сказать, а и понять не можешь! Дда! Вот, значит, майор впереди, они — за ем, я — на месте. Стою, «Пушку» докуриваю, кругово наблюденье через стереотрубу произвожу, сквозь зубья матерюсь, как промеж нашей позицией и лесом место открытое. А он, немец, начинат оживать: постреливат, мины бросат, разные штуки производит. Это, конечно, плохо, но хорошо! Кульманков, кричу, лутший снайпер моей роты, кричу, давай!.. Кульманков, конечно, из остяков, тоже наш, обской, белку дома в правый глаз бил... Ну, подгребат он ко мне с оптикой, тоже во все горло кричит, как был контуженый. Кого, кричит, батька-матка, бить будем? Офицерье одно, кричит, или всех сподряд? Он меня «батька-матка» звал, как я ему — командир. Всех сподряд бей, кричу, давай не тyani, ребята через чисто поле бегут, а с имя колпашевский майор!.. Н-да! Начинат он немцев выцеливат, одного срезал, второго, третьего и кричит: «Батька-матка, дай, пожалуйста, закурить! У вас в парсигаре папиросы бар-бар?» «Бар-бар» — это по-ихнему, по-татарскому или по-остяцкому, вроде как бы «имеются»... Бар-бар, говорит, хорошу папиросу... Мать честна! Гляжу: колпашевский майор парсигар у меня забыл!.. Ты это пойми, како страшно дело произошло! Парсигар-то колпашевский майор у меня забыл! Стою я ни живой ни мертвый, на парсигар гляжу, и тут меня психическа мысля за ухо берет. Вот, смекаю, колпашевского майора смертельно убили, он умирать собирается, перед ей, перед смертью,



закурить хочет. В один карман — толк, в другой карман — толк, в остатний карман — толк! Парсигара нету! Ах ты, гадость, старший лейтенант Юдин! Это ведь ты, гадость, у меня парсигар увел! Дддд-а! Надо бы хуже, да некуда! Ладно, думаю, где мой помкомроты? — думаю. А он, гадость, в окопе сидит, храпит, гадость, в обои норки. Как так, кричу, взбуживайся, кричу, примай командованье, Петька! Помкомроты взбуживается, конечно, ни хрена не понимает, глазами лупат, но у меня — строгость, у меня — порядок, у меня — не моги! Ладно, грит, примаю командованье, что, грит, прикажешь делать, Иван? «Как что? Веди наблюденье, Кульманкову давай задание, дисциплину блюди, чтоб ни-ни...» Беру три гранаты, вальтер, каску вздеваю — и пошел!.. Бегу, само собой, зигзагой, где надоть, к земле припадаю, в упавшем виде перекатываюсь, обратно бегу кривой зигзагой. Пули — вжиг-вжиг, миномет — ах-ах! Одна мина так близко взрывается, что у меня морда вся в грязи, как утресь дожджина шел. Потом гляжу: двое немцев мне наперекосяк! Нда-а! Двое немцев, значит, мне наперекосяк шпарют, три немца, гляжу, с другой стороны заходят, а еще один чуток справа берет. Шесть человек на одного, а мне парсигар отдавать... Ну дела! И вот послушай, дура ты фенькина, како действие я произвожу, чтоб непременно майора достигнуть... Я, сопля ты зеленая, в лошшину не бегу, а, наоборот, лезу на горушку, чтоб он, немец, — за мной! Кульманков-то, остяк-то нижневартовский, их в лошшине достигать не может, а на горушке — отдай! Нда-а! Покуда я по горушке кривой зигзагой шнырил, он-то, Кульманков, троих срезал. Значится, один немец теперь у меня слева, остальные наперекосяк лезут, но это мне — тьфу! На кой хрен, думаю, он есть, старший лейтенант Юдин?! Залегаю, автомат на одиночные ставлю и того немца, что слева, промеж глаз срезаю, второго — бью в грудь! Значится, теперь у меня один немец, который наперекосяк... Ну, этот шибко опытный! Издаля видать, что на возрасте и рыжий, а колпашевский майор с ребятками уже до лесу подбегают. Это чего же, думаю, я их через этого рыжего не достану, образина ты фашистская?! И тут я тако мероприятие произвожу, что мне бы надоть Героя Союза, а не то дело каблучить, что со мной колпашевский майор выстроил... Я, сухой

ты немазанный, руки вверх вздеваю, встаю во весь росточек и немцу кричу: «Рус капут, бери меня шнель-шнель плен!» Сдаюся, дескать, твоя взяла, образина ты немецкая, бери меня, дескать, с потрохами! Ну, немец, гада рыжая, сперва боится на горушку вздыматься, соображат, сука, что его Кульманков срежет, а потом и смекает, гадость, что он мною, то есть старшим лейтенантом Юдиным, от Кульманкова, как щитой, прикроется. Ну, ползет ко мне немец скрытно, кривой зигзагой, перекатываются, все, черт рыжий, умет и знает!.. Это тебе как? Это тебе, сопля ты зеленая, не с бабой вожжаться, не шеколад-кофе пить, не в кресле сидеть! Это тебе — война, это тебе — старший лейтенант Иван Юдин, это тебе — смерть в глаза заглядат! Способный был немец, умный, как утка, только отруби не ел. Он того скумекать не мог, что Кульманков-то белку в правый глаз бил, что Кульманков-то в мою измену сроду поверить не мог, что остяк-то нижевартовский мою хитрость с ходу понял... Ну, немец голову-то поднял, чтоб мне показать, как за ним в плен ползти, да вдруг и дернулся. Он только чуть-чуть дернулся, а я гляжу: заместо глаза — дыра! А с затылку шерстяна шишка. Ну, как бывает, когда из овечьей шубы клок выдрали. Ддд-а! Догоняю колпашевского майора у самого лесу, за плечо его хвать, докладую: «Так и так, товарищ майор, разрешите парсигар вручить! Не мог я его,— докладую,— ваш парсигар, при себе держать, как курить вам тут с ребятами нечего, а вы подумать можете, что я парсигар нароком утаил!» Это дело у дальнего лесу было, здесь немец нас достать уже не мог. Майор на боку лежал, а тут на брюхо перевертываются, на меня зырит и грит: «За парсигар спасибо!.. Ребята,— грит,— давай закуривай, а ты,— грит,— старший лейтенант Юдин, получи благодарность командования, что нас прикрыл!» Я, само собой, отвечаю: «Служу советскому народу!» Тогда майор опять грит. Теперь дальше, грит, слушайте, Юдин! За одно дело вы, грит, благодарность получили, а за другое дело, грит, десять суток аресту! Па-а-а-а-вторить! Я, само собой, режу: «Есть получить десять суток аресту!», а сам на него гляжу, как дите на мамку. Тогда он объяснят: «Это за то,— грит,— Ванька, что ты разрешенья на выход не имел!»

Теперь ты мне вот и скажи, на хрена мне этот арест был нужен? Вот ты мне и объясни, сопля морожена,



по какой такой радости меня колпашевский майор до селезенки при народе припозорил? Рази я помкомроты не оставил, рази я курево не принес? А он: «Дисциплину нарушил!» Я по сию пору, как колпашевского майора встрену, голову на девяносто градусов ворочу, его в упор не вижу... Вот ты мне и скажи, где справедливость? Я ему парсигар, он мне десять суток! Это рази не гад? Вот ты скажи мне, рази он не гад, хоть и работат счас завоблоно? Поди, думат, что я его с сердца снял, когда он мне сам орден на грудь вешал?... А я — нет! Я ему все помню! Я все помню!..

11

Разгоревшись, рассветившись напропалую, висела над сонным Чила-Юлом чуточку выщербленная луна, стояли на высоких ногах плоские тополя и осокори, и было видно уже, как хороша и прозрачна ночь, как сияет небо, как славно лежит под ним чистый, новенький поселок Чила-Юл, спокойно спящий перед длинным рабочим понедельником. Покой и мир, радость отдыха и счастье здорового утреннего пробуждения — все это легкими тенями лежало в притихших палисадниках, струилось в воздухе ночной прохладой, лунной желтизной прикасалось к посветлевшим бревнам домов, дышало снами за темными стеклами. Отдыхали до семи часов утра уставшие машины шпалозавода, река была недвижна, как озеро, сама луна ленилась, сонная, передвигаться по небу, и работающая земля перед ней вращалась медленно-медленно.

Окончательно протрезвевший Витька Малых ночью великолепия не замечал. Взволнованный и растерянный, он стоял на коленях между Семеном Баландиным и злобно усмехающимся Ванечкой Юдиным, переводя взгляд с одного на другого, не знал, как поступить, что сделать... Витька Малых не мог оставить на холодной земле бывшего директора шпалозавода, но ему было жалко и Ванечку Юдина, так взбудораженного собственным рассказом, что майка на нем была темна от пота, а лицо перекошено яростью.

Ночь, как нарочно, сияла великолепием. Луна была прозрачно-желтой, тени деревьев резки, словно начерченные китайской тушью, несколько разноцветных бакенов светились на реке неправдоподобными драгоценными камнями, дома казались плоскими, как декорации,



тополя, березы и черемухи — вырезанными из жести, а трава — наклеенной на блестящую от луны ровную землю.

— Вставай, ты! — злобно крикнул Ванечка Юдин и пнул ногой бесчувственного Семена Баландина. — Вставай, чего развалился! Айда водку доставать!

Но Семен Баландин не шевелился, а сидевший возле него на траве Витька Малых с ужасом смотрел на кривляющегося Ванечку Юдина.

— Не хотите — один пить буду! — скрипнув зубами, прошептал Ванечка Юдин. — Один буду!

Он легко, не пошатываясь, злобно набычившись, пошел на Витьку Малых, начиная с этого свое грозное шествие по ночному поселку. Теперь Ванечка Юдин до трех-четырех часов утра будет голодным волком шастать по улицам, останавливаться возле всякого дома, где светится огонь, задирается с каждым, кто встретится на пути, гоняться за собаками, пинать коров, ночующих возле прясла, ломать молодые деревья в палисадниках. В поисках остатков водки или браги он станет врываться в дома, стучать кулаком по столу: «Я за вас, гады, кровь проливал!» И дело может кончиться тем, что его задержит участковый инспектор милиции Морщиков, страдая за Ванечку, до слез жалея его, оформит третий арест на пятнадцать суток, а после третьей отсидки...

— Ванечка, Ванечка, стой!.. — крикнул Витька Малых.

Но Ванечка Юдин уже уходил в сияющую лунность походкой пластуна-разведчика. Он шел так, словно намертво вцеплялся в землю кривоватыми ногами, подошвы отрывал от земли с таким усилием, точно сапоги были металлическими, а земля магнитной; голова у Ванечки была втянута в плечи, уши стояли по-волчьи остро, руки были глубоко забиты в карманы. Опасный он был, страшный, по-звериному неожиданный...

Витька Малых поежился, швыркнув носом, потер лицо двумя ладонями так, словно умывался. После этого он длинно-длинно вздохнул, ссутулился по-рабочему и озабоченно нагнулся над последним из приятелей:

— Семен, а Семен, давай будем вставать...

Семен Баландин, оказывается, не спал. Он неподвижно лежал на спине, глядя блестящими глазами в светлое небо. Сейчас у Семена Баландина было лицо умирающего старика, прожившего длинную и спокойную жизнь. Сперва старик умирал неохотно и тяже-

ло, тоскуя, ворочался и ворочался, борясь с костлявой, а потом вдруг притих, присмирел, согласился умирать от такой смерти, которая походила на жажду сладкого сна. И вот уже обобрал себя старик прозрачными пальцами, приукрасился перед вечным покоем, и, желая смерти, как сна после длинной жизни, в последний раз мирно глядел в небо — такое оно останется, когда он сладко заснет...

— Будем подыматься, Семен!

— Сейчас, Виктор! Повремени еще минуточку...

— Я бы погодил, да Анка ждет...

Была ночь перед рабочим понедельником. Давно затихли суетные мотоциклы, полчаса назад бесшумно укатил домой последний велосипедный мальчишка, парочки на скамейках сидели мертво, шла по тротуару на бесшумных подошвах девчонка из тех, кого никто не провожает, стояла мягкая тишина...

— Идти надо, Семен Васильевич...

Витька зашел за спину Баландина, просунув руки под мышки, поставил его на ноги, затем ловким движением забросил руку Семена себе на шею, обняв бывшего директора шпалозавода за талию, сделал первый, пробующий шаг — все было хорошо! «Минут за десять доберемся!» — весело подумал Витька и одобрительно сказал:

— Вот какие мы молодцы! Теперь нам подня-я-я-ться на тротуарчик, пойти ро-о-о-о-вненько... Вот так! Молодца, Семен Васильевич!

Они пошли по белому от лунного света тротуару. Конечно, Семен Баландин все-таки немножко покачивался, ноги у него подкашивались, тело обвисало, но разве можно было сравнить сегодняшнее с прошлым воскресеньем, когда Витька Малых тащил на загорбке неподвижное тело бывшего директора! Сегодня была не ходьба, а разлюли-малина, одно блаженство, пустяковые пустяки, и Витька Малых улыбался, радуясь за Семена, зорко следил за тем, чтобы доски тротуара под Баландиным были ровные, чтобы шел он гладким путем. Ах, как было все хорошо, как удачно!

— А вот и аптечка, Семен Васильевич! Вот и до аптечки дошли!

Остановившись возле ярко освещенного окна аптеки, Витька снял руку с талии Семена Баландина, выполняя привычные операции, осторожно зашел вперед, чтобы Семен мог опереться на его плечи.

— Иди смело, Семен Васильевич! Не бойсь: не упадешь!

В аптеке было светло и чисто, пахло всеми лекарствами сразу, а аптекарша Клава отсутствовала — она целовалась в соседней комнате с Володькой, сыном учительницы Садовской.

Витька заботливо приставил Семена Баландина к высокому прилавку, слегка придерживая его рукой, стал терпеливо ждать, когда аптекарша нацелуется. Слышно было, как Клава смеялась, как Володька называл аптекаршу ласточкой, а в перерыве между поцелуями пел что-то очень веселое.

— Здравсьте, Клава! — очень вежливо поздоровался Витька Малых, когда аптекарша наконец вышла. — С благополучным дежурством вас!

Аптекарша Клава была такая красивая и голая, что Витька боялся на нее глядеть: грудь аптекарши была обнажена чуть ли не до сосков, юбки почти не существовало, а губы всегда были влажные, словно Клава постоянно целовалась. Сейчас аптекарша беззастенчиво закалывала растрепанные волосы, а пуговицу на груди застегивать не спешила.

— Мы вот пришли, — тихо сказал Витька. — Я и Семен Васильевич....

— Ничего спиртного продаваться не будет! — заученно проговорила Клава. — Без рецептов ничего не отпускается, не продается. Если есть рецепт, лекарство продается, отпускается, выдается...

Выслушав это, Витька застенчиво улыбнулся, но ничего не сказал, чтобы не помешать Семену Баландину, который уже начал делать то единственное, что можно было делать в его положении, — глядеть на Клаву глазами смертельно больной собаки. Подбородок бывшего директора лежал на растопыренных ладонях, ноги он широко расставил, чтобы не упасть, спина у него торчала остро, как у конька-горбунка. Семен Баландин опять зябко дрожал, и от этого высокий прилавок раскачивался.

— Без рецептов... — бормотала аптекарша Клава — ...ничего не выдается, не отпускается, не про... Бог же мой, Семен Васильевич, что вам сегодня надо?

— Флакон одеколона «Ландыш» и две бутылочки аралии или стланика... — очень четко произнося слоги, медленно проговорил Семен. — Если есть календула, то... две бутылочки настойки календулы!



Семен Баландин снял дрожащие руки с прилавка, вытащил из кармана потертый и грязный замшевый бумажник. Раскрыв его, он достал завернутую в клочок газеты стопочку монет, сложенных аккуратно: двадцатник к двадцатнику, гривенник к гривеннику, пятак к пятаку, трешка к трешке, двушка к двушке.

— Девяносто семь копеек, — сказал Семен.

— Правильно! — согласилась Клава. — Одеколон «Ландыш» — пятьдесят семь копеек, два пузырька календулы — сорок... Девяносто семь копеек!..

Минут через десять Витька Малых и Семен Баландин осторожно подошли к дому бывшего директора шпалозавода. Крупное здание опоясывала мрачная темнота, на уличной стороне дома окна были крест-накрест заколочены досками, в палисаднике не осталось ни одного живого кустика — все высохли. Болтались под скатом крыши два провода, так как у Семена Баландина отрезали домашний телефон, а забора вокруг дома не было, надворных построек тоже — их бывший директор сжег в зимней жадной печке.

Дверь дома была не заперта; из сеней они попали в длинный, широкий коридор — со скрипучими полами, пылью, запустением, запахом тлена и гниющих овощей. Потом пыльная лампочка без абажура осветила грязную, захламленную комнату — одну из четырех; серый, в жирных пятнах матрац без простыни, щелястый пол, стол без скатерти, на котором стояли бутылочки из-под одеколона и настоек календулы, аралии и стланика; здесь же стояла глубокая тарелка с отломанным краем и закопченный чайник без ручки.

— Вот и доехали! — весело сказал Витька Малых. — Пузыречки мы поставим вот сюда, ботиночки надо сразу снять, пиджачок тоже, а носочки... Их надо простирнуть, Семен Васильевич... Давайте я их Анке отнесу.

Приговаривая и улыбаясь, Витька уложил Баландина на грязный матрац, не получив согласия насчет грязных носков, завернул их все-таки в газету и затопился домой.

— Спокойной ночи, Семен Васильевич, бывайте премного здоровехоньки!

Выключив свет, Витька Малых на цыпочках вышел из дома Семена Баландина и быстро-быстро помчался по деревянному тротуару — спешил очень к своей молодой жене Анке, давно ожидающей его возвраще-

ния. Витька бежал так быстро, что луна тоже не удержалась — побежала вслед за ним, подпрыгивая именно тогда, когда подпрыгивал Витька, исчезая в тот миг, когда он проваливался в ямины неровной дороги...

Жена Анка еще не спала, а наоборот, сидела на крыльчке казенного дома, тихонечко беседовала с кем-то и даже воркующе смеялась; сначала — издали — Витька не мог понять, с кем это Анка мурлычет, но когда приблизился к калитке, то удивился: рядом с Анкой сидела старая старуха Кланы Шестерня, опираясь на палку.

Веселая Анка старуху слушала внимательно, хохотала охотно, отклоняясь назад, и, освещенная крыльчатой лампочкой, показывала два ряда белых зубов. Считающий бабушку Кланы Шестерню смешной и забавной, Витька радостно остановился в калитке, загодя бесшумно смеясь, услышал скрипучий голос старухи:

— Твой-то взрачный, работяшший, наживной, все при нем, голуба моя льдиночка, но он у тебя сопьется в само коротко время... Вот ты на меня, Анют, веселым глазом глядишь, зубы перламутровые кажешь, а он у тебя сопьется как пить дать...

Набегавшаяся за день по деревне бабушка Кланы Шестерня казалась все такой же шустренькой и даже голову держала выше обычного, хотя по-прежнему походила на громадную шестерню — эта сгорбленная спина, эти локти, эти лопатки, этот острый затылок...

— Давай, бабуль, давай! — весело закричал Витька старухе. — Давай, наводи критику. Это я расчудесно люблю!

Закрыв за собой скрипучую калитку, Витька было побежал к жене и старухе, но неожиданно для самого себя приостановился, зачем-то поглядев в землю, пошел к крыльцу медленно. Он приблизился к Анке, хихикнув, ткнул ее пальцем в круглое колено и сказал:

— Здоров, Анка!

Было понятно, что Витька стесняется при свете долго глядеть на высоко открытые ноги жены, робеет при виде ее немного обнаженной маленькой груди. Поэтому он совсем смутился от присутствия бабушки Кланы Шестерни, сев рядом с Анкой, сказал развязно:

— Ну ты давай, бабуль, дальше рассказывай, как я сопьюся. Это мне шибко интересно будет послушать...

Ночь стояла сказочная. Небо теперь было бархатисто-зеленым, звезды тонко розовели, горизонт отливал голубоватым, луна была похожа только на луну и больше ни на что, а с рекой Обью произошло ночное чудо: вздыбившись к небу, она аркой отраженных звезд стояла над поселком Чила-Юл. Мирно и тихо — по привычке — лаяли собаки, и голоса их были по-сонному хриловаты.

— Ты, льдиночка моя зеленая, дурак! — неожиданно сердито сказала бабка Клania Шестерня. — Мало того, что ты самолично дурак, ты, кроме того, дураком, ровно одеялом, прикрываешься, лежишь на дураке, ходишь под дураком и унудрь дурака потребляешь. Ты, льдиночка моя, знаешь, как быстро сопьешься?.. В два года! Вот дай-ка я тебя глазом окину... У бабки Клани Шестерни на того, кто быстро спивается, глаз — алмаз! Ну-кось, придвинь к бабке мордovorот и руку мне дай...

Скрюченными, костистыми пальцами бабка схватила Витьку за руку, отталкиваясь от крыльца палкой, еще немного выпрямила перегнутый старостью позвоночник, и Витька Малых впервые увидел глаза бабки Клани Шестерни. От неожиданности он всплеснул руками, восторженно захохотал:

— Ну, ты, бабка, даешь! Ну, ты шуудра!

Серые глаза бабки были веселы и молоды, за восемь десятков лет не потеряли яростного цвета, были драчливыми и мудрыми одновременно, смешливыми, как у конопатой девчонки, и пронизывающими, как у знахарки; это были такие глаза, от которых становилось весело-превесело, спокойно-преспокойно, уютно-преуютно.

— За два года сопьешься, парнишша! — спокойно сказала Клania Шестерня. — Грудка у тебя не так широка, как узка, нерв не такой сильный, как слабый, головеночка не так кругла, как дынечкой... Ко всему ты, Витюшк, в жизни интерес имеешь, все тебе мило, кажно дело старательно производишь... Значит, сопьешься! Ты это, Анют, возьми на замет...

И тогда, захохотав навзрыд, упала грудью на крыльцо действительно светлая и прозрачная, как льдинка, жена Витьки Малых — нарымчанка Анна. Молодая женщина смеялась от души, вытирая в угол-



ках глаз восторженные слезы, — так тешило ее предсказание бабки Клани Шестерни. Да как было и не хохотать Анке, если она выросла в доме, где без водки не садились за стол. Родной отец Анки, старый сплавщик, всю жизнь выпивал перед едой здоровенный стакан водки, на праздники уничтожал по две бутылки, но никто не видывал его пьяным. Старик до сих пор не ушел на пенсию, хотя достиг шестидесяти девяти годов, был здоров и могуч, как старый осокорь; водка доставляла ему отдых после трудной работы, зверский аппетит и радость, и Анка за много лет привыкла к тому, что от ласкового, доброго, веселого отца остро пахнет алкоголем, и этот запах ей был привычно мил, как запах детства.

— Ты тоже скажешь, бабуся! — нахохотавшись, воскликнула Анка. — Сопьется! Разве Витюшка не мужик? Так чего же он не может в нерабочее время выпить? На свои пьет, не на чужие!

Распрявленная бабка Клания Шестерня глядела на Анку грустно. У старухи было такое выражение лица, словно она хотела укоризненно покачать головой, но не могла сделать этого из-за неподвижной шеи.

— Твой сопьется! — печально сказала бабка. — Он на моего второго мужика смахиват: тоже такой открытый, как русска печка при гостеванье... — Она вдруг светло улыбнулась. — Ежели желаети, я вам про своих мужиков расскажу... Вот почему я за пьяными доглядаю да спуску не даю? А через то, что я трех мужей от водки потеряла, через нее сиротой бездетной осталась... Может, на всю область другой такой нету, как я, бабка Клания Шестерня. Я всегда с пьяными сражаюсь, как знаю, какое горе от водки бывает...

#### Рассказ бабки Клани Шестерни

— Я, может, одна така на всю область, что мои три мужика от ее, проклятой, на нет свелись, мне детишек не заделали, сиротой оставили, до временного-времени сгорбатили... Мне теперь, по слухам, поболее восьмидесяти годков, но я горбата на сотню или того похужее, а ведь это все от нее, от проклятой!.. Первым мужиком у меня купца Кухтерина приказчик был. Богатый не богатый, но дом в Чила-Юле об двенадцати окон держал, трое коней в санки закладывал, на жилетке —

цепы, а как революция содеялась, к генералу Колчаку ушел, я — чуждый алимент!.. Первого моего мужика звали Федюха, сам белый с головы, ус длинный, черный, закругленный, а споился он от моей красоты и веселого нраву... Это я не шуткую — мне шутковать гнута спина не разрешат! Однако в молодости красиве и веселе девки не было, чем Кланька Мурзина! Волос у меня до колена, глаз у меня крупный да серый, нога подо мной круглая, прямая, щека — захоти да не ушшипнешь! Хожу я по бережку, ровно пава, на каждого мужика не поглядываю, на кофте у меня пуговица не держится. Мой Феденька от радости каждый день язык глотат, меня княгинюшкой зовет, всем за меня хвастант и такой веселый, что за стол без водки не садится. Я ему каждый завтрак, каждый обед, каждый ужин песни пою, хожу при шелковой шале, ботинок на мне — до колена, кофта белым-бела, на груди — кружев, на бедре — шелковый панталон, как у городских купчих. Голос у меня звонкий — самой ушам больно! Я и городски песни знала, про то пела, как соловьем залетным или про рысаков... Где я этим песням научилась, сама не знаю, а Федька-то прям алмазной слезой исходит, как я пою: «Были и мы когда-т рысаками...» Я ему каждый день пою, мы из постели до полудня не вылезаем, губы у нас побитые, глаза у нас провалились, мы обои с лица чернем, но я все пою, я все пою да пою... «Были и мы когда-т рысаками...» Скоро сказка сказываются, не скоро дело делается, только начал мой Феденька при любой погоде пить и, льдиночка ты моя прозрачная, в одногодье до того с кругу спилси, что меня узнавать под утро не желает. Все ходит по горнице да так жалобно кличет: «Где ты есть, моя княгинюшка, где ты есть, моя соловушко?» Я ни жива ни мертва лежу, ему про то, где я есть, рассказываю, но он мои слова во вниманье не берет, в печку и подпол заглядыват, глаз у его нету — одни белки. И вот мово родного Феденьку к купцу Кухтерину везут, на три дня в баню садют, паром и квасом пользуют, но это дело Феденьке не помогают — он все меня ишшит, а найти не может и на людей уже бросатся... Потом совсем пропал пропадом мой мужик. Где обретался, неизвестно; полтора года я все реву да плачу — нет его. А тут генерал Колчак и с ним мой Феденька объявляются темной ночью при офицерских штанах. Я к нему на грудь от радости пала, реву, как недоена корова, а мой родитель да бра-



товья — за берданы и топоры, как они есть красны партизаны... Я от родителя и братьев Феденьку спиной горожу, хочу за лапушку смерть на свои грудя принять, а он, не будь дурак, сиганул в окно — и нет его, Феденьки... Я его год ждала, второй хотела ждать, как сообщают, что он, Феденька-то, застрелимшися от перепоя... Его партизанска пуля не взяла, мой родитель с братьевьями его не достигли, а она, проклятая, его порушила... Плакала я сподряд три дня и три ночи, белы щеки расцарапала, волос клочком с головы дра-ла, тонки пальцы ломала, да что поделаешь, льдиночка, когда любый-разлюбый в сырой земле полеживат... Одним словом, как церковно время прошло, на мне партизанский повар Еремей обжениватся... Этот мужик славно-тихой был, все больше дома сидел, возле печки рану грел, бывало, все возле пупа чешет поверх рубахи, а на меня, ровно на икону, глядит. Работал он с утра до вечера, на одной хромой кобыленке десять десятин поднял, а вот песни мои не любил. Как я, бывало, про рысаков запою, он сразу с лица белый делается и зубьем скрипит: «Не можешь ты его, гниду колчаковску, забыть!» А ежели я из дому куда уйду, он от ревности зеленет... Ну и почал пить! Раз — пьяный, друго раз — пьяный, третий — пьяней пьяного. Я себя держу, но сладу мне с собой нет: все Феденьку вспоминаю, какой он веселый был. Я Еремею про милого Феденьку слова не говорю, но он сердцем чувствуют, когда я прежнего мужика в память беру, и еще пуще прежнего запиват... Еремей быстро спился! Я от его сама убегом убежала — он меня поколачивать начал. Я три весны в холостяцкой жизни обреталась, на все гулянки хаживала, хахалей имела, но до себя на кровать не пушала, как мне это дело после Еремея хуже смерти было... Ну а в двадцать шестом годе меня взял партейный. Сам из городу, все книжки прочел, с товарищем Калининым за ручку ручкался, кажно второ слово у него — не понять, а сам сурьезный да расчудесный. Я его шибко уважала да любила, как он и мужик был, и при авторитете, и детишек хотел от меня иметь, хотя не поспел... Этого мужика звали Есиф, по фамилии он прозывался Кац-нель-сон, из евреев, а они ее, проклятую, в рот не берут. Однако, льдиночка ты моя золотистая, это те из евреев ее, проклятушую, в рот не примают, какие меня, дуры, не прикасаются! Я, льдиночка ласковая, себе душой за то покликала, что своего родного Еси-



фа сама сгубила... Я-то, с двумя пьянюгами намучившись, при родном мужике Есифе такой манер завела, что как про водку речь, так я — на дыбки! Скажем, приходит мой Есиф домой, я нюхну — вроде самогонкой шибат! И вот я на родного моего Есифа криком кричу, ногам топочу, соседей сзываю. А ему от этого дела — позор! Он партийный, он с товарищем Калининым за ручку ручкался, он в светлую коммунизму идет. А мне останову нету! Ну, нету мне останову, как слепой кобыле, когда ее шоршень под хвост чокнет! Он, скажем, на собрание, а мне грезится — пьет, он, к примеру, агитацию разводит, а мне обратно — пьет! Бегу это по улице, сама простоволоса, его до черных глаз люблю, над ним, голубчиком, вся дрожу, а у самой рот до ушей: «Ратуйте, народ, у меня третий мужик спиватси!» А кулака тогда много было, ему, кулаку, Есиф — нож вострый, он кулаку — кость в горле. Вот и приезжат на субботу городской мужик при коже да при нагане... Вот приезжат он — и ко мне: «Как пьет? Скоко пьет? Шибко ли напиватся?» А позади меня семеро мужиков из кулачья, бороды вот каки, сами пьяны, а говорят: «Каждый день пьет!» А мужик при коже и нагане головой качат: «Ах, ах, товарищ Кацнель-сон! Не думал, что тебя мелко-бур-жу-аз-на сти-хи-я одолет!» И грозит мово родного Есифа заключить с партийных, и велит ему ехать отсюда... С тех поров я взамуж не выходила. В деревне уж известно было: кто с Кланькой сойдется, тот станет горький пьяница. Вот оно каково бывает, льдиночка ты моя светлая... А остатнюю жизнь так живу, что за чужими мужиками доглядаю. Я им покоя не даю, я на их баб натравливаю, сна-покоя лишаю, когда какой мужик много пить начинают... Я, может, одна така на всю область, что от водки трех мужиков лишилась!

Луна висела неподвижным фонарем, аркой стояла река, тишина была такой полной, что собачий лай растворялся в ней, как капли чернил в море, и на крыльце, где сидели трое, было тоже тихо, уютно. Молодые глаза бабки Клани Шестерни блестели, руки на палке лежали спокойно, голос к концу рассказа потерял обычную ворчливость.

— Вот каково бывает, ластонька! — повторила Клани Шестерня. — А ты говоришь: твой не сопьетси!

Славно улыбался Витька, славно смеялась его жена Анка. Сидели они рядом, тесно прижавшись плечами друг к другу, похожие друг на друга — толстогубые, простые, открытые, такие молодые, что моложе быть невозможно, и такие добрые, что казались детьми.

— Береги свою! — ласково сказала бабка Кланы Шестерня. — Он парнишка хороший, душевный. Тебе с им долго жить, остерегай его, Анют, пушке глазу...

Еще немного помолчав, Кланы Шестерня согнулась, застукотив палкой по дереву, пошла домой. А Витька и Анка еще сильнее прижались друг к другу, перестав дышать, долго сидели неподвижно. Потом Витька повернулся к жене, засмеявшись, поцеловал ее в лоб тихим поцелуем; затем он взял ее руки в свои, поглядев в светлые глаза, начал гладить гладкую щеку пальцами, приговаривая:

— Ах ты Анка, моя Анка! Ах ты бабеночка моя, ты бабеночка!

Она ласково и нежно ежилась, вытягивала губы, прижималась к мужу плечом и коленями, все ниже и ниже наклоняла голову, затем, наоборот, подняла ее, усмехнувшись по-детски, прошептала Витьке в подбородок:

— Ты у меня ласковый, когда выпьешь... Вот всегда был бы такой...

Она положила голову мужу на плечо, затихла. Ночное время струилось медленной Обью, движением размашистого хвоста Большой Медведицы, падающими звездами — вот одна упала, вот покатилась вторая... Июль! В конце июля и начале августа в нарымских краях звезды падают часто...

На кривых ногах, ссутулившись, шел по ночному Чила-Юлу пьяный Ванечка Юдин. Сунув руки в карманы, он плотно прижал локти к бокам, подошвы дырявых ботинок к земле прислонял осторожно, словно пробовал, крепка ли земля, способна ли удержать маленькое, жилистое тело.

Чила-Юл давно спал беспробудно: по всей длинной улице уже не светилось ни одного огонька, не чувлось ни одного движения; лаяли собаки, мычали по-ночному коровы, овцы коротко мекали, отчего-то просы-

паясь, чего-то боясь. Из открытого окна ближнего дома, забытое, проливалось звуки полуночное радио.

Все спали в Чила-Юле.

Страшный в одиночестве, с блестящими, неустоимыми глазами двигался по поселку Ванечка Юдин. Бесшумно миновав четыре темных дома, он начал замедлять шаги перед пятым; еще больше ссутулился и сжался, когда заметил, что окна пятого дома доверчиво и широко распахнуты. В палисаднике шелестела рябина, свечечками стояли голубые ели, иглы их были маслеными от лунного света. В открытых окнах пошевеливалась сонная тишина, медленно выползало из них мерное покачивание маятника больших часов, и мерещилось, что дом дышит сонно и глубоко.

Ванечка бесшумно подошел к окну, приложив ухо к невысокому подоконнику, прислушался — трещало сухое дерево, стучали часы, ударяло сердце в груди самого Ванечки. Прислушиваясь, он поднял голову к небу, увидел, как вдруг скатилась с вершинки Большой Медведицы звезда, чиркнув по темному небосклону, погасла, как сырая спичка. Ночь еще потемнела, стало видно, как набухает Млечный Путь, похожий на бесконечную дорогу.

Сердце стучало в груди звонко, часто, громко, словно не принадлежало Ванечке.

— Вера! — позвал он. — Вера!

Удары собственного сердца отдавались в висках, пронизывали все тело, словно через Ванечку пропускали медленный электрический ток.

— Вера!

Удары сердца сливались с ударами маятника больших часов. Ванечке уже казалось, что он весь начинает раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, и задевает за голубые ели, за пышную рябину. Он закрыл глаза и подумал: «Я шибко пьяный!»

— Вера! — тонко крикнул Ванечка. — Вера!

Темный дом был пуст, как лунная река: в нем жил только длинный маятник больших старинных часов, а жена Ванечки, боясь возвращения пьяного мужа, ушла с детьми ночевать к соседям. Можно было только гадать, какой из десятков сонных домов приютил их.

— Вера! — в последний раз шепнул Ванечка. — Вера!

Дышать было нечем. Он по-рыбьи открыл рот, царапая пальцами грудь, наконец-то хватил глоток све-



жего ночного воздуха, до тех пор держал его в легких, пока не прояснилось в глазах. Ванечка хрипло засмеялся, медленно, осторожно развернувшись, начал выламывать из городьбы осиновую стежину. Забор скрипел и шатался, высухшее дерево хрустело, но не поддавалось. Ванечка долго не мог разодрать мягкую осину, все скрежетал зубами, широко расставлял ноги, чтобы не завалиться на спину, когда отломит стежину.

— Есть! — наконец прохрипел он.

Постояв на месте несколько секунд, Ванечка широко размахнулся, хэкнув, забросил в огород осиновую палку и только тогда почувствовал, что стало легче — можно было дышать и даже двигаться, и он пошел по улице, не понимая, куда идет, зачем идет.

Только метров через двести, в том переулке, который вел самым коротким путем к реке, Ванечка вспомнил десять велосипедных солнц, тупой голос Устина Шемяки: «У Цыпылова в кране четверть спирта. Чего-то там промывают...»

Четверть спирта! Ванечка ускорил шаг. Теперь у него была цель, надо было скорее ее достичь. Искать больше было нечего, и походка у Ванечки переменилась — он шел теперь четким, ровным, деловым шагом, безошибочно сворачивал в нужные переулки, ловко перелезая через плетни, и наконец вышел к реке, туда, где работал на кране Борис Цыпылов, где была четверть спирта.

Но, достигнув наконец этого желанного места, выбравшись из узкого проулка на берег реки, Ванечка вдруг остановился так резко, словно наткнулся на препятствие. Он даже попятился, опасно пошатнувшись, едва не потеряв равновесие.

Казалось, к чила-юльскому берегу причалил навсегда дневной белый пароход, облитый солнцем и музыкой, а между рекой и серой туманностью Млечного Пути навсегда остановились белые чайки. Из лунной воды вздымалось в небо металлическое и ажурное, подвижное и живое. Недостигаемую его вершину венчал красный огонек, ниже — посередине между огоньком и водой — над бездной висел белый человек. Трудно было понять, на чем он сидит, за что держится вытянутыми руками, что делает, паря в воздухе.

Это сидел в стеклянной сквозной кабине крановщик Борис Цыпылов. Над головой его слепящим глазом горел прожектор, а когда Цыпылов прикасался к чему-то

рукой, все металлическое, ажурное всей громадой повертывалось, наклонялось, вздымалось, двигалось.

Вот огненный глаз увидел на кромке рейда белые, как раскаленные, куски металла, шпалы, ощупав их со всех сторон, нацелился, опустилась стрела, и поплыли раскаленные полосы сквозь холодный воздух. Затем огненный глаз увидел в темной воде огромную пустую баржу, раскалив и ее добела, небрежно бросил горячее на горячее. А через секунду равнодушно и бегло озирал пустое небо, пустую реку и пустой берег.

В кране что-то жужжало и вспыхивало, что-то билось и помаргивало; каждой своей металлической частичкой громадный и ажурный кран был связан с просквоженной кабиной. Стоило Борису пошевелить пальцем, как мог умереть огненный глаз, опасть хобот с красным огоньком, обреченно распластаться по воде.

Съежившись, согнувшись, Ванечка Юдин медленно приближался к погрузочному крану, боясь, чтобы прожектор не нагнулся к нему, Ванечка сначала крался под высокими штабелями, потом боком, осторожными ногами наступил на конец трапа, соединяющий берег с краном. Огненный глаз по-прежнему занимался раскаленными полосками шпал, заботился только о том, чтобы они укладывались в раскаленное нутро баржи.

Ванечка почувствовал дрожащий, теплый металл, запах краски и электрического напряжения. Подрагивающие лесенки вели вверх и вниз, металлические поручни переплетались, металл двигался во все стороны, вращался и соединялся, разъединялся и вращался; все вокруг гудело и шелестело, отовсюду струилось тепло, все казалось опасным — болты толщиной в руку, зубчатые шестерни, сверкающие масляными плоскостями, скольжение металла по металлу, снующие рычаги и светлая медь.

Поручни узкой лестнички, ведущей вверх, дрожали, как деревья на ветру, по металлу катились электрические отблески, и казалось, что лестница сама движется вверх, как эскалатор, и что к ней опасно прикасаться. Однако Ванечка чувствовал, что именно эта узкая и опасная лестница ведет к Борису Цыпылову, к сквозной кабине, к теплomu красному огоньку и к тому, что влекло Ванечку на кран, — к большой четверти со спиртом.

Опять сжавшись, согнувшись в три погибели, чтобы не мешать вращающемуся, гудящему, скользящему, соединяющемуся металлу, он сделал два осторожных шага

вперед, наступив на кромку движущегося круга, поплыл в темень и пустоту, инстинктивно ухватившись за какой-то металлический выступ. Его понесло на металле к черной воде, вознесло над бездной, повлекло дальше в ночь, в редкие огни обского левобережья. Потом металл остановился, вызвав у него головокружение, секунду постоял неподвижно — послышался стук шпал, падающих в трюм баржи, затем раздалось легкое гуденье, и Ванечка поехал в обратную сторону. Прильнув к металлу, судорожно держась руками за какой-то теплый выступ, Ванечка ездил вместе с поворотным краном до тех пор, пока кран не остановился.

«Катаюсь!» — пьяно подумал Ванечка.

— Катаюсь! — крикнул он крану, реке, темному небу. — Катаюсь!

Ванечка заторопился, бросился к подножию лестницы, ведущей наверх, схватился за вибрирующий металл обеими руками, начал торопливо переступать ногами. Но скоро он понял, что наверх подняться не может: ноги скользили по металлу, срывались, дрожащие поручни сами отталкивали руки назад, и Ванечка скрежетал зубами, обливался потом — лестница не пускала наверх. Он было кинулся к ней снова, собрался вцепиться руками выше прежнего, но вдруг мелькнула тревожная мысль: «Не успею». В кране опять назревало движение, что-то опасное, неуловимое происходило вверху, готовно гудело, и он попятился, сошел с вращающегося круга. Трубно прогудела сирена, огненный глаз равнодушно глянул в пустое небо, и кран опять поплыл, задвигался.

— Цыпылов! — закричал Ванечка. — Цыпылов!

Крановщик висел в густом и темном воздухе — светлый и легкий, насквозь просвеченный

— Цыпылов! — кричал Ванечка. — Цыпылов!

Крановщик не слышал его. Он и сам не слышал себя в гудящем воздухе.

Опять сдвигался и раздвигался металл, зияла бездна. Ванечка пошатнулся, держась за трап руками, пополз к берегу, извиваясь и чувствуя, как на затылке поднимаются от страха волосы.

Витька Малых, укладывая спать Семена Баландина, забыл поставить в изголовье кровати стакан с водой, и в третьем часу ночи, очнувшись от забытья, Баландин



ощутил такую жажду, что стало узко в горле. Боясь пошевелиться, открыть глаза, он перестал дышать и продолжал лежать неподвижно.

Кожей он чувствовал лунный свет на лице, большой желтый квадрат давил на ноги, покрытые грязным пикейным одеялом, одинокий лунный блик распрямил ладонь правой руки. Было душно, сыро, пахло водочным перегаром, изгнившей селедкой и пустотой. Самыми живыми, освещенными предметами, видимыми через плотно сжатые веки, были стоящие на табуретке одеколон «Ландыш» и настойка календулы; бутылочки ярко светились белыми кружевными колпачками, от них было спокойно левому плечу, левой, безлунной щеке, сжатым в кулак пальцам.

Хотелось умереть. Вспомнилась полуденная река, услышался гортанный крик чайки, рассыпалось искорками по лесу солнце... Тихонечко опуститься в зеленую воду, не двигаясь, с открытыми глазами пойти ко дну, прикоснуться щекой, роговицей зрачка к прохладной водоросли, поежиться от прикосновения медленной рыбы; тело исчезнет, растворится боль, отодвинутся от сердца концы острых иголок... Сделаться теплым, как вода, уходить все дальше и дальше от солнца, крутого обского берега, людей, домов, бесконечной улицы с деревянным тротуаром... Он застонал, зашевелился, услышал, как на мягких звериных лапках сходится в темный угол комнаты тишина.

— Плохо! Ох как плохо!

Стоит тонким иглам вонзиться еще на миллиметр, придвинуться к центру, покачаться из стороны в сторону...

Он открыл глаза.

— Охо-хо-хо!

Окно сладострастно изогнулось, медленно встало на дыбы, пол, наоборот, оставался горизонтальным, но приподнялся, как бы вспухая, приблизился к подбородку Семена; еще через секунду-другую начал медленно падать на грудь щелястый, с балкой-крестом, бесконечно вытянутый в длину потолок. Комната сдвинулась, суживаясь, хотела сомкнуться вокруг головы и глаз, но вот движение замедлилось, так как среди сближающихся стен, потолка, пола возникло дрожащее, как марево, волнообразное существо без конечностей.

— А-а-а-а!

Голова пухла, раздвигалась, увеличивалась с той же медленной скоростью, с какой уменьшалась комната.

Ожидая, когда они со звоном встретятся, Семен отстраненно наблюдал за волнистым существом. Оно мерцало зеленым фосфоресцирующим сиянием, струилось, было полупрозрачным, поэтому сквозь него все видимое казалось искаженным — окно радостно изогнулось в обратную сторону, луна перестала быть кособокой, а черемуха за окном, потеряв ветви, сделалась прямой и гладкой, как телеграфный столб. Широко и старательно открывая губастый рот, волнистое существо пело: «На побывку едет молодой моряк...» Семен перевел взгляд в темный угол — угол пел басом: «...грудь его в медалях, ленты в якорях»; он поглядел на спинку кровати — она запела тенором: «Над рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой...»; он глянул на спокойно приближающийся потолок — тот пропел дискантом: «Здравствуй,— все сказали хором,— черноморский наш герой...»

Комната все уменьшалась и уменьшалась, голова все увеличивалась и увеличивалась...

Шатаясь, Семен поднялся, держась руками за спинку кровати, досадливо отмахнулся от волнистого, прозрачного существа — оно мгновенно присело на стол, заколебалось. Скользя по стенке спиной, крестообразно раскинув руки, чтобы не упасть, Семен приблизился к ведру с тухлой водой, зачерпнув кружкой, снова по стенке вернулся к кровати. «Я сегодня не умру! — подумал он, когда удалось удержать в пальцах бутылочку с мутной жидкостью.— А пробка? Ну что пробка?.. Я ее выну!»

Волнообразное пропело: «Ходит-бродит он меж ними, откровенно говорит...»

Отвинтив зубами пластмассовые пробки и вылив содержимое бутылочек в кружку, Семен перестал смотреть на видение и подумал: «Мало осталось пробкового дерева... Однако и заменители неплохи!» Потом он закинул голову, широко открыв рот, начал выливать в него смесь так, словно наполнял замкнутый сосуд, то есть боялся глотать, но и тревожился за то, что может пролить мимо. Когда же рот наполнился достаточно, он заставил себя проглотить сразу все, и это ему удалось. «Я сегодня не умру!» — снова подумал он и, повременив, вылил в рот остальное...

Положив голову на ладони, Семен стал терпеливо ждать облегчения. Волнистое существо неохотно расчленивалось на маленьких, деловитых и суетливых подводных жителей без определенной формы; все они не знали,

куда девать себя,—тыкались в стены, в темный угол, устраивали кучу малу под столом, заузившись, пытались проникнуть сквозь щели пола, а зачем? Была открыта дверь, настежь распахнуты окна... Подводные жители хором пели: «Где под солнцем юга ширь безбрежная, ждет меня подруга нежна-а-я-я...» У них были свежие мальчишеские голоса, пели они старательно... «Очень жарко! — подумал Семен.— Может быть, будет дождь...»

Он лег, натянул на плечи пикейное одеяло, тоненько вздохнув, расширил глаза... Стены, пол и потолок, оказывается, вернулись на прежние места, окно сделалось вертикальным, подводные жители исчезли так мгновенно, словно их никогда не существовало. И тьма в углу рассеялась, теперь было видно, что возле плинтуса чернеет отверстие в полу...

Семен умиротворенно улыбнулся, подумав о том, что вот наконец впервые за сутки сможет на два-три часа уснуть по-настоящему, счастливо подтянул ноги к животу — так он делал в детстве, на теплой и сонной постели, под большим блестящим фикусом. Потом он медленно решил: «Полежу с открытыми глазами минут десять — пятнадцать... Торопиться ведь мне некуда... Буду лежать, ни о чем не думать, смотреть в угол...» Он представил, как из черного отверстия выходит мышь — маленькая, серенькая, под кожей видно, как бьется сердце... Она поднимается на задние лапы, рыльце подрагивает, усы моржиные, хвост членистый, как у ящерицы... Все наладится, все обойдется...

Свернувшись в комочек, совершенно счастливый, сонный, с доброй улыбкой на черных губах, Семен лежал на кровати и глядел в угол комнаты...

Вдруг выйдет серая мышь — самая маленькая, шустрая, глаза бусинками, под кожей видно, как бьется сердце...

Но в доме Семена Баландина не живут маленькие серые мыши: им нечего есть...



## СОДЕРЖАНИЕ

...Еще до войны . . . . .	5
Серая мышь . . . . .	157

**Липатов В. В.**

**Л61** Еще до войны: Повести.— Свердловск: Сред.-  
Урал. кн. изд-во, 1987.— 256 с.

В пер.: 1 р. 20 к. 200 000 экз.

Еще мирно живут, любят, трудятся люди, но уже повеяло военной грозой... Об этом в первой повести. Во второй автор показывает трагедию человека, одурманенного алкоголизмом.

Л 4702010200-006 47-87  
М 158(03)-87

**ББК 84Р7**

*Виль Владимирович Липатов*

## **ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ**

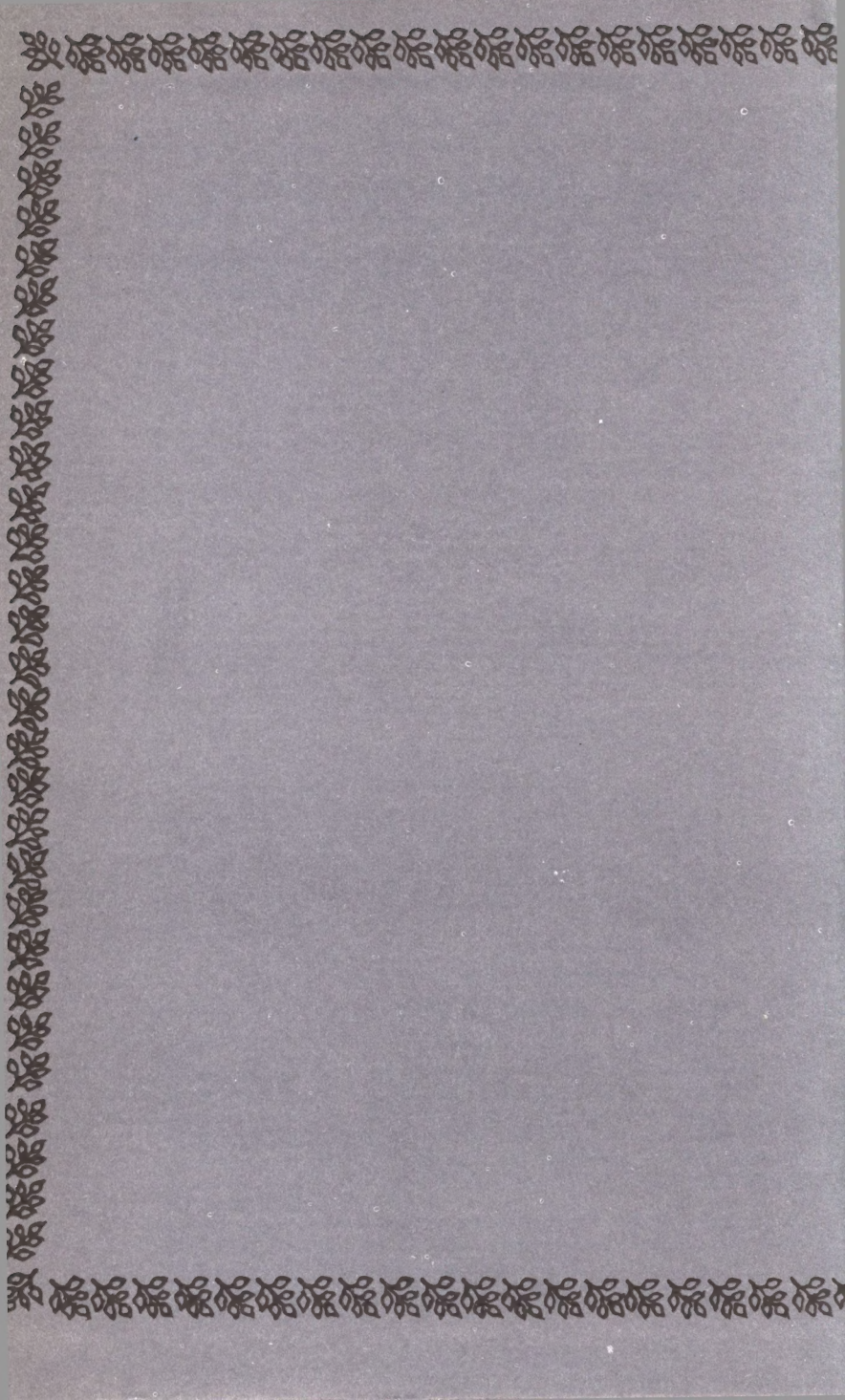
**ИБ № 1601**

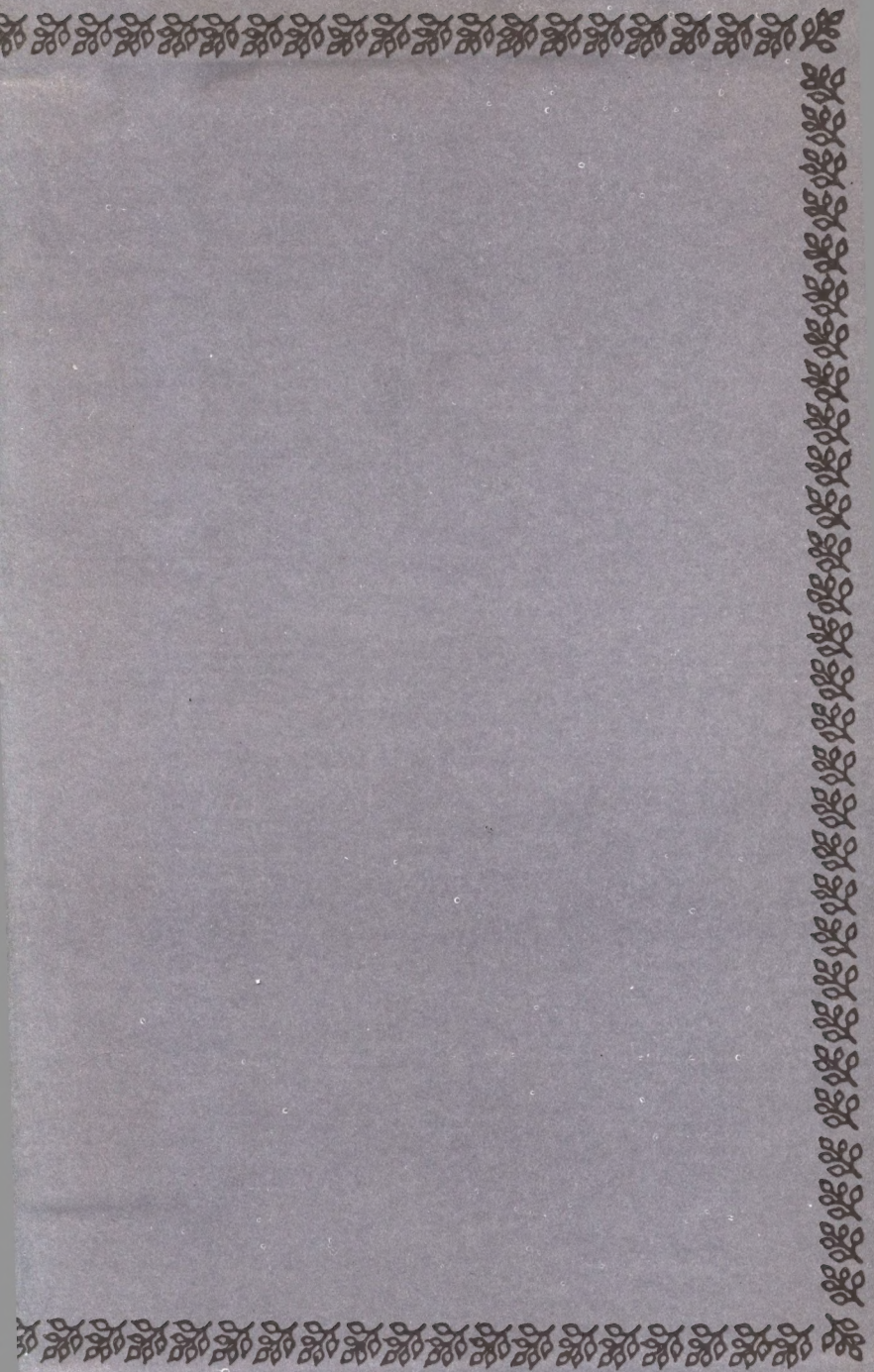
Редактор М. А. Федотовских. Художественный редактор А. В. Вохмин. Технический редактор М. А. Ульянова. Корректоры Т. А. Дрябина, М. А. Казанцева. Сдано в набор 11.06.86. Подписано в печать 14.11.86. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,4. Усл. кр. отт. 13,8. Уч.-изд. л. 14,5. Тираж 200 000. Заказ 328. Цена 1 р. 20 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

00-  
Ka,













000000  
111111  
222222  
333333  
444444  
555555  
666666  
777777  
888888  
999999

000000  
111111  
222222  
333333  
444444  
555555  
666666  
777777  
888888  
999999

000000  
111111  
222222  
333333  
444444  
555555  
666666  
777777  
888888  
999999

000000  
111111  
222222  
333333  
444444  
555555  
666666  
777777  
888888  
999999